

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКОЕ РАДИО»

ЮХАН БОРГЕН



Юхан Борген

Маленький лорд

Предисловие

Юхан Борген (род. в 1902 г.) – крупнейшая фигура в современной норвежской литературе. Трудно переоценить ту роль, которую он играл на протяжении более полувека в духовной жизни своей страны. Регулярное сотрудничество в прессе, прежде всего в левой радикальной газете «Дагбладет», театральные постановки и телевизионные передачи, активная работа на радио: радиопьесы и выступления в еженедельной воскресной программе (особенно дорогие Боргену тем, что у микрофона он чувствует себя как бы живым собеседником людей в самых глухих уголках Норвегии) – вот только некоторые аспекты творческой деятельности Боргена. А главное – это, конечно, книги, созданные писателем, книги, в которых его мастерство проявилось в самых различных жанрах: здесь романы, новеллы, драмы, публицистические статьи, эссе, фельетоны... Но разносторонность творчества писателя даже не столько в широте жанрового охвата, сколько в присущем ему особом даре перевоплощения. Искусства Боргена многогранно, полифонично. Несмотря на стилевое единство, гармоническое созвучие излюбленных тем, мотивов, образов, отличающее Боргена, как любого большого мастера, внутренняя сущность его героев предстает в столь различном освещении, а образ автора-повествователя столь многолик, что это дало повод норвежскому исследователю Вилли Даллу высказать остроумное замечание о якобы существующем коллективном псевдониме «Юхан Борген». «А группа подлинных авторов, – говорит Вилли Далл, – могла бы включать в себя лирика, политика, клоуна, двух-трех детей, просто человека, умудренного жизненным опытом, а может быть, и кого-нибудь еще» (Wi11yDahl. Fra 40-tall til 70-tall. Norsk prosa etter 2 verdens krig. Oslo, 1973, s. 43.).

Борген прочно связан с традицией – общескандинавской и норвежской. Его творчество непосредственно восходит к Ибсену, сыгравшему важную роль не только на начальном этапе формирования норвежского реализма, но и предвосхитившему, в особенности своими поздними драмами, некоторые характерные черты развития реализма XX века в целом. Юхан Борген продолжает и линию Гамсуна, отражая в своем творчестве нечто очень национальное, сокровенное, присущее исключительно Норвегии. Имя Боргена можно поставить рядом с такими норвежскими классиками старшего поколения, как Сигрид Унсет и Юхан Фалькбергет.

Вместе с тем Боргена справедливо называют самым европейским из норвежских писателей. Ему меньше, чем кому бы то ни было, свойственна национальная замкнутость или ограниченность. Творчество этого писателя находится в общем русле развития европейского романа. У него есть точки соприкосновения с Томасом Манном, который, как известно, проявлял интерес к норвежской литературе, творчески воспринимая опыт норвежских классиков. Так, его роман «Будденброки» был написан под непосредственным влиянием истории о норвежском торговом доме «Гарман и Ворше», рассказанной в цикле романов А. Хьеллана. По-своему преломились в творчестве Боргена искания таких сложных европейских художников, как Джойс и Пруст. Из современных писателей особенно созвучно Боргену творчество Макса Фриша – оба писателя постоянно «продумывают и проигрывают» жизненные возможности своих героев, стремятся запечатлеть трудноуловимую, изменчивую сущность современного человека, убеждены, что в конечном счете человек сам творит свою

судьбу.

Слава Юхана Боргена давно перешагнула границы Скандинавии и стала не только европейской, но и мировой (Свидетельством тому служит, в частности, монография о писателе, вышедшая в США, в серии «Зарубежные писатели XX века»: Randi Birn. Johan Borgen. Twayne's world authors series. New York, 1975.). Книги Боргена издавались во многих странах. Советский читатель также знаком с его творчеством: в 1968 году был издан роман «Маленький Лорд», в антологиях и журналах публиковались новеллы Боргена, а в сборник радиопьес «В стороне» была включена его пьеса «Малодушный». Произведения Боргена переведены на языки республик Советской Прибалтики.

Юхан Борген родился в Христиании. Детство его протекало в одном из фешенебельных районов города – Весткант. Впечатления и раздумья, связанные с респектабельной буржуазной средой, к которой принадлежал писатель и от которой стремился впоследствии оторваться, легли в основу его творчества.

Литературная деятельность Боргена началась с занятий журналистикой, приверженность к которой он сохранил на всю жизнь, считая ее и увлекательной, и важной для оттачивания писательского мастерства. Как писатель-беллетрист он дебютировал сборником новелл «Во тьму» (1925), написанным в стилистической манере Гамсуна и повествующим об одиночестве и трагических заблуждениях человека. Более зрелым произведением, в котором уже наметилась основная проблематика дальнейшего творчества Боргена, стал роман «Если подвести итог» (1934). В нем содержится едкая сатира на лицемерную мораль буржуазного общества, сочетающаяся с глубокими раздумьями о человеческой личности и смысле ее духовных исканий. Писатель говорит о необходимости для каждого человека сделать свой нравственный выбор, определить свое отношение к миру. Аналогичные вопросы ставятся в написанных Боргеном в эти же годы пьесах «Чиновник Ли», «Андерсены», «Пока мы живем».

Трагически «непостижимые» для многих норвежцев события апреля 1940 года, когда в страну вторглись фашистские захватчики, явились переломным моментом в сознании нации в целом, в сознании представителей норвежской интеллигенции в частности. В годы войны и оккупации, когда происходило четкое разграничение политических позиций, для Юхана Боргена, как и для подавляющего большинства писателей, не было иного пути – только борьба с оккупантами. Юхан Борген сразу же стал активным участником движения Сопrotивления.

Одной из целей немецких фашистов и местной националистической партии во главе с Квислингом (это имя на многих языках стало синонимом слова «предатель») было насаждение нацистской идеологии в Норвегии. В противовес ему общей задачей творческой интеллигенции, несмотря на различие политических и эстетических взглядов, стало сохранение норвежской культуры. Активную роль в этом играл Союз писателей, который открыто выступил против изъятия из школьных программ многих произведений норвежских авторов, поддерживал забастовку деятелей театра, боровшихся против немецкой цензуры; им был осуществлен организованный бойкот «нацифицированных» издательств, практически заставивший их прекратить свою деятельность. Союз писателей помогал преследуемым деятелям культуры, а также распространял нелегальную литературу.

В начале оккупации Борген не оставляет легальную публицистическую деятельность – в газете «Дагбладет» продолжает цикл получивших широкую известность еще в предвоенные годы живых и острых сатирических эссе, очерков, фельетонов, публиковавшихся под псевдонимом Мумле Госегг (в 1936 году был издан сборник этих произведений под названием «60 Мумле Госегг»). Мумле Госегг, или Мумле Гусиное Яйцо, – человек, вылупившийся из гусиного яйца, – фольклорный персонаж, олицетворяющий народный юмор, смекалку, жажду познания. Основные герои этих очерков – простодушная и добросердечная лавочница Фру Юхансен и живой, непосредственный ребенок Маленькая Ингер, ставшие почти

классическими фигурами в норвежской литературе, – давали возможность Боргену выразить то, о чем в обстановке оккупации нельзя было сказать прямо. Говоря эзоповским языком и затрагивая на первый взгляд нейтральные, незначительные темы, писатель рассказывал читателю между строк о том, что происходит в мире, и давал этому свою оценку, проводил мысль, что есть в стране силы, противостоящие врагу. Вскоре газета «Дагбладет» была запрещена, а Юхан Борген, выполнявший задания руководителей Сопротивления, вместе со многими своими соратниками был арестован и посажен в фашистский концлагерь Грини. Об этом тяжелом периоде своей жизни он написал впоследствии книгу «Дни в Грини» (1945). Освобожденный через полгода, Борген сначала сотрудничает в нелегальной печати, но, зная, что новый арест неминуем, вскоре бежит в Швецию, где продолжает борьбу. Он принимает участие в сборнике «По ту сторону норвежской границы» (Стокгольм, 1943). В предисловии к этой книге один из составителей, Кнут Хергель, писал: «Пусть норвежский национальный дух, норвежская культура находятся в подполье и изгнаны за пределы родной страны, но они не сломлены, и представители норвежской интеллигенции во весь голос заявляют об этом». В 1943 году, когда в рядах норвежского Сопротивления усилились настроения усталости и сомнений, Борген выступил с книгой «Это приносит плоды», где доказывал необходимость подпольной борьбы. Получила общественный резонанс также его книга о поэте-коммунисте Нурдале Григе, погибшем в боевом полете над Берлином в декабре 1943 года. С Григом Борген встречался в разные годы и испытывал к нему неизменную симпатию. Книга «Нурдал Григ» вышла в 1944 году.

Роман «Лета нет и не будет», опубликованный в 1944 году в Швеции, – первое художественное произведение об оккупации. В этой книге изображена норвежская столица, жизнь которой парализована с приходом оккупантов, дается исполненное напряженного драматизма описание деятельности группы Сопротивления. Главный герой – Кнут Люсакер, студент, увлеченный музыкой. Первоначально его духовные искания носят чисто умозрительный характер; постепенно он втягивается в нелегальную деятельность, сохраняя, однако, внутреннюю пассивность, позицию стороннего наблюдателя. Но в решительный момент Кнут делает важный нравственный выбор. В нескольких шагах от спасительной шведской границы он поворачивает назад, чтобы, рискуя жизнью, продолжить борьбу вместе с товарищами.

В романе «Тропа любви» (1946) осмысляется недавнее прошлое, затрагивается проблема социально-психологических корней фашизма в Норвегии. Жизнь маленького норвежского городка обрисована в юмористическом ключе, хорошо знакомом читателям по фельетонам, подписанным «Мумле Госегг». Но постепенно становится ясным, что персонажи романа не столь уж безобидны: сонный, аполитичный городок представляет прекрасное поле деятельности для всякого рода политических авантюристов и в конечном итоге может стать почвой для возникновения неонацизма.

Вопрос об истоках фашизма, о том, как случилось, что в Норвегии смогла существовать квислинговская партия, и почему человек мог стать предателем своей родины, – «больной» вопрос для норвежской литературы. На него пытаются дать ответ романы «Моя вина» Сигурда Хёля (1947), «Былое – это сон» Аксея Сандемусе (1946), «Пять лет» Ингвала Свинсосо (1946) и ряд других произведений. Но наиболее глубоко эта тема разработана в многоплановой трилогии Юхана Боргена о Маленьком Лорде – самом значительном произведении послевоенной норвежской литературы. Трилогии предшествовали сборники новелл «Медовый месяц» (1948), «Новеллы о любви» (1952), «Ночь и день» (1954), упрочившие известность писателя.

Трилогия о Вилфреде Сагене – вершина творчества Юхана Боргена, его центральное произведение, ставшее уже хрестоматийным. В 1955 году вышел роман «Маленький Лорд» – книга об истоках, о начальном этапе формирования личности Сагена. Роман имел огромный успех как у читателей, так и в литературной критике; ему была присуждена премия Северного совета. Первоначально у Боргена не было намерения писать трилогию. По выражению

писателя, только уступая «многочисленным просьбам», он написал продолжение истории о Маленьком Лорде, и писать было так же легко, как катить с горы камень.

«Камень неумолимо катился с горы вниз, и я написал два тома за два года, в то время как у меня было по пять театральных постановок в год плюс радиопередачи», – вспоминает писатель.

Уже в «Маленьком Лорде» было заложено зерно тех больших проблем, которые нашли освещение в последующих частях трилогии. Герой, четырнадцатилетний мальчик, похожий на рафаэлевского ангела, – «Маленький Лорд» (роман задуман отчасти как пародия на сентиментальную книгу Элизы Бёрнетт о примерном ребенке «История маленького лорда Фаунтлероя», 1886) растет в тепличной атмосфере богатой буржуазной семьи, насквозь пропитанной лицемерием: каждый играет свою роль в соответствии с тем, чего ждут от него окружающие. Таков, например, дядя Мартин, крупный финансовый делец, опекун мальчика, претендующий до некоторой степени и на роль духовного наставника Вилфреда. «Толстый, благодушный, он предал бы всех встречных и поперечных, а потом, сидя в удобном кресле и покуривая сигару, принялся бы сокрушенно разглагольствовать о том, что народ беден и общество под угрозой». Незаурядной натуре мальчика (которому тем легче подыгрывать окружающим, изображая вундеркинда, что он почти с младенчества, как и остальные, усвоил свое «амплуа») претит как буржуазный практицизм дяди, так и «игра» матери и других родственников, старающихся уберечь его от реальных жизненных событий и впечатлений. Отсюда и стремление сознательно нарушить лицемерные заповеди окружающих, соединенное с присущей подростку жадой самоутверждения, что выливается в злобные проделки, вроде кражи сумки с газетами у почтальонши, поджога на хуторе, ограбления табачной лавки во главе ватаги уличных мальчишек.

Герой не приемлет окружающих и всячески старается не допустить их в свой внутренний мир. «Они не подозревают, с какой страстью Вилфред мечтает замуроваться в одиночестве так, чтобы в святая святых своей души быть совсем одному и превратиться в твердый камень, покрытый лоском вежливости и предупредительности...» «Они» – так с ранних лет привыкает Вилфред называть всех остальных людей. Пытаясь отстоять свое «я» от ближайшего окружения, он начинает чувствовать себя чужим всем людям вообще.

Маленький Лорд постоянно анализирует собственные поступки и их мотивы, пытается постигнуть свою внутреннюю сущность. Вилфред вытаскивает из воды сына садовника Тома, что делает его чуть ли не героем в глазах многих, но отдает себе отчет, что сделал это не из естественного человеческого желания спасти тонущего, а ради самоутверждения. Размышляя о своей дружбе с простодушным Андреасом, мальчиком из небогатой семьи, Вилфред признается себе, что он «хотел в полной мере вкусить радостную возможность превратить сострадание в капитал». Впрочем, в душе Вилфреда иногда возникают искренние добрые порывы по отношению к Андреасу, а в особенности к фру Фрисаксен – пожилой женщине, живущей в убогой хижине на берегу моря. Фру Фрисаксен всегда была чужда социальных условностей, ей органически присуща доброта, чувство собственного достоинства, искренность. Наверное, эти качества и привлекли к ней Вилфреда, как некогда и его покойного отца, возлюбленной которого она в свое время была. У Вилфреда, как оказывается, есть и сводный брат, Биргер. Находясь вдали от фру Фрисаксен, в Христиании, Вилфред чувствует, что «соскучился по ней, по ее лицу, то старому, то совсем молодому». Он мечтает перекрасить ей дом, ловить для нее рыбу. Но этим намерениям не суждено было осуществиться: когда Вилфред приезжает, он находит фру Фрисаксен мертвой в занесенной снегом хижине. Ростки добра очень робки в сердце Вилфреда, он не ищет пути к другим людям, все больше замыкаясь в себе, культивируя свой индивидуализм, свое одиночество, свое «я». Символом одиночества, замкнутого духовного пространства, проходящим через всю трилогию, становится стеклянное яйцо, игрушка, некогда любимая его отцом и подаренная Вилфреду фру Фрисаксен. В конце первой части трилогии Вилфред, попавший в сомнительную компанию, избитый и ограбленный, спасается бегством, ощущая, как

разбилось стеклянное яйцо, в котором он как бы находился. За своей спиной он слышит слова: «Теперь ему не уйти». Это пророческие слова. Они дают название последней части трилогии, они же завершают ее, подводя черту под жизнью самого героя.

Несмотря на первоначальное отсутствие единого замысла, все части трилогии органически связаны между собой. Во втором романе, «Темные источники», писатель не только рассказывает о дальнейшем формировании личности героя, но во многом разъясняет и углубляет написанное ранее. В воспоминаниях Вилфреда эпизоды детства и отрочества наполняются еще большей значимостью. Все новыми и новыми штрихами, конкретными выразительными деталями обрисовывает Борген социальную среду, тщательно выстраивая социальный, точнее, социально-психологический роман.

Вместе с тем во второй части трилогии с особенной силой начинает ощущаться и ее эпический, исторический аспект. Стремясь воспроизвести характерные черты эпохи, насытить повествование живым содержанием тех дней, Борген много работал в университетской библиотеке, перечитывая старые газеты, но при этом главным для писателя оставалось воссоздание общего духа, атмосферы времени. Значимость реализма Боргена не в правдоподобию отдельных деталей или даже событий, больших и малых, а в широте художественных обобщений, в тонком показе глубинных процессов в недрах норвежского общества.

Автор рисует картину Норвегии в эпоху первой мировой войны. Голос его исполнен едкой иронии и сарказма, когда он пишет о «буме», неслыханных спекуляциях на бирже, всколыхнувших жизнь обывателя, который в те дни, когда гибли в бессмысленной войне норвежские моряки на судах, зафрахтованных Англией у норвежского правительства, вдруг понял, что поставил на неверную лошадку, «скрипучую клячу порядочности». Еще чудовищней выступает буржуазное лицемерие в это время массового обнищания одних и легкого обогащения других. С одной стороны, безработные: «озябшие, одетые чуть ли не в лохмотья здоровенные мужчины переминаются с ноги на ногу на тротуаре», а с другой – «ублагодотворенные изысканным домашним обедом» Вилфред и его мать идут смотреть, как искусная тетя Кристина учит стесненных в средствах домашних хозяек использовать суррогаты, «чтобы готовить пищу, напоминающую ту, какую им хотелось бы есть».

«Да, жизнь была прекрасна для тех, кто обитал в маленькой столице маленького государства... К концу третьего года мировой войны светлые источники били с небывалой силой». Слова о светлых источниках саркастическим рефреном часто звучат в романе, перекликаясь с его названием. Норвежское слово «kilder» имеет много оттенков значения. Это и силы, и истоки, источники и родники. «Светлые источники» – это живительные силы природы и в то же время ироническое наименование той силы, которая забила в душе внешне добропорядочных людей, толкая их к источникам легкой наживы – биржевым спекуляциям.

Источники, родники, темные и светлые, – образ, помогающий проникнуть в глубинную сущность той борьбы между добром и злом, которая достигает своего апогея в душе героя. Время, когда он еще не окончательно порвал с миром других людей и пытался доставить радость близким, щедро оделяя их своим драгоценным «я», названо в романе временем, «когда в нем еще били светлые источники». Вилфред испытывает нечто вроде симпатии к другу детства Андреасу и другу новых времен Роберту, есть проблески искреннего чувства в его отношении к Селине, которую про себя он называет «орхидеей, возросшей на навозной куче».

Но Вилфред не видит смысла в поисках добра, постоянно упрекает себя за вмешательство в судьбы тех, до кого ему нет дела. Он как бы балансирует между безднами добра и зла, оставаясь равнодушным к содержанию этих понятий, «как равнодушен к этим друзьям, которых он любит, когда зимой хочет отогреться». Вилфред тщательно подавляет в себе

гуманные порывы. «Сердце Вилфреда окаменело, стало таким, как он хотел. Теперь он был сам по себе, другие были другими».

Вилфред, «победоносный одиночка», начинает жить по ту сторону добра и зла. Кульминационной является сцена, где он готов убить случайно спасенного им ребенка. «Он стоял, высоко подняв ребенка и чувствуя, как все его тело наливается силой, бьющей из темных источников, чувствуя мрачную уверенность, что все вокруг было и будет зло». Вилфред заставляет себя идти до конца, по-ницшеански переступив «слишком человеческое», выбирая зло. Хотя герой не совершил убийства, но морально созрел для него: в его сознании произошли необратимые изменения. При этом Вилфред чувствует себя как бы убийцей собственного сына. И дело не в том, что он выдавал себя за отца ребенка (что в какой-то мере помогало ему скрываться и от полиции, и от сомнительных «коллег» по копенгагенскому ночному клубу), а в том, что он таковым себя ощущал. Для него это беспомощное существо – «самое слабое звено» в цепи его связи с человеческим родом, той связи, которую он хочет порвать и о которой постоянно размышляет. Вилфред снова и снова возвращается к мыслям об отце, покончившем с собой, обвиняя его вместе с другими, рождавшими «сыновей, обреченных жить в мире, с которым они сами не сумели совладать». И его совершенно не заботит судьба собственного сына, живущего в Париже, как мы узнаем уже на страницах последней части трилогии. Гораздо в большей степени его занимает сводный брат Биргер, к которому первоначально он испытывает противоречивые чувства, Биргер, «которого он презирал и по которому он тосковал». Позднее Вилфред приходит к выводу, что Биргер – простая и целостная натура – «рознится с ним в главном». В своем разнузданном индивидуализме Вилфред желает физически уничтожить человека, который, как он считает, самим фактом своего существования «оскорбил его одиночество», лишил его уникальности, и Вилфред намеренно оказывается причастным к его аресту как борца Сопrotивления.

Настоящий духовный брат героя – немецкий офицер Мориц фон Вакениц. Что касается этого персонажа, то в отношении его «умственных исканий» не может быть никаких иллюзий: они носят совершенно определенную направленность. Этот помещик из Померании, философствующий то о своих батраках, в которых он не видит людей, то о том, что «недоедание и скверный кофе... – причина противоестественной стойкости здешнего Сопrotивления», а понятие национальной независимости Норвегии – всего лишь «иллюзия», носит мундир вермахта и служит черному делу фашизма. Мориц фон Вакениц в чем-то импонирует Вилфреду, в чем-то вызывает его отвращение. Это худшее «я» Вилфреда, доведенный до логического конца его крайний индивидуализм и эгоцентризм.

Крах личности Вилфреда неизбежен, не могла спасти его и Мириам, к которой он хранит в самых глубинах своего существа нечто вроде многолетней привязанности. Мириам – человек, исполненный большой духовной силы и благородства. Она известная скрипачка, и пафос ее искусства – в утверждении гуманизма, высоких моральных ценностей. От природы одаренная натура, Вилфред и сам может быть назван «человеком искусства»: вундеркинд, играющий Моцарта на домашнем концерте, трехлетний малыш, шепчущий: «Ватто», глядя на живописную группу родственников на прогулке; исполнитель модных песенок в кабаре, автор нескольких книг, имевших шумный, но непродолжительный успех... В наибольшей степени привлекала Вилфреда живопись. На какое-то время он приобретает известность как художник, автор нескольких формалистических картин. Эти картины несут на себе роковой отпечаток незавершенности, но главное – в них отразились темные глубины личности Вилфреда, надломленность и двойственность его души. Мириам начинает понимать, что его искусство есть «отрицание жизни и любви», и с ужасом отшатывается от Вилфреда – человека, который духовно мертв. Тема искусства, творческой личности у Боргена какими-то гранями соприкасается с темой общего кризиса буржуазной культуры в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус». В живописи героя Боргена, так же как и в музыке, созданной Адрианом Леверкюном, отразилась изнанка его души, выявились симптомы его внутренней деградации.

Так же важна в трилогии и тема границы, выступающая во многих эпизодах как в конкретном, так и в переносном, глубоко символическом смысле. Двигаясь вместе с группой других беженцев в сторону спасительной границы нейтральной Швеции, Мириам размышляет о взаимоотношениях людей, поставленных в нечеловеческие условия: «Неужто страх за собственную жизнь должен непременно ущемлять естественную человечность, подавлять чувство общности и сострадания?»

Пограничная ситуация, нравственный выбор между этическим и эстетическим в терминологии Киркегора (последнее интерпретировалось как лишенное моральных критериев) во многом определяли искания героев норвежской литературы. Однако у Боргена, писателя-реалиста, в отличие от религиозного датского мыслителя, понятия этического и эстетического употребляются не в отвлеченно-метафизической трактовке, а приобретают сугубо реальный, жизненный смысл. Совершается выбор между сопротивлением, борьбой с врагом или покорностью и предательством.

В образе Вилфреда Сагена писатель заклеил тех, кто так и не смог сделать правильного нравственного выбора: в решительный час Вилфред пытается остаться вне борьбы, быть «самим по себе». И этим он обрекает себя на преследование с обеих сторон, становится почти в прямом смысле загнанным, затравленным зверем, которому нигде нет места, что и приводит его к гибели. В конце трилогии Вилфред стреляет в себя из револьвера, даже и здесь полагаясь на волю случая (он не знает, заряжено ли оружие).

В романе есть персонажи, четко противостоящие Вилфреду. Это прежде всего «седой великан» по прозвищу Лось, который почти с самого начала оккупации переводит беженцев через шведскую границу. В прошлом «участник классовых боев», он знает цену богачам и метко характеризует Вилфреда: «Есть такая порода людей, они ни за тебя, ни против... Может, они одновременно и „за“ и „против“, для них это своего рода спорт». У него ни на минуту не возникает сомнений в смысле подпольной работы, в оправданности жертв – без громких слов, спокойно подвергает он свою жизнь каждодневному риску и приободряет товарищей по борьбе. Еще более характерна фигура Кнута Люсакера, героя романа «Лета нет и не будет», эпизодически появляющегося на страницах романа «Теперь ему не уйти»: в качестве связного он выполняет ответственные задания руководителей Сопротивления. Кнут Люсакер имеет нечто общее с Вилфредом, принадлежа к той же социальной среде, но в отличие от него он нашел свое место в Сопротивлении, как и многие другие: Биргер, Андреас, Том, а также и Роберт, первоначально ловкий делец из нуворишей, по-своему добрый, мягкотелый, легко входящий в любую роль, которую ему предлагает жизнь. Борген дает картину военного времени в Норвегии во всей ее полноте и сложности, и образ Роберта не однозначен: с ним, как и с некоторыми другими персонажами, связан вопрос и о тех участниках Сопротивления, которые, действуя в интересах своей страны, «дальновидно» не забывали и собственных, личных целей и выгод.

Образ Вилфреда Сагена – это образ большой обобщающей силы и глубины. В общем философском плане критика сопоставляла Вилфреда с Пером Гюнтом, имея в виду ту беспринципную жизнь, которая роднит его с героем Ибсена. Сам Борген говорил о возможности некой ассоциативной связи Вилфреда с Гамлетом, который не может принять решения, сделать выбор. Многозначительно в связи с этим звучит монолог Гамлета на последних страницах трилогии. В чем-то образ Вилфреда объясняет трагедию Гамсуна, замкнувшегося в своем солипсизме и сохранявшего иллюзии о внеисторическом гуманизме немецкой культуры, что привело писателя к чудовищным политическим заблуждениям, а в итоге – к позору коллаборационизма.

Но конечно, в образе Вилфреда важнее всего конкретное социально-психологическое, историческое содержание. Вилфред не хотел стать таким, как его буржуазное окружение; неприятие этого окружения толкало Вилфреда к людям дна, внешне противостоящим лицемерной респектабельности и порядочности. Но тем не менее он кровно связан со своей

средой; именно поэтому люди и жизненные пути, подлинно противостоящие буржуазному миру, не смогли привлечь его к себе. В своем циничном нигилизме он с усмешкой воспринимает рабочую сходку, свидетелем которой становится в Копенгагене, так же он воспринимает и деятельность Сопротивления во время войны. Объективно сознавая кризисные явления того общества, в котором живет, он не способен поверить ни в какие политические идеи. Бесплодность его исканий очевидна. Трилогия Боргена – обличение социальной среды, порождающей крайних индивидуалистов, людей с гипертрофированным «я», чья духовная и физическая гибель глубоко закономерна.

Тема вины, личной ответственности человека за происходящее с ним и в окружающем мире занимает центральное место в последующих романах Боргена. Так, в «экспериментальном» романе со знаменательным названием «Я» (1954) – Борген пытается здесь проникнуть в суть человеческой личности, изображая ее потенциальные возможности как пережитые реальности, – герой, Матиас Роос, «в поисках утраченного времени» постоянно размышляет о прошлом, пытаясь понять, с чем связано разрушение его личности. Постепенно ему становится ясно, что он виноват в нем сам: он позволил «миру зла» разрушить лучшее в себе. «Мир зла» конкретно обозначен в романе: это работа героя на капиталистическом предприятии, выполнявшем заказы для фашистской Германии.

Значительным событием в норвежской литературе стал роман «Голубая вершина» (1965). Роман написан в более традиционной реалистической манере, нежели предыдущий, его также сосредоточен на проблеме личности.

Война выступает здесь не просто как воспоминание прошлого, а как та суровая реальность, которая сыграла трагическую роль в судьбах героев. Война столкнула их между собой, наложив отпечаток на и без того сложные взаимоотношения, заставила по-новому осмыслить свою роль в происходящем. При этом глубоко личное и социальное предстает в романе в тонкой и неразрывной связи. В нем есть и сатирический протест против сытых и самодовольных в «государстве благоденствия», и в то же время огромная любовь к родной стране, символом которой в романе выступает голубая вершина, олицетворяющая одновременно и те духовные высоты, к которым стремятся герои. Роман был воспринят многими как произведение о норвежском (и шире – скандинавском) национальном характере ж о месте Норвегии в мире.

Проблема анархического индивидуализма, моральной ответственности человека за совершенное преступление (даже если оно не наказуемо юридически), честности перед самим собой поставлена в романе «потока сознания» «Красный туман» (1967).

Верой в подлинные жизненные ценности, критикой буржуазного лицемерия и стандартизации жизни проникнуты романы о духовных исканиях современного человека, написанные в 70-е годы: «Моя рука, мой желудок» (1972), «Шаблоны» (1974), а также сборник новелл «Счастливого пути» (1974) и др.

Борген много и плодотворно работает. О его трудолюбии и трудоспособности ходят легенды. Полушутя-полусерьезно один из критиков назвал его «чудом XX века». Ежедневно Борген пишет по 7–8 часов в день, обязательно просматривает новую книгу и около десятка газет. Живя на небольшом острове Асмалё, достаточно далеко от Осло, писатель не порывает живой связи с действительностью. Борген постоянно чувствует ритм нашего времени и живо откликается на его события. «Молодой человек со старым лицом» – так часто называют Боргена, имея в виду не только его внешний облик: худощавую, все еще стройную фигуру и изборожденное глубокими морщинами лицо, но прежде всего его душевный настрой, находящий отражение и в том, что он пишет. У Юхана Боргена нет никакого стремления быть «мэтром». Борген находит общий язык с литераторами младшего поколения, признавая их право на новые идеи, самостоятельные творческие поиски, оставляя, впрочем, за собой право не следовать всем новым веяниям, идти своим путем. И в этом он разочаровал

некоторых молодых писателей-модернистов, надеявшихся, что автор в достаточной степени условного романа «Я» станет их духовным наставником и единомышленником.

«С годами хочется быть писателем не для группы избранных, а чтобы многие читали и понимали тебя» – так сказал Борген в одном интервью.

В 1947 году в составе первой послевоенной норвежской делегации деятелей культуры писатель посетил Советский Союз и явился одним из авторов книги «Из Ленинграда в Армению» (1947). В ней он отразил как главные впечатления от поездки «энергию, доброту и упорство» советских людей, объединенных общей идеей, и «неисчислимы возможности страны, успешно залечивающей тяжелые раны, нанесенные войной». И в последние годы Борген проявляет интерес к нашей стране, многое сделал для популяризации в Норвегии как русских классиков, так и современных советских писателей.

В книгах Юхана Боргена – тревоги за судьбы всего человечества, каждого человека в отдельности. В них – уверенность, что все события, происходящие на земле, большие или малые, касаются каждого и все несут за них ответственность. Все связано в мире, и Норвегия, Скандинавия не являются идиллическим островом среди бушующих на земном шаре бурь, как порой кажется сытому обывателю. Боргена называют совестью нации. Когда писатель получил премию Северного совета за сборник «Новые новеллы» (1967), корреспондент «Дагбладет» спросил его, чего бы, кроме этой премии, он хотел лично для себя. Борген ответил: «У меня единственное желание – чтобы на земле был мир». И этой благородной цели служит вся жизнь и творчество писателя-гуманиста.

Элеонора Панкратова

Юхан Борген

Маленький лорд

Часть первая

МАЛЕНЬКИЙ ЛОРД

1

Дядя и тетушки, отдуваясь, вваливались с холода в дом. Дыхание клубами пара вырывалось у них изо рта, пока они миновали узкую прихожую, где их встречала горничная. Потом они, притоптывая, входили в большой квадратный холл с камином, над которым красовалась голова лося, и с коврами на стенах. Тут было тепло. Тут пахло жильем.

Маленький Лорд стоял на ковре посреди гостиной и сквозь закрытую дверь слышал, как проходят гости. Он до мелочей представлял себе, что происходит, по мере того как родственники один за другим появляются в прихожей, приносясь к запаху дома – запаху деревянных стен и ковров – и прислушиваясь к отдаленной суете в кухне, где готовится

семейный обед: суп из спаржи, форель, жаркое из оленины. Он знал, в какую минуту кому из гостей горничная Лилли помогает снять пальто, как дядя Рене говорит ей с ласковым кокетством: «Нет, нет, милая девушка, тысяча благодарностей, но я еще не настолько стар...» – и вешает свое подбитое соболем пальто в гардероб слева от входной двери, а толстяк дядя Мартин, хотя он гораздо моложе, с нескрываемым удовольствием принимает помощь Лилли – все, что может избавить его от лишних усилий... И тетки: вот они здороваются друг с другом, скачала кивая в зеркало очередному отражению, а потом уже подавая руку, как полагается, и кто-то говорит о холоде, о том, что вот-вот пойдет снег.

Маленький Лорд видел все это явственнее, чем наяву, и слышал отчетливее, чем если бы и впрямь голоса звучали с ним рядом. Сам он стоял посреди гостиной, именно там, где ему надлежало стоять, когда они войдут, – маленький хозяин дома, как бы случайно оказавшийся на месте как раз в ту минуту, когда горничная откроет дверь гостям. Каждый раз неизменный ритуал. А потом из внутренних комнат появится мать с таким видом, точно ее застали немножко врасплох, и с минутным опозданием, как и подобает хлопотунье хозяйшке... Стоя посреди комнаты, он наслаждался ожиданием. Каждый нерв трепетал в нем от радостного предвкушения встречи с гостями. Под самыми окнами, выходящими на залив Фрогнеркиль, он услышал шум поезда, идущего в сторону Скарпснун. В любое другое время он помчался бы к окну в эркере, расположенном ступенькой выше гостиной, чтобы полюбоваться, как из высокой трубы паровоза дождем сыплются искры, пляшут в ранних зимних сумерках, а потом гаснут где-то вверху или вдоль снежных полос по обе стороны железной дороги, а иногда гораздо дальше – в парке, где-то между павильоном и старым фонтаном, рядом с которым разросся орешник.

Но сегодня нет, сегодня не до искр. Сегодня он будет стоять посреди гостиной, потому что ему полагается здесь стоять, и он любит эти минуты, и кто-нибудь из родных скажет: «А вот и маленький хозяин дома». Это скажет тетя Кристина. «Маленький хозяин дома уже на посту», – скажет она, распространяя вокруг себя дурманящий аромат какао и ванили, а может, ему только чудится этот аромат, потому что тетя Кристина делает «домашние конфеты» в своей маленькой кухоньке, и на улице Конгенсгате у нее свой магазинчик, и все говорят, что она «достойна восхищения». В былые времена тетя Кристина играла на лютне и пела в шикарных ресторанах за границей, и кто-то однажды сказал, что она достойна восхищения, хотя несколько... впрочем, да, да... Тут мать искоса метнула быстрый взгляд, который должен был означать, что ребенок здесь и он слушает. Но мать знала, что ребенок знает, что после обеда взгляд у тети Кристины становится бархатистым, голос мурлыкающим, она незаметно сбрасывает под столом туфли и всем корпусом подается вперед, открывая бездонное декольте.

Он видел сквозь закрытую дверь, как дядя Рене, повесив пальто, потирает свои узкие руки, переплетая пальцы, как, проходя мимо зеркала, с минуту рассматривает кончики своих нафабранных усов, потом маленьким гребнем, который то появляется, то исчезает в его колдовских руках – в этих руках может неожиданно появиться и исчезнуть любой предмет, – приглаживает редкие пепельные волосы, начесывая их на лоб быстрыми движениями, для которых словно и созданы эти руки; потом дядя Рене постоит в дверях, собираясь войти, но вдруг в последнее мгновение с подчеркнутой вежливостью пропустит вперед тетю Шарлотту, которая зашуршит шелками многочисленных юбок, а дядя Рене скажет: «*Mon petit garçon*» [[1]], – вздернет черные брови – мать однажды обмолвилась, что он их красит, – и подмигнет ему с насмешливым видом, который, собственно говоря, ровно ничего не означает, но это подмигивание приятно Маленькому Лорду, оно тоже неотъемлемая часть всего происходящего – да, и оно тоже...

Потом дядя Мартин в щегольских, туго натянутых брюках, стиснутых на талии узкой жилеткой, отпустит свое замечание насчет «мужского пола»; но это произойдет уже после того, как появится мать.

Только тогда, значительно позже остальных – Маленький Лорд знает, что это делается для того, чтобы подчеркнуть свою скромность, – появится тетя Клара, черная, плоская, и чем сердечней встретит ее мать, тем старательней она будет показывать, что считает себя лишней...

Стоя посреди гостиной, Маленький Лорд слышал шум удаляющегося поезда. Скоро пройдет другой поезд из Скарпснун, на мгновение отбросив длинный мерцающий луч света на залив Фрогнеркиль, уже затянутый матовым льдом, почти совсем без снега. И этот шум извне только увеличивал радостный трепет от ощущения, что он

дома, что он

у себя, от соборища гостей, от запаха жаркого, от воспоминания о приглушенном чмоканье бутылок с красным вином, когда их открывали примерно час тому назад... от мерцания разноцветных ламп в восточном стиле, которыми украшен эркер. Огни ламп освещали медный поднос, и страшные бенгальские маски, которые давно уже перестали его пугать, и танцовщиц из мейсенского фарфора, которые грациозно застыли в неровном освещении, продолжая свой прелестный танец на этажерке; взрослые либо совсем не замечали их, либо рассеянно скользили по ним взглядом, а он – нет, он часто повторял их пленительные движения, потом вдруг застывал в прыжке, и сама эта неподвижность была олицетворенным движением, олицетворенным прыжком.

Он знал каждого из тех, кто сейчас войдет в комнату, знал, что они скажут и как они одеты, и прежде всего их запах; каждую из своих теток он мог узнать по запаху духов. И, несмотря на это, в последние мгновения перед тем, как открывалась высокая белая дверь, выложенная светло-синими и коричневыми шашками, он просто изнывал от нетерпеливого ожидания. Однажды он даже намочил штаны от волнения, и ему пришлось здороваться с гостями, ощущая влажное прикосновение бархатных штанишек, но это было давно, три года назад, ему тогда минуло одиннадцать. А теперь он стоял посреди гостиной в костюмчике из темно-голубого сукна с белым полотняным воротником, на который ниспадали золотистые локоны, с отполированными ногтями, в сверкающих лакированных туфельках, стоял не шевелясь, потому что должен был стоять здесь и быть гостеприимным хозяином, каждый раз будто ненароком, каждый раз замирая от радостного ожидания.

Вдали послышалось пыхтение поезда, идущего из Скарпснун. Потом поезд загрохотал под самыми окнами. Вот сейчас затанцуют искры. Он знал это. Он стоял спиной к окну и видел это сквозь три грани стекла, видел спиной. Мало-помалу шум замер, удалившись в сторону города. Дверь отворилась. Мелькнула рука Лилли, потом скрылась. На пороге стоял дядя Рене, который с легким замешательством пропустил вперед тетю Шарлотту, и та зашуршала шелками своих юбок.

Маленький Лорд сразу исчез в этих шелках. Он охотно позволял тете Шарлотте обнимать себя – ему нравилось окунуться в это шелковое шуршание, которое вблизи, когда тетка прижимала его к себе, к самой своей груди, превращалось в перезвон колокольчиков. Ее нежность в эти минуты была неудержима; поднимая голову, он видел в глазах тети Шарлотты слезы – мать как-то сказала, что тетя очень хотела иметь ребенка. Дядя Рене переживал эти мгновения восторга, стоя чуть позади. Потом выступал вперед, церемонно кланялся, подавая руку, произносил: «Mon petit garçon». Потом насмешливо вздергивал слишком черные брови, потирая руки, шел в эркер и глядел в окно на замок Оскарсхалл. Вскоре, за столом, наступит минута, когда можно будет всласть наглядеться на непостижимые пальцы дяди Рене, которые околдовывали все, к чему прикасались: тонкую ножку бокала, вилку, – или смотреть, как он еле заметным, но тем более выразительным движением поднимает руку, чтобы «сказать несколько слов»... Все, к чему прикасался дядя Рене, обретало жизнь и блеск. На мгновение его рука ласково погладила икону, висевшую над полукруглой нишей эркера, обставленного в восточном стиле. – Как нелепо выбрано место, – в который раз пробормотал

он.

Вошел дядя Мартин. В ту же минуту на пороге другой двери появилась мать. Маленький Лорд часто пытался понять, уж не сговариваются ли они, ведь, по словам матери, они были когда-то братом и сестрой, то есть, само собой, они остались ими и теперь, но было как-то странно: этот толстяк – и вдруг брат. Дядя Мартин подошел к племяннику. Одежда сидела на нем в обтяжку, образуя морщины, вроде сборок на платье голубой дамы Матисса, висевшей на стене («И это называется искусство?»). Дядя Мартин подошел к племяннику, через его голову поздоровался с сестрой, сильно дернул его за локоны и заявил: – Ей-богу, Сусси, давно пора остричь кудри этому юному Самсону, чтобы он стал наконец существом мужеского пола!

Мальчик прекрасно знал, какое в эти минуты выражение у матери, хотя его собственный взгляд был прикован к тому месту на брюках дяди Мартина, где все морщины сходились в одну точку. Глаза матери приветливо улыбались гостю, но к приветливости примешивалось раздражение, и в то же время в них лучилась нежность, когда она опускала их на сына, который так и видел смену этих выражений, хотя сам не отрываясь пожирал взглядом интригующую точку на брюках дяди Мартина.

Дядя Мартин небрежно добавил: – Впрочем, если ты хочешь заставить парня изображать Маленького Лорда Фаунтлероя, пока он...

Но тут следом за своим осанистым мужем вошла тетя Валборг. Она была крошечного роста и единственная, чей взгляд находился на уровне глаз самого Маленького Лорда; она ласково, но повелительно сказала: – Мартин! – В ответ на что дядя Мартин, пожав плечами, нехотя произнес: – У всякого свой вкус, – в приливе внезапной общительности подошел к дяде Рене и стал недоуменно разглядывать розовую статуэтку, одиноко стоявшую на черной подставке под пальмой. Под взглядами дяди Мартина статуэтка уменьшалась и теряла смысл, но, когда дядя Рене, подняв статуэтку, принялся вертеть ее в своих тонких пальцах, она стала расти и рассказывать историю о даме, которая защищалась от лебедя, защищалась, но ей это доставляло удовольствие... Эта история тоже принадлежала к миру волнующих загадок.

Тетя Валборг задержала руку мальчика в своей пухлой руке. Тетя Валборг не могла смотреть на него сверху вниз. Поэтому она казалась ему ровней. Она улыбнулась и сказала: – Я вижу, ты становишься выше меня, малыш, Впрочем, это не так уж трудно! – И тетя Валборг добродушно рассмеялась.

Маленький Лорд быстро поднялся на возвышение в эркере и, став спиной к окну, сказал: – Добро пожаловать!

– Еще не все собрались, дорогое дитя! – воскликнула тетя Кристина, только теперь стремительно впорхнувшая в комнату. Она на лету прижала его к себе, обдавая запахом какао. У мальчика было такое чувство, будто они по очереди погружали его: тетя Шарлотта – в шуршание своих шелковых юбок, тетя Кристина – в аромат какао, а дядя Мартин – в лицезрение своего туго обтянутого живота...

– А вот и тетя Клара, – сказала мать, нервно поглядывая в сторону двери, где в этот момент с обдуманном запозданием появилась тетя Клара – в черном платье с белым жабо, плоская, с лорнетом на шнурке, коротко облизнув сухие губы кончиком почти белого, точно посыпанного пеплом языка.

Маленький Лорд спустился со своего возвышения, подошел к тетке и спросил вкрадчиво, как от него и ждали: – Тетя Клара, можно мне поглядеть на твой медальон?

– После, дитя мое, что за нетерпение! – Но, приговаривая так, она ласково трепала его по щеке, а это свидетельствовало о том, что она растрогана, и о том, что она всегда и везде

остаётся учительницей. Тетя Клара преподавала немецкий и французский и отличалась прямизной осанки и суждений. («Ну что твоя грамматика, – шепнул дядя Мартин дяде Рене, стоя позади пальмы, – только все неправильные глаголы куда-то подевались».)

Вынув свой маленький, обшитый кружевом платочек, тетя Клара приложила его к носу. Этот белый с легкой горбинкой нос и кружевной платочек в глазах Маленького Лорда составляли нечто нераздельное, как и аромат «Марии Фарина», который в ту же минуту свежей струйкой проплыл в душном воздухе комнаты. Жилы на руках тети Клары образовывали увлекательнейший ландшафт, точно географическая карта с горами и реками, от них тоже слегка веяло «Марией Фарина»... запахом, таким не похожим на сладкие, любимые духи матери «Эс Буке» Бейли. Духи хранились в комнате матери, во втором сверху ящике комода. Когда Маленький Лорд был поменьше, он выдвигал самый нижний ящик, взбирался на него, и тогда кончик его носа приходился как раз вровень со вторым ящиком. В ту пору мать была ему даже еще ближе, чем теперь, когда она стояла в гостиной, заполняя пространство между дядями и тетками.

Аромат матери был щедр и вездесущ, не то что мимолетный освежающий аромат тети Клары, которым веяло каждый раз только тогда, когда она открывала свой маленький, расшитый жемчугом ридикюль и запах «Марии Фарина» волнами расходился от ее кружевного платочка.

Маленький Лорд испытывал приятное чувство от всех этих контрастов, от сознания, что в его надежно защищенном мире все явления находятся в устойчивом равновесии. Вот сейчас гости будут беспокойно слоняться по комнате, рассеянно оглядывая друг друга, пока невидимая сила – он прекрасно знает, что это горничная Лилли, – не распахнет высокую створчатую дверь в столовую и мать не скажет: «Прошу всех к столу!»

А сейчас текли минуты, насыщенные уютом и ожиданием. Все они были здесь. Все. Сейчас он доставит кому-то удовольствие, снова по-детски надоедая тете Кларе – ведь от него этого ждут, – и скажет: «Ну тетя Клара, ну можно я посмотрю на твой медальон?»

И он это сказал. И она ответила, как и следовало ждать: – И как тебе не надоеет, малыш, разглядывать этот медальон.

Она осторожно сняла через голову тоненькую золотую цепочку и открыла медальон, в нем находился второй такой же медальон, только чуть поменьше, а в том еще один. И мальчик протянул: – О-о!

В самом последнем медальоне тоже была щелочка, а значит, и его можно было открыть. Мать сказала однажды, что там фотография и что это трагедия тети Клары. Но Маленький Лорд знал, что он не должен спрашивать, можно ли открыть последний медальон. Он знал это, как знал тысячи других условленных вещей. В мире очень многое было оговорено заранее.

Смутно, смутно понимал он в эти счастливые минуты, что существует еще какой-то другой мир: покрытый льдом залив Фрогнеркиль, улицы, школа... И что мальчики из его класса, когда они принимают гостей, одеваются по-другому. Он знал это. Знал, что они бросаются чем попало, бьют стекла и рвут штаны. Он знал, что дома у Андреаса нет этажерок с танцовщицами, что по субботам в семье Андреаса едят селедку и не пьют вина из сверкающих бокалов. Он знал, что кое-кто из сверстников зовет его девчонкой за его локоны и одежду. Знал, что слова дяди Мартина о «мужеском поле» намекают на это же обстоятельство.

Однажды, давным-давно – ему тогда было десять лет, – когда гости пили кофе и пальцы дяди Рене особенно ловко играли тонкой кофейной чашкой, Маленький Лорд возьми и скажи: «Он плюхнулся на задницу и как покатится вниз...» Мать изменилась в лице так, точно вот-вот

упадет в обморок. Тетя Клара стала часто-часто облизывать губы, и кончик ее языка то появлялся, то исчезал, как кукушка на стенных часах в столовой, зато дядя Мартин разразился зычным хохотом и крикнул: «Браво, малый!» – сунул красноватую руку в жилетный карман под круглым брюшком и выудил оттуда монетку в десять эре. Поступок дяди вызвал страшную панику: прежде чем мальчику разрешили дотронуться до денег и опустить монету в копилку, ее продезинфицировали нашатырным спиртом.

Маленький Лорд был пристыжен. Не тем, что произнес грубое слово, а тем, что позволил им проникнуть в свою тайну.

Потому что он знал то, о чем не подозревали ни мальчишки, ни тетки, ни дяди, ни мать: он знал немало

таких слов. В его голове бродило немало

таких мыслей. У него была еще одна жизнь –

такая жизнь, вовсе не похожая на ту, какую они себе рисовали.

Створчатая дверь в столовую распахнулась точно по волшебству. Открывшие ее руки были невидимы. Мать сказала: – Прошу, – точно сама была застигнута немножко врасплох. И гости, опережая Маленького Лорда, двинулись к двери, к чудесным ароматам, тяжелыми волнами хлынувшим им навстречу. Он шел позади всех, как бы управляя ими чуть заметными дирижерскими движениями, которых они не могли видеть. Почти бессознательно имитировал он походку дяди Мартина, который шел вразвалку, и элегантные, скользящие шаги дяди Рене, грамматически четкое вышагивание тети Клары и шуршал невидимыми юбками позади шелестящих юбок тети Шарлотты. Он пританцовывал, следуя за ними, полный дружелюбного презрения, и чувствовал себя невыразимо счастливым от двойственного стремления нравиться и насмеяться. Уже в самых дверях, проходя мимо горничной Лилли, он высунул язык, в то же время делая вид, будто хочет обнять девушку, и казалось, он гонит перед собой стадо, гонит к столу, туда, где канделябры льют мягкий свет на синеватый фарфор.

– Мэ-э-э! – неслышно проблеял Маленький Лорд вслед любящим родственникам, которые шествовали в столовую.

2

Маленький Лорд стоял в столовой у окна, выходящего на восток, сознательно подставляя лицо слепящему свету солнца. Он еще не ел, и все вызывало в нем тошноту: сама комната, ее запахи, мысль о том, что надо идти в школу. За спиной он слышал тиканье стенных часов с кукушкой, и каждая отсчитанная секунда болезненно отзывалась в нем. Перед секретером матери на стуле, обитом кожей с золотым тиснением, валялся ранец из тюленьей кожи, ремни его свисали вниз. Терпкий запах кожи тоже тяготил в это утро Маленького Лорда. Он услышал на лестнице шаги матери и понял, что она с минуты на минуту появится в дверях. В нем вспыхнуло раздражение.

– Разве ты не собираешься в школу, Маленький Лорд?

– Называй меня Вилфредом, – холодно сказал он, не оборачиваясь. Слова вырвались у него неожиданно для него самого.

– Но, сыночек... – Он услышал ее приближающиеся шаги. Его настроение вдруг круто изменилось. Он подошел к ней со слезами на глазах.

– Прости, мама.

– Но уже половина девятого... ты опаздываешь.

– Мама! – Слезы блеснули снова. Он позаботился о том, чтобы они не полились градом, а только повисли на ресницах, и горло перехватила приятная сладкая судорога. – Мама, я не могу сегодня пойти в школу.

Она ласково обвила его рукой за плечи. Они вместе вернулись к окну.

– Смотри, мама, – сказал он, кивком указав ей на влажные темные ветви, сквозь которые просачивались солнечные лучи. – А знаешь, в моей гербарии недостает некоторых растений – чистотела... и еще других. Нет, сейчас вовсе не рано, их можно выкопать из-под талого снега на Бюгдё.

– Тогда мне завтра придется написать записку в школу, что ты болен, – сказала она. – А это будет ложь.

Он видел, что она побеждена. Видел по ее глазам. Видел по всему, и по черному платью тоже – сегодня один из ее «мягкосердечных» дней, один из дней, когда она ходит на кладбище на могилу отца. Он передернул плечами.

– Почему ложь? Не ложь, если ты напишешь, что у меня болит горло.

Она тоже слегка передернула плечами, движением своих округлых женских плеч в точности повторяя движение худых детских плеч сына, полное своеволия и легкомыслия.

– И вообще, мама, – он пошел следом за ней от окна в глубь комнаты, – зови меня, как хочешь, зови меня Маленьким Лордом.

Мать обернулась к нему, на лице у нее было огорчение.

– Мой брат Мартин, наверное, прав. Пора называть тебя твоим настоящим именем.

Ему стало не по себе – неуютный мир действительности вдруг надвинулся на него. Умоляюще протянув к ней обе руки, он повторил:

– Называй меня Маленьким Лордом!

Она облегченно вздохнула.

– Ну, раз тебе самому так хочется, сыночек. – Она подошла к секретеру.

– Тебе нужны деньги для лодочника.

Взяв синюю фарфоровую чашку, самую дальнюю справа в ряду чашек, она вынула из нее ключ и отперла секретер. Ребристая крышка, как по волшебству, скользнула вверх. Он любил, когда предметы действовали так красиво и безотказно. Из левого верхнего ящика она извлекла коричневый кошелек и из среднего отделения, закрывавшегося маленькой медной защелкой, достала две монетки по пять эре. И сразу повеяло тонким ароматом от крошечной книжечки с листками пудры, лежавшей в открытом заднем кармашке вместе с крошечными огрызками двух красных карандашей – сентиментальное воспоминание, сбереженное на память о триумфах молодости на больших балах. Потом она снова закрыла секретер, заперла его и спрятала ключ на место, в чашку на каминной полке.

– Неужели ты еще не ел?

Она нажала кнопку возле буфета с резными створками, где посреди целой выставки

серебряных бокалов и фужеров из богемского хрусталя стоял роскошный серебряный судок.

– Я ждал тебя, мама, мы позавтракаем вместе. Когда ты приходишь, у меня появляется аппетит.

И в ту же минуту это стало правдой. Он почувствовал приступ голода, как бывает, когда миновало что-то неприятное, и тревогу в ожидании того, что ему предстоит; по спине и по ногам забегали сладкие мурашки. Подали горячий кофе, мать и сын с удовольствием принялись за еду, в безмолвном единодушии отстраняя все неприятное.

– Мама, мне не хочется, чтобы на тебе сегодня было черное.

Она в замешательстве поглядела на него. Он высказал вслух ее собственные мысли, он часто высказывал вслух ее мысли как раз в тот момент, когда они рождались в ее голове.

– Сегодня такая хорошая погода. По-моему, ты должна переодеться. Правда.

В этом «правда» был намек на какой-то давний уговор, остатки детского языка, когда-то полного для них обоих особого смысла.

Сын учтиво встал, едва мать кончила завтракать. Он слышал, как она поднялась по лестнице и вошла в свою комнату на втором этаже. Тогда он бросился к камину, взобрался на стул, выудил из чашки ключ и отпер секретер. Через минуту он уже сжимал в руке четыре монеты по двадцать пять эре и пять по десять. Он хотел было убрать кошелек обратно, но тут ему пришла в голову новая мысль. Взяв из заднего кармашка бальный карандашик, он нашел в кошельке клочок бумаги, где были записаны расходы, и приписал к ним аккуратным, без наклона, почерком матери три цифры на общую сумму полторы кроны. После этого он положил все на место, слез со стула и, насвистывая, подошел к окну как раз в ту минуту, когда горничная Лилли вошла в комнату, чтобы убрать со стола.

Она с удивлением остановилась.

– Разве ты не идешь в школу? – спросила она.

– Как видишь, милая Лилли, – ответил он, обратив к ней сияющее лицо.

– А хозяйка знает, что ты опять прогуливаешь?

– Фу, Лилли, какие слова ты говоришь. – Он, улыбаясь, подошел к ней. – Сегодня я поеду на Бюгдэ собирать растения для гербария, погода как раз подходящая. – Она с презрением фыркнула. Он подошел к ней поближе. – А знаешь, Лилли, после мамы, но ведь мама гораздо старше тебя, ты самая красивая дама из всех, кого я знаю.

– Дама! – фыркнула побежденная Лилли.

– Конечно, дама, – настойчиво повторил он и, щуря глаза, придвинулся к ней вплотную. – А знаешь, я думаю, твой отец был какой-нибудь знатный человек – министр или богатый бакалейщик. У тебя такие руки, такие движения...

– Ты опять за свое, – сказала Лилли, составляя тарелки полными красными руками. – Ей-богу, у тебя не все дома. – Она постучала по лбу, там, где прядь золотистых волос выбивалась из-под наколки. – Просто-напросто не все дома, – повторила она, чувствуя, как в ней расцветает дочь министра.

– Обними меня, – вдруг потребовал он; она была теперь совсем рядом с ним. Лилли быстро повернулась и с неожиданной нежностью склонилась к нему. А он с безотчетным пылом прижался к ее тугой груди, жадно впитывая ее запах. Стыдливо высвободившись из его

объятий, она выпрямилась.

– Ей-богу, ты спятил, – тихо проговорила она.

– Допустим! Или, лучше сказать, у меня не все дома. – Он быстро отошел в сторону, но снова повернулся к ней, и в глазах его горело желание.

В эту минуту вошла мать в светлом бежевом платье и серых туфлях.

– Ты еще не ушел? – спросила она.

– Я ждал тебя, мама, чтобы ты помахала мне в окно, – ответил он. – Да, вот это платье ты и должна была надеть сегодня, – быстро добавил он. – Правда, Лилли?

Обе женщины обменялись торопливым, смущенным взглядом.

– Ну, теперь я пойду, – сказал он. – Лилли, милочка, будь добра, сделай мне три бутерброда, все равно с чем, но лучше всего один с копченой лососиной и два со швейцарским сыром.

Он вышел в прихожую, чтобы надеть пальто и шапку. Оттуда бегом поднялся в детскую за французским электрическим карманным фонариком, который дядя Рене подарил ему на рождество. После его ухода, оставшись вдвоем в комнате, мать и Лилли в смущении избегали глядеть друг на друга.

Он медленно брел вниз к Скарпсну в своем новом сером пальто. Перевозчик курил, сидя на берегу. Прежде чем отчалить, он потребовал, чтобы ему показали деньги. Знает он этих мальчишек. Когда они доплыли до середины залива, как раз до того места, которое было видно из окон их гостиной, Маленький Лорд приподнялся в лодке и помахал рукой. Он не мог видеть мать, но знал, что она его видит. Он долго махал ей, а потом сказал перевозчику:

– Может, я вернусь с вами обратным рейсом! – Он положил еще одну монету в пять эре в ящичек, стоявший на сиденье.

– А мне-то что, – отозвался лодочник. Его скрюченные пальцы, сжимавшие весла, заканчивались длинными когтями. И сам он походил на какого-то добродушного диковинного зверя. Весь год, исключая зимние месяцы, когда лежал глубокий снег, он плавал на своей лодке от берега к берегу, обеспечивая связь Скарпсну с небольшой бухточкой на другом берегу.

Маленький Лорд проворно спрыгнул на берег и с минуту постоял на виду на каменном причале. В город собирались переправиться четверо взрослых пассажиров. Он проскользнул в лодку следом за ними и спрятался за их спинами, на случай если кто-нибудь из домашних все еще стоит у окна. Оказавшись снова на городском берегу, он быстро перешел Драмменсвей, там, где была ближайшая остановка трамвая. Протянув кондуктору десять эре, он получил пять сдачи. Вилфред сошел у Атенеума, перешел к гостинице «Гранд», а там сел в зеленый трамвай, на котором было написано «Грюнерлокке», устроился впереди, рядом с вожатым, и стал жадно глядеть на рельсовый путь, втягивавший в себя трамвай и его пассажиров. В подростке с новой силой вспыхнуло возбуждение. Он чувствовал его по сладкому ознобу во всем теле. Стоя в вагоне, он громко подпевал в такт гроыханью трамвая. День был нов и необычен во всех отношениях. Маленький Лорд предпринял одну из своих тайных вылазок в места, о существовании которых мать и тетки не подозревали, к людям, взрослым и мальчишкам, в существование которых они до конца не верили. Опасные, незнакомые места, полные опасных, чужих запахов, и люди, которые разговаривают другим языком, по-другому одеваются, по-другому живут, вообще совсем

другие...

Маленький Лорд сошел на площади Улафа Рюэ. Он уже бывал здесь прежде – раза четыре – по таким же делам. На улице Марквей он зашел в какую-то подворотню, аккуратно подобрал свои локоны и спрятал их под шапку. Потом свернул на улицу Торвалда Мейера. Он знал, что там, в убогих переулочках, ведущих к Делененг, на пустырях или возле домов он встретит мальчишек, несущих судки с похлебкой или какие-то свертки. Там он найдет то, что ищет: однодневных друзей, которые по-другому говорят и вообще

другие. Здесь он насладится приключениями, которые уже не раз дорого ему обходились, но от которых он не в силах отказаться.

Его поиски увенчались успехом. Он свернул в сумрачную грязную улочку, которая упиралась в темную грудку досок, за ними высилось здание, окруженное лесами, вокруг стояли кадки с известью. Проходя мимо, он понял, что мальчишки уже там, в темных дверных проемах. А потом он услышал голоса за своей спиной – стайка мальчишек дразнила и грозилась.

– Воображала! Маменькин сынок!

И обычные издевательские выкрики, что-то вроде «...твою мать», которые он не совсем понимал. В горле у него пересохло от страха, но он продолжал идти прямо, не оборачиваясь, и чувствовал, что ватага, идущая за ним по пятам, растет.

Эти мальчишки говорили на другом языке. Учиться они ходили после обеда в какую-то народную школу. Они во всем отличались от него, и каждый раз, встречаясь с ними, он испытывал к ним глубокое отвращение. Сегодня он умышленно решил надеть свое новое серое пальто, чтобы не просто разозлить их, а привести в бешенство.

В голосах за его спиной все громче звучала угроза, самые смелые отважились подойти ближе, кто-то уже дернул его за пальто, один попытался, как бы случайно пробежав мимо, подставить ему ножку. Это был коротыш, которого другие называли Крыса. От него едко пахло перцем, должно быть, от старых застиранных штанов.

– Небось не остановишься – слабо! – кричали сзади все громче и громче. Маленький Лорд принуждал себя не ускорять шага, ему хотелось побежать, но он подавлял в себе это желание. Он шел напрямик к громадным штабелям досок, которые высились впереди. Между досками зияла дыра. Она терялась во мраке. Сохраняя невозмутимый вид, он первым углубился в провал. Отсюда не было выхода. Поблизости не было взрослых, которых можно позвать на помощь. Тут он должен претерпеть то, что замышлялось против него, или одержать немедленную победу.

Теперь ватага настигла его. Один вырвался вперед и при каждом шаге наступал ему на пятки. В дыре становилось все темнее и темнее, а в голосах за его спиной звучала глухая вражда.

Но как раз в ту минуту, когда темный проход уперся в стену, он резко повернулся, выхватил из кармана фонарик и направил его слепящий луч прямо в лица своим преследователям.

Он даже сам не рассчитывал на такой эффект. Те, кто шел впереди, отпрянули. Задние застыли на месте, разинув рты. Всего их было девять мальчишек, пестрая ватага: рваная одежда, нечесанные головы, грязные кулаки и худые, бледные лица, на которых написаны голод и жесточение.

По ватаге прошел стон. Он погасил фонарь. Тьма обрушилась на них слепящими огненными вспышками. Он снова зажег фонарь, опять потушил, спрятал в карман.

Они стояли лицом к лицу в полной тьме. Мальчик из одного мира и девять мальчишек из другого. Ему удалось на мгновение взять верх. Ни один из них прежде не видел карманного электрического фонаря. Ни у кого из них в доме не было электричества. Он знал это.

Рассчитывал на это. Это был его козырь. Он пошел с него. Противники изнывали от желания вступить в переговоры.

– Сколько хочешь за фонарь? – спросил один.

– А можно поглядеть? – В голосе второго звучало даже некоторое почтение.

Маленький Лорд в темноте вложил фонарь в протянутую руку. Мальчик не знал, как его зажечь.

– Вот так, – сказал Маленький Лорд, нажав кнопку. Дощатый свод осветился вдруг, как сказочная пещера, и в мерцающем свете лица мальчишек изменились до неузнаваемости. Казалось, они впервые видят друг друга, их солидарность была сломлена. Маленький Лорд погасил фонарь. Мальчишка продолжал сжимать в руках волшебную палочку, но в его руках палочка лишилась волшебной силы. Возбуждение пронизывало темноту.

– Дай поглядеть, – произнес чей-то голос во мраке. Фонарь перешел в другие руки. Маленький Лорд понимал, что на сей раз мальчишка сумеет зажечь свет. Тогда очарование рухнет. Еще, может, и не отдадут фонарь.

– Ладно, ребята, – бросил он в темноту. – Что будем делать?

Он услышал незнакомые нотки в собственном голосе, услышал голос незнакомого парня, того самого Вилфреда, с которым изредка ему удавалось свести знакомство, почувствовал в себе силу этого парня, его стремление верховодить.

– А ну-ка, давай сюда фонарь, – сказал он, наугад протянув руку в темноту.

Чья-то рука нашарила его руку. Фонарь снова оказался у него. Он на мгновение зажег его, потом молниеносно снял колпачок, вывинтил лампочку и снова надел колпачок.

– Держите, – сказал он. – Кто еще хочет поглядеть?

Жадные руки потянулись к фонарю. Мальчишки нажимали на кнопку, на хрупкий рычажок, передавали фонарь из рук в руки. Фонарь не зажигался. Они стали ссориться, обвинять друг друга в том, что фонарь сломали. Между прежними приятелями, членами одной дружной ватаги, не осталось и следа взаимной поддержки. По их лицам, взволнованно обращенным к нему, Вилфред чувствовал, что они ждут команды, приказа.

– Ладно, дайте-ка я взгляну, – коротко бросил он, быстро водворил лампочку на место и снова на мгновение зажег фонарик. Он успел разглядеть ребячьи лица, которые за эти минуты повзрослели и стали воинственными, искаженные жаждой сильных ощущений. Однажды Вилфреду пришлось пережить в такой компании полное поражение. Тогда кто-то предложил ловить мяч тапкой, а он знал, что стоит ему снять шапку, и длинные локоны рассыплются по плечам. Дело кончилось дракой, исход которой был предreshен, и его бегством по длинным грязным улочкам, где все преимущества были на стороне преследователей.

Стало быть, надо было предложить что-нибудь верное.

– А что, если двинуть в молочную на углу? – холодно сказал он.

– К Юнсону? – переспросил кто-то.

– А то к еврею, папироснику, – наугад предложил он. Он помнил, что где-то на улице Тофте была табачная лавка, фамилия владельца кончалась на «вич». Он делал ставку сразу на все – на неприязнь к «еврею», на охоту покурить, которую он смутно угадывал в мальчишках, на

жажду приключений, а то и просто сладостей, на детское или уже взрослое стремление вырваться из повседневности, стать чем-то другим.

– Пошли к еврею, – произнес сиплый голос из темноты.

В дыре, где они стояли, тревожно пахло гнилым деревом. Запах грязной одежды и потных, возбужденных тел увеличивал духоту и без того спертого воздуха. На какое-то короткое, пьянящее мгновение Вилфред почувствовал, что здесь, сейчас он может заставить девятерых мальчишек сделать все, что ему заблагорассудится, даже против их собственной воли.

– За мной, – коротко бросил он, прокладывая себе путь среди них. Они робко расступились, а потом, что-то бормоча, последовали за ним. И когда опять впереди забрезжил свет, он с внутренним ликованием понял, что роли не переменятся даже теперь, когда они вернутся в привычную обстановку. Именно теперь, и даже особенно теперь, все будет им казаться иным: улица, дома по обе ее стороны и он, в первую очередь он. Он идет впереди, а трое или четверо мальчишек не отстают от него ни на шаг. Вилфреда вдруг осенило.

– Вы будете моими адъютантами, – бросил он тем двоим, кто шел ближе к нему.

Кого он имел в виду? Те, что были посильнее, хоть и шли позади, пробились вперед к самому выходу из дощатой пещеры:

– А я? А я?

– Ты будешь телохранителем, – небрежно кивнул Вилфред верзиле с сиплым голосом. Это он наступал ему на пятки, он первым пытался зажечь фонарь. Теперь сиплый голос повторил:

– Телохранителем.

Кто-то из идущих сзади спросил:

– А что будем делать с евреем?

Маленький Лорд ответил первое, что пришло в голову:

– Сопрем какую-нибудь мелочь. Для начала.

Кто-то из ватаги с благоговением повторил:

– Для начала.

Они понимали, что это значит: за мелкой кражей последует кое-что почище.

На углу возле табачной лавки Вилфред вдруг сообразил, что всей гурьбой вваливаться в лавку нельзя. Он обернулся к мальчишкам, сгрудившимся вокруг него.

– Со мной пойдут трое. Остальные пока рассыпьте по парку.

Обращенные к нему лица тускло маячили перед ним, он их не видел, не воспринимал как лица. В резком свете они казались плоскими овалами, разинутые рты жадно ловили его приказания. Все хотели оказаться в числе троих. И все боялись. Он трепетал от нервного напряжения, понимая это и понимая, что тот, на кого падет выбор, будет дрожать от восторга и в то же время желать очутиться на другом краю света.

– Ты, – изрек он, тяжело опустив руку на плечо сиплого.

Тот, кого звали Крыса, попытался улизнуть, но опоздал.

– И ты, – произнес Вилфред, подтащив Крысу рукой, отяжелевшей от ощущения власти.

Оставалось выбрать еще одного. Все потупили глаза, кроме бледного малыша, смотревшего с мольбой, точно под гипнозом...

– Ладно-ладно, и ты, – заявил Маленький Лорд, словно нехотя соглашаясь на благодеяние. Бледный мальчуган еле удержался на ногах, когда на его плечо легла рука Вилфреда.

Вилфред кивнул остальной ватаге.

– Сбор в парке по одному, – сказал он. – А покамест держите! – Он швырнул им несколько монет по десять эре.

Мальчишки ринулись подбирать деньги, стали драться. Потом наконец ушли, нехотя, с облегчением и разочарованием, с сомнением и доверием в одно и то же время.

Четверо коротко посоветовались, потом поочередно с независимым видом прошли мимо лавочки на углу, заглядывая внутрь. Маленький Лорд подождал, пока из лавки вышел покупатель. Потом кивнул головой и с небрежным видом вошел в лавку.

Хозяин табачной лавки, стоявший у полок, вежливо оглянулся и испытующе посмотрел на юного покупателя.

– Покажите мне, пожалуйста, карты, – сказал тот, подходя к прилавку. – И еще мне нужно четыре пачки сигарет «Батскари» для отца. Четыре пачки кипрских.

– Очень сожалею, молодой человек, – вежливо сказал хозяин, – но ты слишком молод, чтобы покупать сигареты.

– А у меня есть записка от отца, – сказал Маленький Лорд, сунув руку во внутренний карман пальто. Он слышал, что мальчишки уже в дверях, что они идут.

– Покажите мне, пожалуйста, карты вон с той полки, – попросил он.

Хозяин повернулся спиной и, прихрамывая, с трудом заковылял в дальний угол лавки.

Маленький Лорд обернулся к сиплону.

– Хватай его, – неуверенно шепнул он. – И держи.

Сиплый бестолково тарасил глаза. Торговец взгромоздился на маленькую табуретку, чтобы дотянуться до полки.

– Делай, как я сказал, – шепнул Маленький Лорд, – когда я скажу «пора». А ты, – обернулся он к Крысе, – беги к кассе позади прилавка и хватай, сколько успеешь. Ну, я говорю: пора!

Сиплый, как кошка, перемахнул через прилавок и схватил старика торговца со спины. Крыса побежал следом и зачерпнул из кассы полную пригоршню монет.

Третий, бледный малыш, без кровинки в лице, попятился к двери.

– Держи и убирайся, – шепнул Маленький Лорд, сунув ему десять эре. Мальчишка исчез за дверью. Громкие башмаки застучали по улице. Маленький Лорд оглянулся. Снаружи в лавку никто не заходил. Солнце скрылось. Начал накрапывать мелкий дождь.

– Теперь уходите. Поделитесь с остальными, – жестко сказал он двум перепуганным

мальчишкам. Потом, когда дверь за ними захлопнулась, он двинулся навстречу торговцу, который, пошатываясь, вышел из-за прилавка. С минуту они стояли, глядя друг на друга: четырнадцатилетний подросток – со страхом и упрямством, шестидесятилетний старик – с испугом, и обидой. Потом Маленький Лорд занес руку для удара. Раз, два. Оглушенный торговец рухнул спиной на прилавок. Маленький Лорд быстро зашагал к двери и у входа посторонился, пропуская в лавку пожилого рабочего. Он вежливо придержал для него дверь, а потом помчался к Делененг, в сторону, противоположную парку, где условился встретиться с мальчишками.

С минуту он помедлил на углу, понимая, что теперь-то, именно теперь и начнется тревога, поднимется крик, из окон и дверей будут высовываться головы. Начнут обшаривать все улицы, все пустыри, где обычно шныряют мальчишки.

Он быстро перешел улицу. У него еще оставался шанс, но шанс последний. Когда раздались крики, он уже свернул в переулок, юркнул в какую-то подворотню и очутился во дворе, огороженном дощатым забором, возле которого стояли два мусорных ящика. Маленький Лорд вскочил на один из них, не без труда перемахнул через забор и очутился в другом дворе. Отсюда он вышел на незнакомую улицу и стал соображать, где находится. Теперь он отчетливо слышал крики, голоса без слов. Он пошел влево, по другой стороне улицы, пересек пустырь и оказался перед группой больших доходных домов. Войдя в подворотню, он очутился среди старых деревянных домов, окружавших небольшой дворик с колонкой посередине. Вилфред подставил руки под струю – руки были в крови. Он плотнее надвинул на голову шапку и на минуту задумался. В это время из деревянного дома вышла горбатая женщина с зеленым металлическим чайником, она шла к колонке.

– Простите, – сказал он, вежливо поклонившись. – Не будете ли вы добры дать мне напиться? – Он согнулся в поклоне так низко, что женщина не могла видеть его лица. Пораженная непривычным тоном, она решила принести кружку и заковыляла к дому. Ему вдруг не захотелось ее обманывать. И когда она вернулась с кружкой, он напился воды и, вынув двадцать пять эре, протянул их женщине.

– Большое спасибо. Это вам за вашу любезность.

Женщина, разинув рот, смотрела ему вслед, пока он шел между деревянными домишками маленьким проулочком, окаймленным с двух сторон стеной влажных деревьев. Он вышел на улицу, где никогда прежде не бывал. Теперь он больше не слышал криков. Теперь все было где-то позади, в каком-то другом месте, в другом мире. Но этот мир может его настигнуть, если он не будет начеку. Он по-прежнему держался южного направления с небольшим уклоном на восток. У него было какое-то физическое ощущение направления. Дорога привела его к воротам кладбища Софиенберг; улица по обе стороны была безлюдна, и он вошел в ворота. Морозящий дождь сгустился в сплошной туман. Он стал на колени у одной из могил. Теперь он снова услышал крики. Может быть, это были те самые крики. Может, его заметили. Он вытянулся на земле у надгробия и, впившись пальцами в холодную землю, пробормотал: – Сделай так, чтобы они не пришли. Только не в этот раз.

Крики удалились. И казалось, в нем сразу произошел перелом. Он прочел надпись на могильном камне: «Ракел Иенсен...» Преклонив колени перед могилой, он прошептал: – Благодарю тебя, милостивый боже!

Он поднялся с земли и, пригнувшись, побежал между могилами, чтобы выйти с кладбища через другие ворота. Сквозь просветы в штaketнике, тянущемся вдоль улицы Софиенберггате, он увидел черную каску полицейского.

Блестящее острие каски странно выделялось на фоне коричневатого-серого безлиственного пейзажа.

Каска невозмутимо приближалась к нему, и его охватило вдруг неожиданное ощущение безопасности. Полицейский – да он для того и существует, чтобы даже здесь, в этом беспокойном, бедном районе города оберегать покой почтенных граждан...

Маленький Лорд выпрямился во весь рост и, приосанившись, вышел из ворот прямо навстречу полицейскому, словно ища у него защиты.

Это были захватывающие минуты, хотя Вилфред не спасался бегством и не дрался, а просто положился на волю случая. Повезет – значит повезет. Не повезет – тогда случится то, что он никогда не додумывал до конца. Он вверялся мрачной неизвестности.

Полицейский не обращал внимания на Вилфреда. Он шествовал своим размеренным шагом вдоль серых стен домов. Подросток расправил плечи и почувствовал, как его лицо скривилось в высокомерной гримасе. Он все еще внутренне балансировал между чувством страха, сладко нывшим во всем теле, и тягой к своему привычному миру, к безопасному существованию, которому он мог радоваться только тогда, когда удавалось что-то ему противопоставить. Вот и сейчас он представлял себе свой теплый, светлый дом на Драмменсвей, неотделимый от него уют, который он так любит. Представлял себе и то, как теперь у него появится новая тайна, еще одна тайна – скверный поступок, о котором знает он один.

Он быстро спустился к площади Скоу, чтобы сесть в трамвай, идущий к дому. В его голове теснились всевозможные планы, он их принимал, потом отбрасывал. Сегодня он уже кое-что сделал – ударил бедного старика. Он не испытывал ни малейших угрызений совести или сострадания. Ведь опасность еще не миновала. Ему надо спасти собственную шкуру. Спасать от угрозы. Правда, угрозу приходится создавать самому, ну что ж, ничего не поделаешь, зато теперь он счастлив: в его жизни опять появилось что-то такое, что избавляло его от ощущения, будто все знают о нем всё.

Скоро, он это понимал, окружающей его реальностью снова станут только мать и родной дом, а все остальное станет чем-то далеким, отойдет в прошлое.

Но лишь на время, пока новая дерзкая затея не начнет требовать выхода, и ради нее он поставит на карту все свое безмятежное существование, потому что мир, в котором он живет, должен быть полон тревог и таить в себе то, что знает лишь он один.

Он медленно брел по центру города и чувствовал, как его охватывает блаженное умиротворение. Он шел навстречу чему-то приятному, и ему хотелось делать людям приятное. В бумажном магазине на Эвре-Слотсгате он купил листок почтовой бумаги, конверт и марку за десять эре. Усевшись за высокую конторку, предназначенную для клиентов, он стал писать изящным наклонным почерком фрекен Воллквартс, – почерком, который каждую букву превращал в живое существо, дружелюбное и улыбающееся.

Фру Сусанне Саген Улица Драмменсвей

Христиания

Я пишу Вам эти несколько строк только для того, чтобы уведомить Вас, что Ваш сын Вилфред прекрасно успевает во всех учебных дисциплинах и при этом отличается примерным поведением.

Преданная Вам

Сигне Воллквартс

На углу улицы Карла Юхана он опустил письмо в почтовый ящик, а потом сел в трамвай у

Атенеума. «Право же, мама заслужила эту радость», – подумал он и, приподняв шапку, встряхнул рассыпавшимися по плечам локонами.

3

Звонок.

Мать опустила «Моргенбладет», которую держала развернутой над чашкой кофе, и прислушалась. Она и сын одновременно услышали, как открылась дверь, ведущая из коридора в холл, и Лилли вышла в прихожую.

Потом открылась входная дверь. Потом раскатистый голос почтальона, смешливый звонкий голосок Лилли... При этих привычных звуках Маленького Лорда обдало жаркой волной блаженства. Он чувствовал, что он у себя дома, чувствовал это во всем. И было в этой уверенности что-то такое, что изгоняло все другие ощущения, отдаляло их, лишало той реальной плоти, которая придавала им весомость в неустойчивом равновесии его мира. Дома с ним не могло случиться ничего дурного.

Легонько постучав в дверь, Лилли положила на край стола принесенные почтальоном письма. Мать бросила на них рассеянный взгляд поверх газеты. Это были письма с марками фирм, письма из того мира, который

искал ее, но ни на что не посягал, – любезные приглашения, которые, по желанию, она могла принять или отвергнуть. Магазин шелка, торговый дом «Стеен и Стрём» предлагали свои новые модели к предстоящему придворному балу.

Наконец она обратила внимание на единственное письмо без фирменного штемпеля. Косой изящный почерк на конверте пробудил в ней любопытство, она вскрыла конверт и быстро пробежала письмо.

Глаза Маленького Лорда были устремлены на сваренное всмятку яйцо. Он старался каждый раз зачерпнуть ложкой равное количество желтка и белка и откусывать каждый раз совершенно одинаковый кусочек поджаренного хлеба, посыпая его одним и тем же количеством соли. Взрослые всегда посмеивались над его попытками растянуть свои гастрономические утехы. Вот и сейчас он поймал на себе материнский взгляд и тотчас потянулся к чашке сладкого чая пополам с молоком.

– Нет, я не потому, сынок, – сказала мать.

Он поднял на нее глаза с выражением точно рассчитанного удивления.

– Что-нибудь случилось, мама? – спросил он. Теперь вид у него был слегка встревоженный – это тоже входило в его намерения.

– Случилось... видишь ли... Нет, я не могу тебе сказать. – Лицо матери приняло многозначительное выражение.

– Какая-нибудь неприятность? – На глазах у него выступили заготовленные на всякий случай слезинки. Он чувствовал себя в ударе.

– Неприятность... нет, что ты, сынок! Ничего неприятного, поверь мне! – Теперь ее глаза сияли. Она была удивительно хороша. Радость волной прилила к его сердцу, потому что он доставил радость ей.

– Но тогда скажи, в чем дело, мама, – попросил он. – Раз нет ничего неприятного.

Она встала и, напевая, подошла к окну. Ее переподняло такое счастье, что ей приходилось таиться от сына. Нет, это письмо должно остаться тайной между нею и школой; наверняка фрекен Воллквартс не хочет, чтобы она посвящала мальчика в их переписку. Но зато она должна написать ответ, вот это она сделает. Она напишет учительнице письмо, расскажет ей, как она счастлива, и попросит ее по-прежнему заботливо опекать ее ненаглядного прилежного мальчика. Ей хотелось сделать что-нибудь еще, например послать фрекен Воллквартс подарок, какую-нибудь безделушку, но не подделку, а настоящую драгоценность.

И вдруг она почувствовала себя беспомощной и никчемной по сравнению с такой вот учительницей, человеком образованным, наделенным опытом и знаниями – всем тем, что она упустила в своей беззаботной жизни. В приливе педагогической ответственности ей захотелось завести с сыном разговор о чем-то поучительном.

– Ты вот почитай газету, – неожиданно сказала она. – Подумай, какая разница в семейной обстановке, в окружении... Да, Маленький Лорд, я хочу, чтобы ты имел хоть некоторое представление об этих вещах.

И она решительно села рядом с ним, развернув «Моргенбладет».

– Посмотри, что здесь написано... Несколько мальчиков в районе, который называется Грюнерлокке... я даже не знаю толком, где находится этот район, где-то очень далеко, на другом конце города... Они ворвались в табачную лавку – подумай, сынок, среди бела дня! –

избили бедного продавца,

украли у него деньги и... Ну неважно, я просто хочу, чтобы ты знал, что такие вещи случаются. Подумай, твои сверстники, даже моложе – мальчики лет десяти-двенадцати, написано в газете... О мой родной, любимый сынок!

Она снова встала, взволнованная нарисованной ею же самой картиной. Наклонившись над сыном, она прижала его к себе. Он слышал, как она пробормотала:

– Бедные, бедные дети!

Он слышал ее слова будто сквозь вату. Судорога свела ему внутренности. Все это вышло слишком неожиданно. Напечатано в газете. И главное – она восприняла это таким образом.

Судорога свела ему внутренности. Рвота подступила к горлу. И прежде чем он успел справиться с собой, все, что он съел: яйцо, молоко, чай – все оказалось на тарелке.

– Сынок! – Она испуганно отшатнулась. – Что с тобой?..

– Прости, мама, – пробормотал он сквозь слезы, которые на этот раз выступили просто от физической слабости и изнеможения.

– Мальчик мой, это я виновата, я не ожидала... неужели на тебя такое впечатление?... – Она обтерла его чистой салфеткой, нажала кнопку звонка. – Маленькому Лорду стало дурно. Будьте добры... – Она указала на тарелку. – Это моя вина, – с огорчением пояснила она. – Я прочла в газете о грубых и страшных вещах, о мальчиках...

Но Маленький Лорд ни за что не хотел пропускать школу – нет, только не сегодня.

– Все прошло, мама, – сказал он, вставая.

– Мой мужественный мальчик, – с гордостью сказала она. – И все-таки, может быть, это

слишком большая нагрузка...

И вдруг ему вспомнилась висевшая у него в детской цветная гравюра, изображавшая адмирала Нельсона. Одноглазый адмирал, весь в крови, пытался приподняться у подножия мачты, а вокруг неподвижно неслись черные пушечные ядра.

– Не стоит об этом говорить, мама, – решительно сказал он.

Идя к выходу, он остановился неподалеку от стола. На краю его лежала газета. На белоснежной скатерти она казалась грязным клочком бумаги, грубым вторжением в чистоту фарфорового царства, непредусмотренным отголоском мира, который не имел права на существование, когда Маленький Лорд находился у себя дома, где все было так хорошо.

– Нет, мама, – еще раз повторил он. – Все в порядке, я совершенно здоров. Я не хочу пропускать школу из-за такого пустяка.

Это вновь направило ее мысли к тому, к чему хотел сын, – она вспомнила о письме. Она снова взяла в руки конверт и с минуту постояла так, осязая его как источник радости и поддержки в мире, который таким зловещим образом напоминал им о себе.

– Береги же себя, мой мальчик, – сказала она ему вслед. – И пока – передай от меня привет фрекен Воллквартс.

Шестнадцать мальчиков сидели вокруг стола в пятом классе частной школы сестер Воллквартс. Все основные учебные дисциплины в школе преподавали сестры Воллквартс, Сигне и Аннета. Фрекен Сигне Воллквартс, преподававшая норвежский и священную историю, сидела во главе стола, с досадой оглядывая светлые и темные мальчишеские головы, стриженные ежики и волнистые челки, мальчишек с грязными обкусанными ногтями и мальчиков, которые аккуратно сложили на столе руки, гладкие, как лайковые перчатки. Сегодня в классе царила та общая рассеянность, которая беспокоила ее больше всего, больше, чем неприготовленные уроки или внезапное упрямство, больше, чем дух противоречия. Хотя, собственно говоря, дух противоречия был ее узкой специальностью.

Ее горестные мысли то и дело возвращались к благовоспитанному мальчику – Вилфреду Сагену. Вилфред никогда не проказничал, был хорошо одет, хорошо воспитан, но склонен все преувеличивать, и от этого даже сама его вежливость казалась дерзкой. Может, все это объяснялось тем, что Вилфред два года занимался с домашними учителями и слишком поздно попал под опеку фрекен Воллквартс.

Она смотрела на золотые локоны, ниспадавшие на белый воротник. Ей уже не раз приходила в голову мысль написать матери Вилфреда, разумно ли позволять мальчику так отличаться от других своим внешним обликом, и она даже советовалась об этом с сестрой. Но потом они сообща решили, что вопрос об ученической прическе не входит в компетенцию пользующегося безупречной репутацией учебного заведения сестер Воллквартс – школы для мальчиков с программой обучения в объеме пяти классов, как это значилось в школьном проспекте. Этот проспект заблаговременно, до начала учебного года, рассылался определенному кругу интеллигентных семей, которых он мог заинтересовать.

В классе было душно. Окно, затененное длинными соломенными жалюзи, было приоткрыто. Но в эту раннюю весеннюю пору самый воздух казался каким-то неживым – теплый, притихший и чуть мгlistый. «Теплый, притихший и чуть мгlistый», – мысленно повторяла фрекен Воллквартс. Точь-в-точь сегодняшняя духовная атмосфера в ее классе.

Пора было перейти к письменной работе, которая даже в старших классах школы фрекен Воллквартс неизменно включала чистописание.

Перья заскрипели по бумаге. Скрипящие перья каллиграфически выводили короткие поучительные сентенции, почерпнутые из прописей Олсена и Ванга. «Здание государства зиждется на законе», – написано было на одной строчке. А на другой: «От разговоров о халве рот сладким не станет (арабская пословица)».

Перья скрипели. Фрекен Воллквартс посмотрела на часы, большие серебряные часы, висевшие на тонкой шейной цепочке и прятавшиеся в кармане ее белой блузки.

– Все заполнили страницу?

Ученики подняли головы – кто настороженно, кто смущенно, кто с облегчением... В настроении всего класса чувствовалась какая-то скрытая оппозиция.

– Кто кончил, поднимите руку!

Маленькие руки в чернильных пятнах потянулись вверх. Только несколько учеников в замешательстве опустили головы и схватились за перья.

– Как, Вилфред, ты не кончил?

– Нет, фрекен Воллквартс, – вежливо ответил он. И она в то же мгновение поняла, что именно эта самоуверенная вежливость больше всего ее раздражает. Никто из учеников не называл ее по фамилии, а он своей подчеркнутой корректностью как бы ставил ее на место, как бы держал на расстоянии.

– Почему же ты не кончил? – спросила она с необычной запальчивостью. Теперь ученики смотрели на нее с испугом – они уловили непривычные нотки в ее голосе.

– Потому что я не начинал, фрекен Воллквартс, – ответил Вилфред ясным и звонким голосом. Кое-кто из мальчишек прыснул, другие, оцепенев от страха, усталились в тетрадки.

Во время своего обучения в педагогическом училище Сигне Воллквартс из курса педагогики усвоила правило: прежде чем дать волю гневу, надо сосчитать до пяти... Выполнив эту заповедь, она спросила с принужденным дружелюбием:

– Почему же ты не начал? – И, не получив ответа, добавила. – Покажи.

Вилфред послушно встал и невозмутимо подошел к учительнице. Он протянул ей тетрадь по чистописанию. На чистой странице сиротливо красовались каллиграфически списанные один раз прописи.

– Но чем же ты, скажи на милость, занимался все это время?

– Думал. – Он ответил без запинки, без тени смущения.

– Думал? Но о чем?

– Я не могу сказать, фрекен Воллквартс. Извините. Я очень сожалею.

Но он не опустил головы, как другие мальчики, когда они в чем-нибудь винулись, и не отвел глаз. И сама форма «сожалею» была непривычна для ее слуха.

– Ничего не понимаю, Вилфред. Ведь ты сидел и писал.

– Я делал вид, будто пишу.

Не притаилась ли в самой глубине этих ясных голубых глаз легкая ироническая улыбка? Не скрывались ли за этой изящно отшлифованной невинностью испорченность и упрямство? Ей

трудно было в это поверить. Вообще Вилфред был исполнительный мальчик, отличавшийся сообразительностью и редким умением точно выражать свою мысль. Ее сестра особенно ценила его способности к ботанике и зоологии. Правда, он очень не любил засушивать растения для гербария.

Фрекен Воллквартс овладела собой.

– Идите на перемену. Потом мы займемся священной историей.

Мальчишки шумной гурьбой высыпали из класса, и, как только, спустившись по каменной лестнице вниз, они очутились на посыпанном гравием школьном дворе, обсаженном вековыми липами и обнесенном зеленым штакетником, гул сменился смехом и криками.

...Фрекен Сигне любила эти звуки. Они свидетельствовали о том, что детям весело, они чувствуют себя свободно и в то же время не выходят из границ приличия. Сестры Воллквартс славилась своими либеральными педагогическими принципами, согласно которым ученикам разрешалось играть во дворе в вольные игры при условии, чтобы игры не переходили в драку. Учительница из-за жалюзи поглядела в окно и тайком стала наблюдать за Вилфредом: мальчик стоял под липой. Ее вдруг поразило его сходство с одним из рафаэлевских ангелов: правильный, мягко очерченный профиль, слишком длинные загнутые ресницы, очень темные по сравнению со светлыми локонами, горделивая и грациозная осанка. Во всем его облике было что-то неземное, и однако... Она не знает, в чем тут дело, эта порода ей незнакома. Ни следа угодливости, просто воспитанный, исполнительный мальчик, хотя его нельзя назвать по-настоящему послушным. И однако, под этой изысканной оболочкой скрывается почти что грубость...

Ей никак не удавалось отчетливо сформулировать свою мысль, больше того – ей не хотелось мириться с тем, что поведение Вилфреда Сагена выходит за рамки ее жизненного опыта и воображения.

А что, если написать письмо фру Саген? Однажды она ее видела на каком-то концерте. Та была с Вилфредом, со своей сестрой и зятем. На них обратила внимание подруга фрекен Сигне, и все из-за этого зятя, старого щеголя, насколько она могла разглядеть, в том французском стиле, который в Христиании считается светским, краснобая и болтуна. Она еще подумала тогда: как странно, есть какое-то сходство, вернее, не сходство, а какое-то духовное родство между этим пожилым господином и маленьким Вилфредом. И она вспоминает, теперь почти со стыдом, как она поспешила объяснить подруге, что знакома с этими людьми: юный ангелочек – ее ученик, причем один из лучших!

Притаившаяся у окна за жалюзи фрекен Сигне вдруг почувствовала себя одинокой. Одинокой в мире Воллквартсов и в том мире, в который она никогда не была вхожа, который даже презирала, но к которому тянулось все ее существо. Профессор Воллквартс был ученым-дарвинистом, человеком радикальных взглядов, он имел возможность подготовить своих дочерей для общения с самым избранным обществом. Возможность духовную, но не экономическую. Он оставил им бесценное наследство – прекрасное образование. И ничего другого. Сестры вступили на педагогическое поприще с покорностью, которая с годами превратилась в тихую радость...

Фрекен Сигне вышла на лестницу и стала звонить в медный колокольчик. Игры в ту же минуту прекратились. Она обратила внимание, что Вилфред не участвовал в них. Он по-прежнему стоял под большой липой, рассеянно и с иронией глядя на возню соучеников. Зато в отличие от остальных детей он не сразу отозвался на звонок. Он медленно обернулся лицом к лестнице, как человек, который чувствует, что за ним наблюдают, потом неторопливо поднялся вверх. Проходя мимо учительницы, он вежливо поклонился. В ее памяти вдруг отчетливо всплыла одна из заповедей педагогического училища: никогда не выделять одного

ученика из всех, придираясь к нему или проявляя чрезмерное внимание.

Урок шел своим чередом: кто-то не приготовил домашнего задания, кто-то вызвал смех неправильным толкованием текста, но такие досадные мелочи неотделимы от будней учительницы.

Сигне Воллквартс это понимала. Она относилась весьма снисходительно к тому, что ученики путаются, излагая историю дочери Иаира или жертвоприношения Авраама. Сама она отнюдь не была сторонницей популяризации этих сложных тем в том виде, в каком они подавались Бреттевилле Йенсенем и Свенем Свенсенем в их переложении Ветхого и Нового завета. Но поскольку эти вопросы входят в программу по священной истории... Учебное заведение сестер Воллквартс по праву гордится тем, что выпускает учеников, отлично подготовленных для продолжения образования в средней школе.

На сегодняшнем уроке шел опрос. Ученики отвечали один за другим. Дошла очередь до благовещения, до щекотливого момента с появлением архангела Гавриила. Фрекен Сигне невольно отыскала взглядом Вилфреда. Вот кто может тактично ответить на вопрос.

– Итак, он сказал Марии: «Я архангел Гавриил...

– ...посланец божий».

– Правильно. А дальше?

– А дальше они бросили его на растерзание львам.

Она в упор посмотрела на ученика, чтобы понять, нет ли в ответе злого умысла.

– Вилфред, это произошло с другим.

Вилфред не отвел глаз.

– А я думал, это было с архангелом Гавриилом.

– Это был Даниил. Пророк Даниил. Его бросили на растерзание львам.

– Фрекен, – возбужденно сказал один из мальчиков, подняв грязную руку. – А в нашей Библии с картинками написано, что они бросили его в пропасть ко львам.

– Не в пропасть, а в пропасть. – Фрекен Воллквартс нервно теребила серебряную цепочку от часов.

– Да, фрекен, но разве можно бросить кого-нибудь в пропасть?

На нее уставились любопытные, лукавые глаза. Она хотела было растолковать детям, что существительное «пропасть» и глагол «пропасть» – это вовсе не одно и то же.

– И под картинкой так написано.

– Под рисунком Доре, – пояснил Вилфред.

Фрекен Воллквартс сама не могла бы объяснить причину внезапно охватившего ее гнева.

– Вилфред, – сказала она, – это к делу не относится. На картинке, о которой вы говорите, изображен пророк Даниил, она нарисована французским художником Гюставом Доре – родился в тысяча восемьсот тридцать третьем, умер в тысяча восемьсот восемьдесят третьем году. Но она не имеет никакого отношения к архангелу Гавриилу.

Теперь она видела его лицо прямо перед собой. И ей казалось, что оно на ее глазах преобразается в другое лицо, в лицо с картины, виденной ею где-то, не то в мюнхенской Пинакотеке, не то в галерее Ватикана...

Вилфред сказал громко, без малейшего смущения:

– Я ошибся. Извините меня, пожалуйста, фрекен Воллквартс.

Продолжая опрашивать учеников, она думала: «Я должна написать письмо, пусть это неприятно, но я должна. Эти люди слишком высокомерны». Все ее незлобивое существо было охвачено чувством протеста, ей уже давно не приходилось испытывать ничего подобного. Она сама подумала с ужасом: «Неужели это из-за того, что они богаты?»

Дверь из соседнего класса отворилась. На пороге стояла фрекен Аннета Воллквартс. Она сделала несколько шагов к сестре.

– Извини, Сигне, – сказала она. – Мне нужен кто-нибудь из учеников твоего класса – твоего пятого класса, – чтобы рассказать моим пятиклассникам об отряде позвоночных млекопитающих. – Фрекен Аннета с предательской улыбкой покосилась на открытую дверь: она с умыслом говорила, не понижая голоса. – Можно мне одолжить на полчаса твоего Вилфреда?

Вилфред поднялся, скромно поглядывая на фрекен Сигне.

– Если фрекен Воллквартс позволит, – он сделал еле заметное движение рукой, – я с большим удовольствием.

Мирная школа напоминала сейчас готовую взорваться бомбу. Даже в расположенных за стеной младших классах, где занятия вела помощница сестер Воллквартс, на несколько мгновений умолкло мерное чтение, как будто там через стену был получен какой-то сигнал. Весь первый этаж мирного учебного заведения словно подменили. Фрекен Сигне уловила это и невольно подумала, что бывают дни, когда господь бог отворачивается от ее питомцев. Она рассеянно слушала учеников, повторявших по нескольку раз одни и те же ответы, она была занята своими мыслями, причем думала теперь с откровенным злорадством: «Я напишу письмо и не стану показывать его сестре». Мысленно она уже составляла письмо. Ее долг – сообщить матери о том, что носится в воздухе.

Но это был один из тех дней, когда все мысли передаются сквозь стены, когда особые струны улавливают их и воплощают в слова. Стоя у доски в соседнем пятом классе, Вилфред уверенно давал пояснения к висящей рядом с доской таблице, а сам думал: «Она напишет домой, я знаю. Она напишет сегодня же вечером и опустит письмо на углу Лёвеншолсгате и Фрогнервей».

Он думал об этом с тем внутренним спокойствием, в котором уже заложена решимость. Он привык к тому, что мысли передаются сквозь стену, это случалось и дома. Они с матерью умели угадывать. Надо только уловить подходящий момент. Ты чувствуешь, что этот момент настал, по собственной обостренной, настороженной восприимчивости; Вилфред привык замечать в себе это состояние. Настороженность рождала потом спокойствие. И вот теперь, отделенный стеной от фрекен Сигне, он чувствовал, ничуть этому не удивляясь: она напишет домой. И он испытывал блаженное торжество при мысли о том, что они не знают, что можно знать то, что знает он. Это ограждало его одиночество. Он знал: письмо она напишет сегодня вечером. Он самодовольно улыбался таблице отряда позвоночных и спокойно встречал ненавидящие взгляды мальчишек, униженных демонстрацией его заведомого превосходства.

То же самое чувство приятного спокойствия он испытывал вечером, сидя в комнате матери. Она перелистывала «Ди вохе», он читал в еженедельнике «Шиллингс магасин» о физиологии

ангелов. До этого он на мгновение заглянул в просторную голубую кухню и с испугом увидел, что горничная Лилли приводит в порядок его новое серое пальто. На плите грелись два утюга. Он быстро захлопнул кухонную дверь, предоставив челяди продолжать свои разговоры. Он только успел вежливо кивнуть мадам Фрисаксен, которая приехала в гости к служанкам и пила кофе на краешке кухонного стола вместе с кухаркой Олеанной.

– Не пойму, – говорила Лилли, – и где это он ухитрился так вывозиться, неужто на Бюгдэ? Видно, елозил на животе, листья собирал. Даже дыры протер.

Сидя на табуретке рядом с мадам Фрисаксен, Олеанна пересказывала печальные новости, вычитанные ею из газеты, которую она выписывала для себя лично, – «Христиания нюхедс ог авертисментс блад».

– Беда с этими оборванцами из Грюнерлокке, – говорила она мадам Фрисаксен. – Теперь они все валят на какого-то чужого парня. Будто пришел откуда-то со стороны. А примета всего одна – пакет с завтраком. Там какие-то доски лежали, он из кармана фонарь вынул, а пакет возьми и упади. А в нем бутерброды – один с лососиной, а другие два с сыром. В газетах так и написано.

Лилли подняла голову от пальто. Она промолчала. Но мысли лихорадочно завертелись в ее мозгу, и ей вдруг стало страшно.

Она промолчала и на другой день, когда раздался звонок почтальона и баловень дома, опередив ее, открыл дверь – как видно, он стоял в холле и увидел почтальона из окна.

– Тут только для мамы, – сказал он, быстро перебрав письма, потом бросил на нее просительный взгляд и совершенно другим тоном добавил: – Отчего это Лилли с утра не в духе, неужели сердится на своего Маленького Лорда?

Лилли вздернула подбородок и вышла.

Ей было досадно, что она упустила почтальона.

Она не видела, что Вилфред сунул в карман одно из писем и, напевая, понес остальные матери.

4

Маленький Лорд уверенной рукой вскрыл конверт. Он сидел на краю незастеленной кровати. Читая письмо без малейших угрызений совести, он пытался почувствовать то, что испытала бы на его месте при этом чтении мать. Не его мать, а любая мать вообще. Эксперимент вызывал у него приятное щекощущее чувство, словно он качается на зыбком облаке в пространстве, наполненном прозрачным светом, в лучах которого окружающие предметы начинают казаться опасными.

Фру Сусанне Саген

Я считаю своим долгом написать Вам несколько слов по поводу Вашего сына Вилфреда. Его поведение в последнее время внушает глубокую тревогу мне и моей сестре.

Вам, как и мне, конечно, известно, что способности Вашего сына выше всяких похвал. Он во многих отношениях гораздо более развит, чем его соученики. Впрочем, он и старше большинства из них на год или даже на два.

Но зачастую поведение Вашего сына настолько отличается от поведения его товарищей, что, несмотря на весь наш педагогический опыт, Вилфред просто ставит нас в тупик.

По-видимому, он не совсем понимает, как ученику следует вести себя в школе. Как раз сегодня возник очередной инцидент, когда он держал себя неподобающим для ученика образом. Пусть лучше Вилфред сам расскажет Вам, что произошло. Впрочем, сегодняшний инцидент отнюдь не случайность. Скорее, в нем проявилась скрытая оппозиция против школьной дисциплины, а может быть, и против школы как таковой. Извините меня, что я прибегаю к Вашей помощи, но я самым настоящим образом прошу Вас обратить внимание на эти недоразумения. Мы с сестрой будем искренне рады, если в результате Вашего разговора с сыном его поведение в школе изменится к лучшему.

Искренне уважающая Вас

Сигне Воллквартс

Маленький Лорд осторожно поднес к лицу листок простой линованной бумаги; на него повеяло запахом школы. Радостное предвкушение недозволенного затрепетало в нем, наполнило комнату, преображая ее. С портрета на стене отец с черной бородкой над высоким форменным воротничком смотрел равнодушно, безучастно, взглядом в одно и то же время добрым и строгим. Вилфред бесшумно подкрался к двери, запер ее, сложил в стопки разбросанные по столу книги, вынул ручку из пенала, при этом все время настороженно прислушиваясь к звукам в доме.

Фрекен Сигне Воллквартс

Я с большим огорчением прочитала Ваше письмо, касающееся моего сына Вилфреда.

Заверяю Вас, что не премину воспользоваться Вашим любезным советом и приложу все усилия, чтобы добиться изменения его поведения в школе.

Очень прошу Вас до поры до времени сохранить нашу переписку в тайне от моего сына и от кого бы то ни было другого.

С искренней признательностью

Ваша Сусанна Саген

Опустив письмо в почтовый ящик, Маленький Лорд с легким сердцем двинулся дальше по улице. Вечера становились заметно светлее. Это всегда наполняло его легкостью и радостью, точно в ногах начинала звучать музыка. Написав это письмо, сделав этот маленький прыжок – прыжок совсем маленький, но такой, что уж назад хода нет и никакие объяснения теперь ему не помогут, – Вилфред как бы поставил под удар им самим установленный порядок. Но именно этого он и хотел – он сделал то, что надо было сделать.

Улицы вкусно пахли свежей пылью, осевшей после дождя. Все вокруг, казалось, излучало радость, стремилось радовать именно его, потому что он намеренно вступил на опасную дорожку. А теперь Вилфред решил навестить своего друга Андреаса, тот жил на Фрогнервей, в одном из доходных домов почти у самого парка.

В доме Андреаса стояло пианино – унылая черная коробка. Однажды хозяева попросили Вилфреда сыграть – говорят, он прекрасно играет. Он опустил вниз вертящийся табурет, который наверняка использовался для каких-то других целей, и сыграл мазурку Шопена на расстроенном инструменте, который до того надрывал душу, что Вилфред вдвойне наслаждался этой немыслимой сценой. Отец, мать Андреаса и два его брата благоговейно слушали, а потом мать Андреаса, поднявшись, сказала: – Инструмент немного расстроен. У нас никто не играет... – А Вилфред ответил, что у пианино прекрасный звук, разве что при

случае можно подтянуть некоторые струны... И ее глаза потемнели от благодарности, потому что на нее повеяло дыханием того мира, где принято лгать из вежливости.

По дороге Вилфред забавлялся тем, что заглядывал в окна первых этажей. Он видел там мужчин без пиджаков, которые читали за обеденным столом при свете керосиновой лампы, отбрасывающей унылый свет на стол и на читающего человека. Кое-где он видел детей, на цыпочках крадущихся по комнате, или кончик листа пальмы-латании, прячущейся в углу. Он знал, что склонившийся над столом читающий человек – это

отец.

Это из-за него ходили на цыпочках дети. А строгие мужчины, вззирающие с фотографий на стенах в рамке света, отбрасываемой висячей лампой, – это отцы отцов. Они красовались на стенах, взывая к продолжению неукоснительной строгости.

Вилфред упивался безмятежной радостью при мысли о том, что у него нет отца. Он чувствовал нечто вроде благодарности к матери: ведь это она устроила так, что их только двое. Старая фотография отца на столике с трубками в курительной комнате говорила ему еще меньше, чем портрет маслом, висевший в детской. Короткая бородка над форменным воротничком еще в какой-то мере была признаком строгости, которую отец хотел на себя напустить. Но не было ли в этом портрете чего-то еще, чего-то прямо противоположного? Эта мысль не раз мелькала у Вилфреда, когда он задумывался об отце, но всякий раз он забывал посмотреть на портрет и проверить свое подозрение, даже избегал этого. Он предпочитал исподтишка подглядывать в окна на чужих отцов и на чужие портреты на строгих стенах. Наверное, ежедневное пребывание в доме этих мужчин влечет за собой какие-то роковые последствия.

Для Маленького Лорда воспоминание об отце сводилось к легкому облачку сигарного дыма в холле по утрам. Это был приятный ненавязчивый запах, который днем становился слабее. А потом вообще рассеялся, как рассеялось воспоминание об отце. Так отец и сохранится навсегда в его памяти как ароматное облачко, мимолетное и ни к чему не обязывающее. И сын будет думать о нем с благодарностью за то, что облачко рассеялось, а не нависает над ним угрозой возможного возвращения и катастрофы.

Этим весенним днем Вилфред брел по длинной печальной улице, испытывая ленивое блаженство. Он любил эти грустные улицы, они приводили его в хорошее настроение. В их тоскливой протяженности было что-то, что вызывало в нем радостный отклик, развлекало гораздо больше, чем общепринятые развлечения вроде цирка.

Теперь он знал, почему ему пришло в голову навестить Андреаса. Он сделает вид, будто хочет узнать, что задано на завтра по географии, но на самом деле он хочет украдкой поглядеть на отца Андреаса. Тот любил в послеобеденное время сидеть в столовой в качалке темного дерева. Столовая была их единственной общей комнатой – когда мальчики туда входили, отец делал веселое лицо, прищуривал один глаз и пощипывал жидкие усики, кончики которых то и дело отвисали книзу. Потом он спрашивал, как поживает Вилфред, здоровы ли его родные. И тут в доме Андреаса становилось вдруг нестерпимо грустно. Вот этим-то мгновенным ощущением и хотелось сегодня насладиться Маленькому Лорду, а потом ему предстоит обратный путь в свой счастливый, богатый дом. Затхлый запах непроветренной столовой еще долго будет преследовать его, напоминая обо всем неприятном, от чего он избавлен в жизни. Это приведет его в чудесное настроение, и он совершенно забудет о том, что ему могут грозить какие-то неприятности.

Сами запахи в подъезде на Фрогнервей были полны для него необъяснимой привлекательности. Здесь пахло не бедностью, как у дверей на Грюнерлокке, где он вел свою тайную жизнь. Здесь пахло

скукой. Он с наслаждением смаковал самое это слово. Входные двери с матовыми стеклами, на каждой с внутренней стороны серые занавески на медных прутьях, а снаружи продолговатые медные таблички со следами постоянной чистки вокруг фамилий, выгравированных наклонным шрифтом, очевидно для красоты, – все это излучало скуку, которая привлекала Вилфреда, потому что от нее в любую минуту можно было спастись бегством. И в этот раз, как много раз прежде, он не верил всерьез, что позвонит к Андреасу. Страх перед всем этим чуждым миром одолеет его прежде, чем он решится позвонить. И вот он уже перед дверью, уже позвонил... Он стоял перед входной дверью, впившись глазами в рисунок на серых занавесках с внутренней стороны. Раздались шаркающие шаги по длинному коридору, где в стены вбиты крюки, на которых в вечном полумраке безжизненно повисли пальто.

Он все еще мог пуститься наутек. Однажды он так и сделал: в смятении помчался вверх по лестнице, а тем временем в дверях появилась нечесаная старуха и с недоумением огляделась вокруг. Потом она в своих шлепанцах заковыляла по площадке и стала вглядываться вниз, в пролет лестницы, в точности как он рассчитывал. А он в полной безопасности стоял у перил этажом выше и наблюдал за ней, пока женщина, что-то бормоча, снова не исчезла за дверью.

Но когда он в тот раз оказался на улице, ему стало немного жаль старуху в войлочных туфлях.

И теперь Маленький Лорд стоял и слушал, как шаги приближаются по коридору. Та же самая старуха – кажется, ее зовут Мария – выглянула украдкой в щелку. На дверь была накинута цепочка. Вилфред снял шапку и низко поклонился.

– Здравствуйте, Мария. Извините, что я вас побеспокоил. Я только хотел узнать, дома ли Андреас?

И вдруг лицо, на которое он смотрел, сразу помолодело. Оно расплылось в открытой улыбке, такой детской, что морщины противоречили его выражению, точно на портрете Франса Хальса, который висел у них дома в курительной.

– Господи, да ведь это наш барчук пришел! – радостно сказала старуха и на мгновение притворила дверь, чтобы снять цепочку. («Уж такой вежливый этот Вилфред, фру, ну ни одному из приятелей Андреаса за ним не угнаться».) – Дома, дома, Андреас уроки делает, милости просим, заходите.

В комнате Андреаса у Маленького Лорда от любопытства захватило дух. Братья жили здесь втроем, все поделив поровну: книги, инструменты, картинки, вырезанные из журналов и книг. Один из братьев Андреаса набивал чучела птиц. Войдя в комнату, Вилфред сразу же почувствовал острый запах формалина.

– Противно воняет? – спросил Андреас. – Я уже не чувствую, привыкся.

– Хорошо! – ответил Вилфред, глубоко втянув носом воздух.

– Оскар у нас совсем ополоумел. Продает теперь чучела в музей... – Из-за круглых в стальной оправе очков Андреас посмотрел на Вилфреда со смесью гордости, смущения и энтузиазма. Из всех своих одноклассников Вилфред больше всех дружил с Андреасом. Это был преданный, немного слишком робкий оруженосец. Он весь искрился добротой.

Мальчики быстро справились с заданием по географии. Теперь они сидели друг против друга за ветхим столом. На несколько секунд воцарилось молчание, как бывает, когда один пытается понять, что у другого на уме.

Вилфреду стало стыдно. Но он не собирался отказываться от своего намерения.

– А что твоя мать... она еще в больнице?

– Вчера вернулась, но она лежит.

– Надо бы поздороваться с твоим отцом...

Мальчики помолчали, в смущении глядя друг на друга. Вилфред знал, что думает Андреас: «Почему он вечно хочет „поздороваться“ с моим отцом?»

– Поздороваться или, вернее, попрощаться...

– Он сейчас спит в столовой после обеда.

– А мы только заглянем, мы на цыпочках.

И опять неизменная церемония: двое мальчишек на цыпочках крадутся по маленькой буфетной, где стоит покрытый клеенкой стол и высокий светло-голубой буфет со стеклянными створками, из-за которых выглядывают несимметрично расставленные остатки сервиза, сохранившегося от старых времен... Потом тихо открывается дверь в столовую.

– Спит...

И снова – в который раз! – та же картина: в старой качалке в углу под пальмой сидит мужчина, вяло свесив левую руку над упавшей на пол газетой. Склоненная голова уперлась подбородком в грязноватую крахмальную рубашку, а усы, которым полагается быть лихо подкрученными кверху, свисают чуть ли не до подбородка, ушедшего в воротник. Над спящим до половины скрытая пожелтевшими на концах пальмовыми листьями фотография в рамке – наверное,

его отец.

– Пошли...

Шепот за спиной спящего. Надо идти, нельзя его будить. Но Вилфред не слушает, он

должен постоять еще несколько минут, впитать в себя эту картину. На стареньком трехномом столике, покрытом белой скатертью, белая чайная чашка со стершейся позолотой, на тарелке окурок сигареты, аккуратно потушенной, прежде чем куривший заснул; на столе не прибрано («Пусть, вечером все равно ужинать»), а над ним висячая медная лампа, в настоящую минуту она не горит, но неотделимое от нее уныние пропитало и гнутые канделябры, и таинственный изгиб медного резервуара.

Толчок в спину. Тихий шепот: – Пошли!

По телу Вилфреда пробежал сладкий и тревожный холодок – предвестник страха: вот как бывает в жизни, вот как может быть. Уступая настойчивым толчкам в спину, он прикрыл наконец дверь и сказал:

– Я просто хотел поздороваться с твоим отцом, но я вижу, он спит.

Он посмотрел в жалкое лицо друга. За очками читалась немая мольба: «Не думай, что в этом вся наша жизнь».

– Мне очень нравится у вас, – сказал Вилфред. – У вас как-то уютно.

Настороженный взгляд – и в ответ детский, открытый взгляд Маленького Лорда, подтверждающий его слова. И вот уже и очки, и взгляд Андреаса выражают одно – счастье.

– Правда, у нас очень здорово, – сказал Андреас.

Они вместе вышли на улицу. Уже почти совсем стемнело.

– Заходи как-нибудь ко мне, – сказал Вилфред. Теперь это был Вилфред. Глаза были уже не детскими и не добрыми.

– Ладно, – сияя, воскликнул Андреас – Послушай, Вилфред, – продолжал он, – чего я тебе скажу. Наши ребята тебя боятся, но это все ерунда...

Вилфред приподнял руку.

Длинная улица с одинокими островками фонарей уходила вниз, точно ущелье. Тротуар из утрамбованной земли казался черным и холодным.

– Мой дядя Рене говорит: «Если ты в самом деле хочешь сказать что-то важное, не торопись!»

– Плевал я на твоего дядю. Ты мне нравишься. Вот и все, что я хотел сказать.

Неужели это Вилфред? При свете фонаря Андреас увидел белую тонкую руку. Она поднималась над ним, рядом с ним, точно для какого-то тайного знака. И потом она ударила – совсем легко – по щеке Андреаса. Не то ласка, не то наказание.

Потом он увидел спину друга, удаляющегося по улице. Тяжелая злость против воли вспыхнула в Андреасе. И против воли он крикнул приятелю вдогонку: – Маленький Лорд! – не то насмешка, не то ласковое прозвище.

Приятель не обернулся. Вот он выплыл в свете ближайшего фонаря. Но не обернулся. Андреас подумал: «Если он сейчас обернется...» Но тот так и не обернулся. Слышал или нет?

– Маленький Лорд! – крикнул Андреас громче. Но приятель уже скрылся вдали.

Андреас послюнул пальцы и вытер щеку. Потом сплюнул. Стекла очков вдруг запотели, он сорвал очки. Потом, сжав кулаки, обернулся лицом к входной двери, у которой они только что стояли вдвоем. Стояли всего несколько минут назад. Он снова сжал кулаки и дважды ударил себя по щеке. Потом, снова надев очки, провел рукой по лицу и, тяжело ступая, стал подниматься по крутой лестнице вверх, на третий этаж.

А Вилфред быстрыми шагами шел вниз по Фрогнервей. Под каждым фонарем, отбрасывавшим на тротуар четырехугольник света, он соразмерял шаги так, чтобы не наступить на границу света и тени.

Он делал это машинально и в то же время сознательно. Он физически ощутил ту минуту, когда его друг перестал смотреть ему вслед. Он всем своим нутром чувствовал, что на этот раз не совершил никакого промаха, не пересолил, а просто довел все до той границы, до которой хотел. Он совершил чудовищные поступки, но именно те, какие стремился совершить.

Он вовсе не хотел обидеть Андреаса, никоим образом. Он хотел сделать его своим другом, не посвящая в этот сан, одарить его чем-то – подарком, милостыней, – но не пускаться с ним в откровенность. Он повидал его отца. Насладился запахом формалина в комнате братьев. Теперь он пошлет цветы матери Андреаса. Он хотел в полной мере вкусить радостную

возможность превратить сострадание в капитал. Он знал, что прислуга Мария, сошедшая со старинной картины, чтобы отпирнуть дверь и накрывать на стол, поддержит его во всех его добрых деяниях.

Но он знал, что, совершив все эти добрые дела, сразу пресытится собственным удовлетворением.

– Разрази меня гром, дядя Мартин! – сказал он громким голосом. – Разрази меня гром, дядя Мартин. Ты преклоняешься перед Наполеоном. Презираешь Талейрана...

Он не вкладывал в эти тирады никакого смысла. Просто произносил их, подпрыгивая на ходу. Так, вприпрыжку, в радужном настроении, он двигался под березками по улице Элисенбергвей. Он продолжал скакать и дальше, теперь уже молча, пока не увидел почтовый ящик. Маленький Лорд скорчил ему рожу.

Дома он позвонил условленным образом: один короткий звонок, один длинный. Он услышал шаги Лилли, потом матери – бег к двери наперегонки. Мать опоздала, Лилли опередила ее.

Он сразу отметил резкий переход в настроении матери: сначала радость, потому что он пришел, и тут же напускная строгость – почему пришел так поздно.

– Спасибо, Лилли. Прости, мама. Знаешь, я был у Андреаса. Его мать вернулась из больницы. Она так хотела меня видеть.

– Мальчик мой, мой добрый мальчик.

Быстрый взгляд Лилли, которая уходит к двери, ведущей в коридор.

– Ах да, Лилли, спасибо, тебе пришлось повозиться с моим пальто, я перелезал через забор на Бюгдэ.

Взгляд Лилли, подобревший и в то же время испуганный, встретился с его взглядом.

По дороге в гостиную, проходя через вторую дверь, он сказал:

– Знаешь, мама, это какое-то особое чувство, когда приходишь домой, после того как побывал у приятеля... Понимаешь, сама атмосфера, что ли... Это ведь так называется, правда?

Но когда он в одной рубашке стоял под портретом отца, по его спине вдруг пробежал холодок. Вся комната поплыла перед глазами. Он забрался на стул рядом с кроватью и снял картину с гвоздя. Потом положил ее на стул лицом вниз.

Ему не спалось. Не потому, что он чего-то боялся. Просто ему не спалось, оттого что все было так, как было.

Он зажег ночник и босиком пошел через комнату к столу. Выдвинув правый ящик, он достал оттуда семейный альбом с фотографиями. Он стал перелистывать плотные страницы, пока не дошел до фотографии, где был изображен усатый мужчина, сидящий с ребенком на руках. Под фотографией было написано: «Отец и Маленький Лорд».

Он взял со стола мягкий желтый карандаш и пририсовал мужчине короткую бородку. Потом покосился на портрет на стуле, повернутый вверх серо-коричневым холстом. Не поворачивая портрета, он видел его еще отчетливей.

«Отец и сын», – написал он в альбоме под фотографией почерком матери.

Неужели три недели, от четверга до четверга, могут тянуться так долго?

Маленький Лорд иногда целыми днями томился в болезненном напряжении, ожидая музыкального вечера у дяди Рене. Однажды там присутствовала Боргхилд Лангорд. Услышав, как Вилфред играет какую-то пьеску Глюка, она сказала:

– Просто поразительно, как этот мальчик все понимает.

Предполагалось, что мальчик этого слышать не должен. А может, наоборот?

На эти вечера часто приходили те, чьи портреты печатались в «Моргенбладет». Каждый третий четверг... Но неужели три недели, от четверга до четверга, могут тянуться так долго? Счет времени для Маленького Лорда всегда был загадкой. Он измерял время четвергами. И еще было важно отдалять то, что таило угрозу. Четверги помогали и тут.

Да, все, что таит угрозу, надо стараться держать в отдалении. Спаси меня, дорогой господь бог, дорогая мама, дорогой кто угодно и что угодно, только спаси меня!

Или наоборот: не спасай меня – пусть это случится! Пусть грянет гром. Пусть полиция явится в музыкальную гостиную дяди Рене, где стоит мебель с позолоченными ножками. Пусть полиция явится в гостиную – суровые мужчины с раздвоенными бородками, в мундирах и касках.

– Есть здесь некий Вилфред? Мы пришли арестовать его.

Он видел эту сцену. Видел во всех подробностях. Видел, как гости разевают рты, приподнимаются со стульев, чувствовал взгляд каждого из них, точно стальное лезвие в своем теле, и как он сам встает с маленького табурета у рояля и говорит:

– Вилфред – это я. Не позволите ли вы мне сначала доиграть Моцарта?

В музыкальной гостиной дяди Рене был высокий потолок и белые стены. В музыкальной гостиной вообще все было окрашено в белый и золотой цвет. Когда-то Маленький Лорд думал, что это рай, самый настоящий. Но даже и потом он всегда считал, что в обители господина бога должна быть похожая обстановка.

В салоне дяди Рене не было никаких пальм, никаких картин на стенах, только бюст Бетховена на белом комодe с инкрустированными пузатыми ящиками. У комода были гнутые золоченые ножки, как у всей остальной мебели. Ножки, казалось, выгнулись от избытка блаженства да так и застыли навсегда в самую сладкую минуту. Ро-ко-ко! В этом слове слышалось воркованье голубей, звук, полный неги, хорошего настроения, праздничного подъема, который охватывал каждого, кто вступал в этот зал.

У дяди Рене не подавали обильного угощения. Только чай с тостами в перерыве. До перерыва обычно слушали Баха, Брамса и прочих композиторов на «Б». Зато после наступали волнующие мгновения Дебюсси, Цезаря Франка или прозрачных, чуть однообразных сонат неизвестного автора, написанных, как знали все, самим дядей Рене. Но это была тайна, и горе тому, кто обмолвится об этом... На вечера приходили трое штатных музыкантов из оркестра Национального театра: альт, скрипка и виолончель. За рояль садился кто-нибудь из гостей. Дядя Рене – никогда. Он играл на скрипке или флейте. Маленький Лорд знал, что музыканты иногда посмеивались над дядей, хотя он играл очень

хорошо. Ему казалось, что дядя и сам это знает. Но у дяди Рене было великолепное свойство – ни на что не обращать внимания. Он был такой, какой он есть.

Однажды на вечер к дяде Рене был приглашен поэт, и Маленький Лорд весь день ходил, робея от ожидания. Он знал взрослых, которые писали музыку, но стихи – никогда. В этом было что-то неестественное. Но когда поэт в перерыве начал читать стихи, оказалось, что это похоже на музыку. У поэта были широкие скулы и пронзительные голубые глаза, которые долго глядели на каждого. И вот когда он читал в перерыве «Гобелен», а потом о девушке по имени Эльвира, которая собирается на бал, Маленький Лорд подумал, что слова – это иногда еще больше, чем музыка, потому что они и музыка, и слова.

А иногда, наоборот, музыка как бы говорила словами; однажды играли сонату Шопена b-moll, и, когда дошли до «Траурного марша», мир разверзся.

В ту пору мать часто читала вслух то, что газеты писали о корабле под названием «Фолгефоннен», который потерпел крушение. И вот, сидя в темном уголке, Маленький Лорд слушал, как музыка рассказывает о волнах, которые захлестнули накренившуюся палубу и со скорбным всплеском поглотили людей. И, сидя в этом уголке, он вдруг понял, что ничто в мире, ничто происходящее на самом деле не может быть таким значительным, как его воплощение в музыке, ставшей словом.

Слова становились музыкой, музыка словами, но они становились еще и чем-то большим – становились всем. Под сводом, который возводили над ним слова и музыка, вмещалось все, и он чувствовал, что под этим сводом он один и никто не может до него добраться. Пусть придет, кто хочет, – сестры Воллквартс, полиция, старухи из Грюнерлокке, – никто из них не проникнет под волшебный свод; пришельцы только будут кружить по заколдованному кругу, повинувшись закону, который правит всем и в конечном итоге приводит все к счастливому концу...

– А вот молодой человек, который хочет сыграть нам Моцарта!

Он должен был играть с «оркестром». И у него впервые сладко заныло сердце, оттого что другие начали, а ему предстоит вступить и с этой минуты как бы перенять главенство у трех взрослых музыкантов, играющих за деньги. Он много раз предвкушал эту сцену, каждый раз замирая от смертельного страха и торжества в предчувствии этой минуты и последующих, когда он как бы одиноко возвысится над всеми, а остальные будут молча внимать ему или, наоборот, его сопровождать.

Но все вышло по-другому. Он мог воображать невесть что, только пока играли другие, тогда он мог улавливать в звуках слова или картины и толковать их по своей прихоти. Но в эту минуту – нет.

Он забыл про капитанский мостик. Он стал частицей арифметической задачи, которую можно разрешить только сообщая. И когда он ударил по клавишам, не он стал ведущим, казалось, даже не он вообще играет. Тут были не другие и он и уж тем более не он и другие – тут были они.

Они вместе действовали, вместе отсчитывали такт, повинувшись законам, которые ни один из них не мог подчинить себе. И Вилфред вышивал узор своего Моцарта по канве, которую он не мог выбирать или обсуждать, его дело было играть, хорошо или плохо. При этом он даже не боялся, что где-нибудь сфальшивит. Он попал под действие незримого закона.

Пальцы повиновались этому закону, но ему повиновалось и что-то в душе Вилфреда, как будто он все время отчетливо сознавал, что совершалось здесь в эту минуту. Впервые в жизни он не порхал где-то под сводом над другими существами. Он был частью инструмента,

а тот был частью единства инструментов, и ожидание одного вызывало отзвук в другом согласно узору, которому не было конца.

И когда они кончили и маленький толстый альтист встал и зааплодировал, а тощий скрипач сгреб руки мальчика в свои и поднес, точно для обозрения, к самому свету канделябров, Вилфред не чувствовал ни усталости, ни радости, ни гордости, а только что его руки, голову, горло переполняет какой-то жаркий трепет, который рвется наружу. Он на ходу чмокнул мать в щеку, вышел из салона и побежал, точно его гнал страх, в уборную и заперся в ней. Потом, дрожа, упал на колени на пол и расплакался. Но когда он поднялся и высморкался, он все-таки не забыл потянуть за фарфоровую ручку и спустить воду, чтобы кто-нибудь услышал шум, тогда они решат, что он пошел в уборную просто по своей надобности. Чувство, пережитое им, он ни с кем не смел делить.

Но самое странное, что шум спускаемой воды, казалось, смыл куда-то Моцарта. А Вилфред остался стоять ожесточенный, холодный и чуть пристыженный.

Никогда прежде с ним не случалось ничего подобного. Никогда больше он не будет играть в присутствии других. Вилфред вдруг почувствовал, что где-то проходит граница между обыденным и подлинно прекрасным, что он ни разу не достиг этой границы и никогда не достигнет. Он не знал, где эта граница проходит, не знал, кто находится по эту, кто по другую ее сторону. Знал только, что сам он никогда не достигнет границы прекрасного. Но он не страдал от этого сознания. Оно принесло ему даже какое-то облегчение.

Вилфред на цыпочках прокрался в прихожую, взял пальто и шотландскую шапочку. Быстро перебросив пальто через руку, чтобы никто не успел выйти и остановить его, он тихонько отпер парадную дверь и, прижимаясь к самым перилам, спустился по лестнице с веранды причудливой старой виллы дяди Рене. Он слышал, что за желтыми занавесками снова раздаётся музыка. Теперь это был Дебюсси. Когда Вилфред вышел на дорогу, ведущую к городу, флейта дяди, приглушенно выговаривавшая свою жалобу, все еще доносилась до него.

На дороге, обсаженной деревьями, было темно и приятно. Вскоре показались огни городских фонарей. Все было тихо. Было хорошо. Он согрешил против чего-то или кого-то, может быть, против Моцарта. Больше он не повторит этот грех. Он не раскаивается. Но больше он его не повторит.

Но зато другие грехи... Все желания разом нахлынули на него, и, подстегиваемый ими, он побежал вприпрыжку, изнывая от восторга и томления. Мир был полон запретов и полузапретов и того, что было почти дозволено; мир, полный возможностей, лежал перед ним в ожидании. Мир греха, мир грехов. И он радовался ему... Впереди Вилфред увидел высокую красивую женщину, она шла одна. Ему захотелось бросить ее на дорогу, овладеть ею, он ускорил шаги, чтобы догнать ее. Но когда он оказался за ее спиной, решимость его исчезла. Он остановился, наклонился и стал завязывать шнурок, чтобы она снова ушла как можно дальше.

Но он понимал, что мог это сделать, мог, и сладкое болезненное чувство переполняло его при этой мысли.

С пылающими щеками и пересохшим горлом добрался он до городских улиц. Тут он немного успокоился. Но понемногу его снова охватил страх при воспоминании о том, что он натворил, – ведь его могут разоблачить. Он старался прогнать этот страх, вызывая в своем воображении картины всевозможных наслаждений и забываясь в них. Он чувствовал себя еще маленьким и слабым, но зато полным упорства и страстного желания. Он совершит все. Все, что захочет.

Только никогда, ни в чьем присутствии не станет играть Моцарта.

Фру Сусанна Саген отложила в сторону «Моргенбладет» и опасливо покосилась на часы, стоявшие под стеклянным колпаком на каминной полке. На круглом столе уже стоял наготове чайный поднос со старинным сервизом из фарфора и серебра. Поджидая брата, она против обыкновения закурила египетскую сигарету.

– Мартин, – спросила она его, когда он позвонил по телефону. – Что за таинственность? Разве мы не можем поболтать за обедом в воскресенье?

Но Мартин стоял на своем. Он хотел поговорить с сестрой, когда Вилфреда не будет дома. Стало быть, он хочет говорить о Маленьком Лорде «на правах крестного отца и опекуна». То, что он назвал его Вилфредом, не предвещало ничего доброго, словно брат задумал отпять у нее ее маленького сыночка.

Когда в дверь позвонили, она не двинулась с места. В эти последние секунды перед тем, как нарушат ее одиночество, она жадно впитывала в себя все то, чем была напоена атмосфера этих комнат, где она провела большую часть своей сознательной жизни. Эта обстановка олицетворяла ее жизнь, олицетворяла все, что входило для фру Сусанны в понятие жизни, и, почуяв смутную угрозу какой-то частице того, что ее окружало, она ощутила себя львицей, дремлющей в своем логове. А в то, что ее окружало, входил и Маленький Лорд, и равномерное тиканье часов на камине, и запахи дома, и даже его неизменная температура.

Мартин, улыбаясь, вошел в комнату; костюм из серого твида, высокий воротничок, в галстук крупная жемчужина. «Стало быть, сегодня он преуспевающий делец в английском вкусе», – невольно подумала фру Сусанна. Она была свидетельницей различных периодов в жизни своего энергичного брата. Но какую бы роль он ни играл, какой бы костюм ни носил, в нем всегда чувствовался человек преуспевший, оптимизм которого рядился в разнообразные формулы вроде: «здравый смысл», «практический взгляд на вещи», «понимание реальных возможностей»... Она все это знала наизусть, помнила с детства, которое отнюдь не было таким уж безоблачным, слышала в течение всей своей взрослой жизни, которую многие считали даже чересчур безоблачной.

– Чашку чаю?

– Спасибо. – Он взял со стула, на который собирался сесть, лежавшую на нем развернутую газету, бросил взгляд на ту колонку, которая, судя по всему, привлекла внимание фру Сусанны, и, все так же стоя, стал читать официальным тоном, который должен был выразить его безграничную иронию по отношению к сестре, столь далекой от жизни.

– «Король танцевал первую кадрили со статской советницей фру Линдвиг, визави – адмирал Дауэс и фру Инга Скьелдеруп, первый вальс с супругой землевладельца, госпожой П. Анкер Ред; второй вальс с супругой капитана Л'Оранж, вторую кадрили с мадам Террес Ривас, супругой мексиканского посла, визави – управляющий епархией Блер; третий вальс с фрекен Хагеруп, третью кадрили с супругой члена Верховного суда фру Шеел, визави – председатель муниципалитета Христиании адвокат Хейердал. Первый танец после ужина с супругой землевладельца госпожой Кай Меллер...»

– Сядь. Нехорошо быть таким нетерпимым, – сказала сестра. – Что тут смешного, если женщине хочется прочитать отчет о придворном бале. Ты-то знаешь, что было время, когда мы сами...

– А кто сказал, что я смеюсь? – добродушно возразил брат, складывая газету. – Но я готов побиться об заклад, что ты даже не взглянула на последние опубликованные данные о числе погибших на «Титанике».

– То, что ты называешь реальной жизнью, дорогой Мартин, – сказала фру Сусанна, наливая брату чай, – это попросту всякие прискорбные вещи, и ничего больше. Какая мне польза, если я узнаю точно, сколько жертв на этом ужасном корабле, – тысяча или полторы.

– Ты права, совершенно права. Но дело не в этом, а в том, что послужило причиной гибели корабля, то есть погоня за рекордами или за прибылью. Как это вышло, что были посланы заведомо фальшивые сообщения, будто корабль цел и пассажиры невредимы? А все для того, чтобы кое-кто успел обделать свои дела на лондонской и нью-йоркской бирже.

– Ты опять начитался «Сосиал-демократен», – беззаботно возразила она. – Меня даже удивляет, что ты при твоих взглядах так легко поддаешься агитации этих людей, стоит в мире чему-нибудь случиться. Но я думаю, ты не для того в самый разгар работы бросил контору и среди бела дня навестил свою одинокую сестру-вдову, чтобы поболтать с ней о придворном бале или гибели «Титаника»?

Он с некоторым смущением поглядел на гладкое и в каком-то смысле слишком юное лицо сестры, по привычке положил себе в чашку два куска сахару, пытаясь не потерять нить мыслей в этой обстановке, которая, с одной стороны, всегда выбивала у него почву из-под ног, а с другой – отвечала его тяге ко всему приятному.

– Представь, что я как раз хотел поговорить с тобой о чем-то сходном, – заметил он. – Как раз о неприятном мире действительности, который существует

вопреки приятным иллюзиям. Если говорить напрямик, дорогая, меня беспокоит Вилфред.

– Маленький Лорд? – переспросила она, как бы поправляя брата.

– Да, наш Вилфред, твой Маленький Лорд. Мы все души не чаем в мальчике – ты, его мать, я, его родной дядя, моя жена Валборг, муж тети Шарлотты – Рене... Мне не надо тебе говорить, как все мы привязаны к нему, каждый по-своему... то-то и оно, что каждый по-своему... Так вот, позволь сегодня мне, человеку более практическому...

– Мартин, – сказала она. – Меня раздражает твоя манера делать вид, будто тебя перебивают всякий раз, когда ты не хочешь высказаться до конца.

Он серьезно посмотрел на насмешливое лицо сестры. Казалось, между ними до сих пор сохранились те же отношения, что были когда-то в детстве, та же взаимная привязанность, та же отчужденность, словно их разделяет невидимая черта.

– Высказаться далеко не так просто, – сказал он устало и для подкрепления сил одним духом осушил чашку чаю. – Я и сам до конца не уверен в том, что собираюсь тебе сказать, но, если ты согласна меня выслушать... словом... Возьми, например, Рене с его изысканными интересами... В один прекрасный день забавы ради ему взбрело в голову прочитать мальчику целую лекцию о французских импрессионистах... В результате сегодня Вилфред как свои пять пальцев – кстати, очень красивых пальцев – знает всех художников, от Клода Моне до Гогена, включая Ван Гога, Сезанна и этого вашего Анри Матисса, который... – Он смущенно покосился на картину, висевшую над диваном. Странная современная живопись была предметом его мук. А теперь еще в университет допустили этого чудовищного Эдварда Мунка с его мазней. – Пожалуйста, не перебивай меня.

Она невозмутимо, с той же насмешливой улыбкой отставила чашку.

– Ты права, ты меня не перебивала. Это просто дурная привычка... – Он вынул из жилетного кармана шелковый носовой платок и отер им лоб. – Так вот что я хотел сказать. Вы забываете ему голову живописью, музыкой и даже сведениями о возрасте благородных бордоских вин. Как девчонку, заставляете носить локоны, называете его... Я понимаю, это отчасти трогательно и, как говорится, способствует общему развитию... Его тетка Кристина закармливает его конфетами, да и не только конфетами, а всей своей кондитерской особой, которая – извини, но все-таки... словом, не совсем нашего круга. Так вот, я хочу сказать, что в нашей действительности, которая требует от подрастающего поколения трезвого взгляда на вещи, и, поверь мне, все более трезвого, по мере того как общество, в котором мы с тобой ведем столь приятное существование, изменяется, и – еще раз повторяю, поверь мне, – не в нашу пользу... Так вот, в этой действительности вы создаете вокруг мальчика совершенно нереальную атмосферу изнеженности – извини, но, уж раз я начал, я должен высказаться до конца. А дело в том, что все мы его любим, все считаем, что он очаровательный, одаренный мальчик, но каждый из нас, а ведь все мы абсолютно разные люди, любит его, исходя из своих эгоистических, а вовсе не его личных интересов. Право же, так и подмывает спросить: а где же, собственно говоря, сам мальчик, где Вилфред под этой милой, ласковой оболочкой, под этим умением настраиваться на любой лад и прекрасными манерами? Где он, говорю я?

Что он собой представляет? И главное – к чему он будет пригоден?

Фру Сусанна Саген глядела прямо перед собой. Насмешливая улыбка погасла на ее лице. На мгновение ее охватило чувство собственной неполноценности, как бывало, когда она думала об учительнице своего сына фрекен Воллквартс. Но стоило ей вспомнить о фрекен Воллквартс, как она вспомнила что-то еще, и в глазах ее вспыхнуло молчаливое торжество, которое все сильнее овладевало ею по мере того, как брат продолжал говорить. Глаза ее сияли так, что вопреки своему обыкновению рассуждать пространно, переходя ко все более абстрактным материям, брат осекся.

– Знаешь что, – наконец сказала она, вставая. – Ты заслужил глоток того самого виски, которое твои англосаксы так любят ставить в счет компаньонам, с которыми они ведут дела.

Она спокойно вышла в столовую и вернулась с бутылкой, сифоном и стаканом. Мартин с облегчением посмотрел на принесенные ею предметы, охотно наполнил стакан и тут же отхлебнул половину. Он обратил внимание, что сестра держит в руке еще листок бумаги, обыкновенной почтовой бумаги. После того как он выпил виски, сестра протянула ему листок.

– Прочти, – негромко сказала она. Рука, державшая листок, слегка дрожала.

– «Фру Сусанна Саген... Я пишу Вам эти несколько строк только для того, чтобы уведомить Вас, что Ваш сын Вилфред прекрасно успевает...»

Он перечитал текст два раза, чтобы выиграть время. Потом допил свой стакан и прочел письмо еще раз.

– Я рад, – сказал он устало. – Вряд ли тебя надо убеждать, что я от души рад, если мальчик делает успехи в школе и учительница одобряет его поведение.

– Так, может, вовсе не так уж глупо, что его родная мать и еще кое-кто проявляют некоторую заботу и о его... ну, словом, эстетическом воспитании?

Она говорила мягко, не подчеркивая своего торжества. Теперь это было излишне.

Мартин встал, бросил взгляд на свои золотые часы с двойной крышкой – чувствовалось, что у него гора свалилась с плеч. Главное, он выполнил свою миссию. В какой-то мере он потерпел поражение. Ну что ж, тем лучше.

– Дорогая Сусси. – Он наклонился к сестре, коснувшись губами ее щеки. – Не могу тебе сказать, как я счастлив и какой камень упал у меня с души. Спасибо, что ты выслушала мои соображения, которые, признаюсь, в настоящую минуту кажутся мне менее убедительными. С другой стороны, ты сама понимаешь, как крестный отец мальчика и его опекун...

– И как человек практический, – прибавила она с прежней насмешливой улыбкой.

Он помолчал, вновь нахмурившись. Было во всей атмосфере, окружавшей сестру, что-то огорчавшее и раздражавшее его и в то же время вызывавшее его восхищение.

– Сусанна, – вновь заговорил он серьезным тоном. – Я ни разу не спрашивал тебя об одной вещи... Ведь чаще всего мы встречаемся на людях... и кроме того...

– Я не перебиваю тебя, – заметила она. Она смотрела на него веселым и уверенным взглядом. Письмо учительницы она спрятала обратно в конверт, надписанный аккуратным каллиграфическим почерком. Этот почерк на мгновение привлек взгляд Мартина.

– Если не хочешь, можешь не отвечать, – продолжал он. – Но что, по сути дела, мальчик знает о своем отце?

Она слегка отступила назад, повернулась и подошла к окну. С минуту она постояла так, глядя на Фрогнеркиль, где только что сошел лед и фьорд под лучами теплого апрельского солнца лоснился, как масло.

– Он знает то, что знают все, – спокойно сказала она, возвращаясь к брату. Теперь она говорила серьезно, но без всякой горечи. – Он знает, что его отец был один из благороднейших людей на свете и к тому же человек состоятельный, который всегда исполнял свой долг по отношению к родным и к обществу, и его близкие до сих пор не могут примириться с этой утратой.

Последние слова она произнесла со слезами на глазах, но повелительно и твердо.

– Он помнит его? – понизив голос, спросил Мартин.

– Не знаю. Ведь ему было всего три года...

Брат и сестра стояли теперь совсем рядом. Он слегка потрепал ее по щеке.

– Собственно говоря, я ничего особенного не имел в виду. Ну ладно, мы поговорили о том, что меня беспокоило. Ты выслушала меня, спасибо. И в то же время ты меня успокоила – отчасти...

Не договорив, он двинулся к выходу, у дверей еще раз взглянул на свои часы, повернулся и спросил:

– Маленький Лорд хоть немного интересуется Оскаром Матиссенем?

Она коротко рассмеялась.

– Боже мой, с чего это вдруг?

– Да как тебе сказать, я просто подумал... А почему бы нет... Ты обратила внимание – он опять выиграл в Давосе все забеги и улучшил свои собственные рекорды в Хамаре и Фрогнере на дистанции пятьсот и тысячу пятьсот метров.

– Ты удивительный человек, Мартин, – сказала она. – Представь, я не обратила внимания. Да и с какой стати мы с Маленьким Лордом будем интересоваться этим Матиссенем?

– Все им интересуются, – сказал он, снова повернувшись к выходу. Теперь он был слегка раздражен. – Все обыкновенные люди. Они рассказывают о нем, называют его Оскаром. Ну ладно, до свиданья, еще раз спасибо. Не надо звать горничную, я сам найду дорогу.

Выйдя на улицу, Мартин завел мотор своей новенькой машины марки «пежо», а потом опустил на сиденье за руль. Он быстро, но осторожно продвигался к центру, то и дело подавая сигналы автомобильным рожком. Пешеходы совершенно беззаботно бродили по мостовой, так что водить современную быстроходную машину по улицам Христиании было далеко не безопасно.

Мартин ехал в сторону улицы Карла Юхана. Его вдруг поразила мысль, насколько устойчив мирок, в котором по-прежнему живут его соотечественники. Они по-прежнему тешат себя приятными мыслями, стараются повыгодней обделать свои дела, и на их лицах нет и следа тех страстей и горестей, которые бросились Мартину в глаза у жителей Берлина, Лейпцига и Парижа, когда нынешней зимой он ездил по делам в эти города. А кто из них, например, принял близко к сердцу здравую статью Б. В. Неррегора в последнем номере «Моргенбладет», где тот утверждал, что, хотя англичане пока еще обладают преимуществом на море, немцы вскоре снова догонят их в производстве страшных военных машин – дредноутов и так называемых супердредноутов. По расчетам Неррегора, некоторое равновесие установится года через два, то есть к тому времени, когда будет полностью закончено строительство Кильского канала. Англичанам было бы выгодно, писал он, начать войну сейчас же и не ждать 1914 года, если уж политики считают войну неизбежной, а на это указывает многое...

Но ни одно из подобных соображений, казалось, не печалит жителей этого сытого города, где, впрочем, полно людей, которых никак нельзя назвать сытыми, особенно в восточных районах. Но что знает об этом, например, его сестра Сусанна? Подозревает ли она, что эти восточные районы вообще существуют? А Маленький Лорд? Да он, наверное, даже не догадывается, что в двух шагах от него есть мальчишки, которые живут совсем другой жизнью: они не едят на камчатной скатерти и им не вешают два раза в неделю на спинку стула аккуратно сложенное чистое белье...

Он попытался вспомнить о письме, которое ему показала сестра. Но теперь мысль о нем наталкивалась на смутное ощущение, что здесь что-то неладно.

На Стортингсгате ему пришлось сбавить скорость из-за множества пешеходов, а на Принсенсгате возле Атенеума машина вообще поползла черепашим шагом. Мартину надо было добраться до угла улицы Толлбудгате и Шиппергате, где помещалась его солидная экспортно-импортная фирма. Да, солидная, но надолго ли? Казалось, что тревога за племянника, который был для Мартина совершенной загадкой, стала отбрасывать свою тень на все вокруг.

На углу улицы Недре-Слоттсгате ехать стало просто невозможно. Толпа была такая густая, что пришлось остановить машину. Сидя на высоком сиденье, Мартин озирался по сторонам и, пользуясь заминкой, решил закурить сигару. Но автомобиль так сотряснулся под ним, что зажечь сигару оказалось совсем не просто.

Окруженное гикающей толпой, на него медленно надвигалось выкрашенное красной краской чудовище, его тащили четыре лошади. Мартин сразу догадался, что перед ним первый пожарный автомобиль, он читал о нем в газетах. Со своей наблюдательной вышки он с любопытством следил, как странный экипаж, который волокут четыре сильные лошади, медленно продвигается вперед под крики толпы, парализуя на своем пути уличное движение.

В этом зрелище было нечто такое, что совпадало с недавними мыслями Мартина: механизмы, которые все еще не используются на родине, толпа, которая приветствует

наступление нового времени, не задумываясь о том, чем оно чревато.

Крики затихли вдалеке. Мартин стряхнул пепел с сигары и снова взялся за руль.

Еще раз, путая четкий ход его мысли, в памяти всплыл адрес, надписанный на конверте, который ему показала сестра. Так вот оно что – загодка была в чернилах, в этих зеленовато-черных чернилах, которые были в ходу в городских конторах; они выглядели совсем иначе, чем блеклые синие чернила, которыми пользовались в школе. Мартину не хотелось думать о письме, но оно внушало ему тревогу. Тревогу внушал Вилфред.

Однако, когда он добрался до угла, где помещалась контора, мысли его потекли по другому руслу – это были мысли о товарах, о курсах, об еще одном, вполне реальном мире, и при этом, понял он вдруг, более реальном, чем вялый мирок его родного города. Приятный запах жареного кофе ударил Мартину в нос на улице Шиппергате. Вот

это была действительность.

Сусанна Саген стояла в эркере у окна и смотрела на залив Фрогнеркиль. Ее тоже осаждали тревожные мысли. Не о Маленьком Лорде – когда она убирала письмо обратно в секретер, она даже не удержалась от мгновенной торжествующей улыбки... Дело было в том чуждом, беспокойном духе, который всегда вносил с собой ее брат Мартин. Ох, этот Мартин с его поездками, деловыми связями, вообще со всем запахом окружающего мира!

Мысли двоякого рода сменяли друг друга в голове фру Сусанны. Во-первых, ей было не по себе оттого, что ей слишком назойливо напомнили о реальности этого мира, о жизни вообще... Разве изо дня в день, из года в год она не делала все возможное, чтобы заслониться от жизни? Конечно, она влачит бесполезное, а значит, никому не нужное существование. Но с другой стороны, нет у нее ни мужества, ни аппетита принимать участие в этой суете сует, пусть даже в ее удовольствиях. А ведь когда-то она даже путешествовала...

Но было еще и другое, беспокоившее ее в этом мире, с которым ей все труднее было примириться, и это другое тревожило даже безмятежные души ее брата и иже с ним – пресловутый мир начинал вести себя не по правилам. Ее взгляд упал на газету.

Нельзя сказать, что обитателей благословенного севера волновали отголоски итало-турецкой войны, погоня за обнаглевшими автобандитами в плодородной Франции или подвиги господ Амундсена и Скотта, которые внесли сумятицу в географические представления, включив в привычную картину мира еще и полюса. Нет, но в самой атмосфере появилось что-то новое, оно впервые докатилось сюда, в Норвегию, и как бы нарушало ту изоляцию, которая прежде была здешней основой основ и которую, впрочем, всегда можно было нарушить по собственной воле, то есть если ты хотел совершить путешествие за границу... А теперь здесь, в Норвегии, где живет так уютно, ты почему-то обязан давать какую-то оценку происходящим вдалеке событиям. Немцы, англичане и французы ссорятся между собой, и тебя тоже ставят перед необходимостью выбора: если тебе по душе одно, изволь бранить другое... Из приятного единства, которое доныне звалось «заграницей», вдруг откуда ни возьмись выделились разные страны со своими удивительными столицами и маленькими городками, богатыми историей, разные нации со своими особенностями, которые надо предпочесть или отвергнуть... Как это так?.. Неужели все это должно касаться тебя лично?.. Казалось, разговоры о предстоящей войне перестали быть темой светской беседы и переросли в разговоры такого рода, при которых мужчины за стаканами виски начинают повышать голос и даже забывают о том, что принадлежат к хорошему обществу... Да, подобные случаи уже бывали. И насколько помнит фру Сусанна, речь шла о такой далекой и неинтересной теме, как Кильский капал...

Без всякого перехода ее мысли скользнули к домашним заботам... В том же самом обществе

у дам зашел разговор о прислуге – должны ли служанки учиться, и вообще об их свободном времени, которое за последнее время вдруг стало предметом обсуждения. Фру Сусанне почему-то вздумалось отстаивать либеральную точку зрения. У нее ведь были две постоянные, надежные служанки – кухарка Олеанна и горничная Лилли, а когда бывали гости, еще приходила помогать девочка Осе, бесхитростное создание. Сусанне и тут повезло – как и во всем прочем. Кстати, кто ей это сказал?

Ну да, конечно, Кристина. Вот еще одно тревожное явление – милая Кристина, вдова ее младшего брата, болезненного и утонченного, который умер, не дожив до тридцати лет. Она женщина достойная, что бы там о ней ни говорили... Ну, словом, все, до чего тебе нет дела, ни с того ни с сего вдруг заявляет о себе и вторгается в твое спокойное существование. Фру Сусанне всегда везло. В отношении служанок. И вообще во всем. А теперь... Вся эта тревога... Да и служанки тоже.

Взять хотя бы Лилли. Она недавно откровенно надерзила хозяйке. Надо было привести в порядок одежду Маленького Лорда, кажется, чулки, и вот эта грубиянка заявила, что от «маменькиного любимчика» только одно беспокойство и наверняка он ничуть не лучше других мальчишек. Вздор, конечно, не надо обращать внимания. Глупая девчонка сама тотчас пожалела о своих словах.

И все-таки у фру Сусанны было сейчас неприятное чувство, что все тревоги так или иначе, как в фокусе, собираются вокруг Маленького Лорда, ее ненаглядного сына: и Кильский канал, и далекие страны, которые вдруг стали ближе, и проблема служанок, и вся эта болтовня о трудящихся классах, которые

наступают... Впрочем, понятно, почему это так: Маленький Лорд – ребенок, он будущее, это ему придется пережить то, о чем со страхом размышляют взрослые.

И все же, подумать только, неужели ее Маленькому Лорду придется иметь дело с какой-то там классовой борьбой и Кильским каналом!

Она тряхнула головой, отгоняя от себя назойливые вопросы. Кажется, звонят?

– Мама! – крикнул он из дверей. – Ты не слыхала, что я пришел?

Она не сразу узнала сына, хотя свет падал прямо на него.

– Ну да, мама, – сказал он, стремительно подходя к ней. – Я сам это сделал, то есть, конечно, не сам, а попросил парикмахера Рейнскоу на Тострупсгор...

До нее не сразу дошло случившееся. Маленький Лорд был наголо обрит – то есть, конечно, не наголо, но локоны исчезли, исчезли даже почти все завитки.

Он по-детски выпятил губы:

– Ну разве мне не идет, мама?

Она тотчас прижала его к груди, ощупывая ладонями стриженую голову. Ее пронзила мысль: когда он появился в дверях, он был похож на своего отца. Она так глубоко ушла в свои мысли, что ей на мгновение показалось, будто вошел ее покойный муж.

Он по-детски поднял к ней лицо, ожидая поцелуя.

– Очень идет, – сказала она и, нагнувшись, поцеловала его. – Очаровательно.

– Лилли говорит, что у меня голова как капустаный кочан, – объявил он с восторгом.

Она слегка отстранила его от себя, разглядывая в убывающем свете дня милую голову.

– Очаровательно, – сказала она. – Раз уж ты это сделал...

Он вдруг резко повернулся к чайному столику, где стояли пустые чашки.

– Здесь был дядя Мартин, – сказал он. – Пахнет его сигарами... Мама, ты огорчена?

– Нет, сынок, – ответила она. – Я не огорчена.

Она вдруг подумала о Кильском канале.

– Ты ведь помнишь, мы с тобой как-то говорили, что когда-нибудь мне придется расстаться с локонами.

Они и в самом деле говорили об этом, как и о многом другом. Ее поразила мысль, как часто они говорят о том о сем, ничего всерьез не имея в виду.

– Парикмахер спросил, хочу ли я взять с собой локоны.

– И ты взял? – В ней на секунду вспыхнула нелепая надежда.

– Да нет, мама, на что они нам? Поверь мне, лучше раз и навсегда избавиться от них.

Это верно, лучше навсегда избавиться. Ее брат Мартин это одобрит, это отвечает его точке зрения на «мужеский пол». Длинные локоны у взрослого мальчика – это не реальная жизнь, это мечты.

– По-моему, тебе эта стрижка очень к лицу, сынок, – сказала она, но в голосе ее не было убеждения.

– Я ведь уже не маленький, – разочарованно сказал он.

Она думала о своем. Она слышала, что он говорит, но слова его скользили мимо нее, как многое другое. Кильский канал. Ведь это тоже только слова, сеющие тревогу.

– Это будет твой первый бал без локонов, – вдруг сказала она.

– Бал? Ах да...

– Не собираешься же ты его отменить, хоть ты и считаешь себя взрослым?

Теперь в ее голосе явственно слышалась горечь. Он чувствовал, что его застигли врасплох, ему стало грустно, он не решался причинить ей еще и это огорчение.

– Конечно, нет, – сказал он. – Если, по-твоему, мы должны его устроить... мы можем объявить, что это будет последний бал.

– Как хочешь, – коротко сказала она и пошла в столовую. Дурацкие слова надвигались на нее, осаждали ее, требовали, чтобы их приняли в расчет. Она почувствовала прилив жалости к самой себе, горячие, утешительные слезы подступали, к глазам. Они прогонят дурацкие слова – Кильский канал, локоны, взрослый, последний бал.

Сын смотрел ей вслед, вздернув брови. Потом пожал плечами, подошел к окну и стал смотреть на залив. В этом прозрачном весеннем свете ему вдруг ясно представилось, что по ту сторону Бюгдэ лежит целый мир.

В ту весну среди знакомых и родственников фру Саген гвоздем сезона стал последний бал у Вилфреда Сагена. Прежде этот бал давался в честь окончания семестра в школе танцев, но сейчас его устраивали по случаю окончания сезона, в точности как у взрослых.

На самого Маленького Лорда эти балы налагали разнообразные обязанности и поэтому были лишены для него той беззаботной праздничности, которой отличались сборища взрослых. К тому же на детских балах неизменными гостями были две двоюродные сестры и три двоюродных брата, не говоря уже о близнецах дяди Мартина и тети Валборг – Микаэле и Фредерике. В пасхальные каникулы они приезжали из английской школы, где получали воспитание, которое, по понятиям дяди Мартина, должен получить светский человек. У Вилфреда каждый раз было такое чувство, что юноши отбывают на этих детских балах повинность, навязанную им «провинциальными родственниками». К тому же гости являли собой пеструю смесь переростков, одетых в матросские костюмы и некое подобие итонских мундиров, и ученики танцевальной школы терялись и тускнели в этой толпе хотя бы потому, что слишком хорошо знали друг друга и не могли пускать друг другу пыль в глаза отполированными ногтями и блестящими лакированными ботинками.

Маленький Лорд заполнил свою бальную карточку, как подобает образцовому хозяину дома, включив туда кузину Фриду, кузину Эдле и трех долговязых дочерей дипломата, живших наискосок от их дома. На балу для них было очень трудно найти кавалера – во время танца они, казалось, превращались в сплошные коленки и локти, да вдобавок они даже не пытались научиться норвежскому языку. Тут уж Маленькому Лорду приходилось притворяться, не щадя сил. Когда он находился среди сверстников, у него вообще был только один способ оградить свое одиночество – чувствовать себя чужим среди них. Но из двери, ведущей в гостиную, на него смотрела мать, а чуть подальше, возле буфета, стояла тетя Кристина и тоже смотрела на него своими ласкающими бархатистыми глазами. По какому-то давнему уговору она всегда помогала принимать гостей на детских балах. И когда под этими перекрестными взглядами Вилфред проходил в танце в столовую, где уже отодвинули стол, он чувствовал себя вознагражденным за притворство и усилия. Взгляды женщин говорили ему: «Мой послушный мальчик», «Мой рыцарь!»

Ему немного досаждало, что мать никак не хочет отказаться от своего обыкновения сервировать перед котильоном горячий ужин, хотя между остальными родителями существовало молчаливое соглашение подавать только бутерброды и пирожное с кремом, да еще в перерывах между танцами обносить гостей глинтвейном и малиновой водой. («Если детям подавать по полкуропатки, когда цена на них поднялась до восьмидесяти эре за штуку, уж очень накладно станет устраивать детские балы!») По комнатам каждый раз пробегал шепоток, когда гонг созывал всех к столу, причем за длинным, празднично убраным столом «дамы» чередовались с «кавалерами», в точности как у взрослых, и у каждого прибора стоял стакан с красным вином. Все влюбленности, которые Маленькому Лорду довелось пережить на этих балах, слились в его воспоминаниях с куропаткой в соусе, с желе, которое имело какой-то винный привкус, и с жирным ванильным кремом, который он разлюбил, с тех пор как подрос. Во всем этом была какая-то фальшь: и во влюбленностях, которые он измышлял из года в год, и в его наигранном взрослом тоне, который не имел ничего общего с привычным притворством, и в смешных бумажных шапочках и блестящих картонных орденах – во всем том, что приводило в восторг гостей и к чему его «английские» кузены относились с увлечением, которое он не мог принять за чистую монету. Сам он забавлялся этим как бы издали, но не без гордости за мать, что не забывал подчеркнуть каждый раз в своей коротенькой застольной речи. И все это повторялось из года в год почти без изменений.

Котильон окончился. Танцы, значившиеся на бальной карточке, были исчерпаны. За ужином

молодежь развеселилась, скованность исчезла, наступили последние, не стесненные правилами полчаса, когда каждый танцует, как хочет. Это был тот необузданный финал, когда может случиться все что угодно. («У фру Саген засиживаются до полуночи, не доведет это до добра».)

Маленький Лорд, увешанный орденами, проскользнул в самый дальний уголок курительной и оттуда устало прислушивался к шуму, доносившемуся из столовой. Он отдавался в ушах чем-то чужим и детским. Это был его первый бал без локонов. И последний детский бал. Какое-то завершение чувствовалось во всем, что его окружало, – дело было не только в локонах и в «сезоне», но и... он сам не знал в чем. Стоя в дальнем углу курительной, он думал об этом и не знал: в чем же? Его взгляд упал на терракотовую Леду с лебедем – нет, все равно он не понимает, в чем дело. Вот сейчас он ведет себя как предатель – убежал от гостей, ему с ними скучно, было скучно целый вечер, он все время притворялся. И вдруг ему показалось, что он понял настроение матери в тот день, когда она была так встревожена. Здесь побывал дядя Мартин. Его посещение вселило в нее тревогу. Дядя Мартин представлял окружающий мир. Это пугало мать. Дядя уже много лет настаивал на том, чтобы остричь локоны... Дядя Мартин был связан со всеми силами взрослого мира, но дядя не был другом. По убеждению дяди Мартина, дети должны пройти в Англии через некую машину, которая делает их пригодными для делового и светского обихода, но тогда прощай то драгоценное одиночество, к которому так стремится Вилфред.

Прислушиваясь к тому, как шумят расшалившиеся гости, Маленький Лорд выскользнул на террасу, выходящую к морю, и залюбовался гладью залива, черной и сверкающей под звездным небом. Где-то в дали фьорда шумела моторная лодочка, передвигавшаяся из тьмы во тьму. Три огонька – вот и все, что он различал со стороны Бюгдэ, да еще мягкие очертания гор в районе Королевского леса. «Скотный двор», – сказала как-то тетя Кристина о полуострове. Эти слова запали Вилфреду в душу. Оттого что их произнесла Кристина, в них чудилось что-то таинственное, чем веяло от всего ночного пейзажа, что-то притягательное и запретное, на что она, может быть, только намекнула: ведь по субботам Бюгдэ был местом отдыха для низших классов. А может быть, дело было в быстром косом взгляде матери – когда мать бросала такой взгляд, говорящий спотыкался на полуслове, а она считала, что сын ничего не замечает, – может, от этого взгляда недоговоренные слова и становились такими притягательными и в горле пересыхало...

Маленький Лорд перегнулся через перила террасы, чтобы укрепить засохшую ветку палиантовой розы, которую трепал ветер. И тут он увидел, что на каменных ступеньках лестницы, ведущей к морю, кто-то сидит. Позади него в комнатах танцевали отчаянный тустеп. Фру Симмерманн за роялем из кожи лезла вон, чтобы перед концом бала веселье достигло своего апогея. Отдаленные звонки в дверь давно возвестили, что кое-кто из прислуги уже пришел и теперь сонно подпирает стены в холле или украдкой подглядывает в дверь на танцующих – слуг посылали ночью, чтобы доставить домой румяных девочек с розовыми бантами и переростков в матросских костюмах, а те стеснялись, что ходят с провожатыми. Кто-то позвал Вилфреда из комнат.

Ощущая спиной разыгрывавшуюся в комнатах привычную церемонию, он перегнулся через перила, чтобы лучше видеть. Неслыханное происшествие усугубляло таинственность обстановки – на ступенях их лестницы у моря сидит кто-то посторонний. Наконец-то Вилфред снова один на один с тайной, ему чудится в ней прикосновение к чему-то греховному. И вдруг он понял сразу две вещи: на ступенях сидит тетя Кристина и она плачет.

Его первым побуждением было скрыться. Он всей душой ненавидел такое положение – а он часто в него попадал, – когда ты оказываешься посвященным в нечто большее, чем то, на что ты рассчитывал. Но в ту же секунду его затопила нежность, и он позабыл обо всем, даже и о том, что из-за закрытой двери его невнятно окликают чьи-то голоса.

Под его ногой скрипнула половица. Она тотчас встала и начала подниматься навстречу ему по низкой лестнице.

– Это ты, Кристина? – с притворным удивлением спросил он, но на сей раз голос плохо ему повиновался. – Я просто вышел подышать, – быстро добавил он. Они сошлись на верхней ступеньке. Узкая полоска света упала на лицо Кристины, осветив один глаз; слез в нем уже не было, но он был темный и заплаканный.

– Ты тоже, мой мальчик? – сказала она и сильно потрепала его по плечу. Его вдруг обдало жаром – это было совсем непохоже на то безразличное чувство, какое он обычно испытывал, когда одна из тетушек прикасалась к нему. У него перехватило дыхание.

– Тебе не холодно? – спросил он, глядя в темноту, туда, где должен был находиться ее подбородок. Он протянул руку, пытаясь в этой непривычной ситуации просто установить с ней какой-то контакт. Рука его уперлась в мягкую грудь. Всего секунду задержалась его рука на груди Кристины, прежде чем он отдернул ее, точно ему перебили запястье. Тело его отделилось от террасы, где они стояли, и вихрем закружилось в багровом пространстве. И прежде чем он сообразил, что делает, он обвинил Кристину за шею и притянул к себе ее голову. Прижавшись губами к ее губам, он снова, стремительно кувыркаясь, закружился в пространстве.

– Мальчик мой, что ты! – сказала она, высвобождаясь из его объятий. Вокруг нее стоял аромат ванили и какао, как бы защищавший их от всего остального мира. Последние отчаянные звуки тустепа пронзили ночной воздух вместе с топотом ног, в последней бешеной скачке несущихся по полу.

– Ты не сердись на меня, Кристина? – прошептал он ей. – Тебе холодно? – Он чувствовал, что она дрожит. И сам он дрожал тоже. Теперь из комнат доносились отчетливые крики. Несколько голосов звали: «Вилфред!», «Маленький Лорд!»

– Беги скорей! – шепнула она. Быстро провела рукой по его голове, потом сжала его руки в своих мягких горячих руках. – Я не сержусь. Ничуть. Наоборот...

Она с силой подтолкнула его в спину, и он тут же скользнул в комнату, прокравшись между золотистыми портьерами, так что никто не заметил, как он вошел, а когда его окликнули снова, он уже стоял посреди комнаты.

– Где ты был? Что ты делал? – сыпались вопросы, в них не было упрека, только любопытство. Собрав все свои силы, он ответил, что ему стало жарко и он вышел подышать. А сам подумал: «Я летал».

Большинство гостей были уже в прихожей, где их второпях одевали сонные, недовольные слуги. Пальто выглядели серыми и будничными рядом с нарядными матросками, светлыми платьями и красными лентами. И эта будничность, казалось, мало-помалу гасит огоньки праздничности и веселья, которые еще теплились только на румяных щеках и в огорченных глазах, но мере того как «спасибо» и «до свиданья» замирали на лестнице; две-три коляски, ожидавшие у дверей, укатили прочь, остальные гости уныло побрели восвояси под охраной служанок, а наиболее самостоятельные, за которыми не присылали прислугу, группами по четыре-пять человек тоже разошлись по тихим ночным улицам.

Мать и сын вернулись в комнаты. В столовой служанки расставляли по местам стулья и стол. Тетя Кристина тоже была здесь, он на мгновение увидел ее в приоткрытую дверь. Из распахнутых окон в столовую струился свежий воздух, раздувая шторы и рассеивая запахи детского праздника.

– Ну как, ты доволен, мой мальчик?

– Очень, мама, громадное спасибо за сегодняшний вечер.

Она испытующе поглядела на него.

– Ты надолго отлучался?..

– Здесь было так жарко. Все эти дети!

Это слово вырвалось у него невольно. Услышав его, он сам удивился. Мать не сводила с него глаз. Она подошла к дверям и сказала, обращаясь к тем, кто хлопотал в столовой:

– Я думаю, на сегодня хватит, остальное можно убрать завтра. Спасибо за помощь. – Потом она что-то вспомнила, быстро подошла к секретеру и взяла деньги. Поденщица низко присела, служанки также поблагодарили за чаевые. – А тебе, Кристина, сердечное спасибо, что ты и на этот раз помогла мне. Мне и Маленькому Лорду.

Стоя в гостиной, он точно в первый раз услышал сейчас имя «Кристина» – так красиво оно звучало, так певуче и таинственно. Тетя Кристина вошла в комнату. С минуту они стояли лицом к лицу. Он почувствовал непривычное смущение. Но оно тут же сменилось каким-то пьянящим головокружением, которое вновь налетело на него, наполнило сладостным чувством и оторвало от земли. Он сделал шаг вперед, но она едва приметно подняла руку. В то же мгновение мать подошла к ним ближе.

– А теперь, малыш, пора спать! – это прозвучало так неожиданно, как звучали иногда словечки дяди Мартина, когда он в шутку заводил с Вилфредом мужской разговор. В них было что-то ненатуральное. Маленький Лорд тут же надел личину благовоспитанного мальчика. Не глядя на Кристину, он протянул ей руку.

– Спасибо за сегодняшний вечер! – В дверях он обернулся. – Спасибо, мама! – На мгновение его взгляд задержался на обеих женщинах. Когда его глаза встретились с глазами Кристины, он почувствовал внутри какой-то толчок. – Спокойной ночи, – шепнул он, уходя.

Женщины остались вдвоем, отчужденно глядя друг на друга.

Сусанна сказала:

– У меня странное чувство от того, что это его последний детский бал! – И так как Кристина не отвечала, добавила: – А теперь мы можем выпить перед сном по стаканчику портвейна, мы это заслужили.

– Спасибо, Сусанна, сегодня что-то не хочется, – неожиданно ответила та. – К тому же я очень устала, пожалуй, я вернусь к себе.

– Но, дорогая... Тебе постелили в комнате для гостей. Ты ведь всегда... И потом одна, по улицам...

Кристина пожала плечами:

– Ты считаешь, что мы живем среди разбойников... Нет, серьезно, мне лучше пойти домой.

Фру Саген постояла с минуту на лестнице, ведущей на улицу. Она провожала взглядом женскую фигуру, упорно сохранявшую молодость. Кристина перешла дорогу, обернулась и помахала ей. Сусанна постояла еще немного. Улицы были пустынные, ни души, спустилась ночь. У фру Саген вдруг возникло такое чувство, словно дом за ее спиной потерял с ней связь, словно что-то ушло в прошлое. Она не привыкла обременять себя мыслями и поэтому не поняла, что происходит, даже не вполне отдавала себе отчет, что вообще что-то происходит.

Она не привыкла обременять себя мыслями. Но инстинкт ее был всегда настороже, и он подсказывал ей: что-то ушло в прошлое и будущее зыбко и неопределенно. И когда она снова прошлась по комнатам, ей показалось, что никакого бала здесь не было и дети, недавно танцевавшие здесь, – это призраки, точно все, из чего складывался ее мир, терялось в чем-то неосязаемом и зловещем.

Она подошла к камину, судорожно ударила кочергой по последней тлеющей головешке: так вернее избежать пожара. Потом выпрямилась, чтобы поставить на место кочергу, и тут взгляд ее упал на две фотографии: на одной был изображен ее муж, Кристиан Фредерик Саген, молодой человек в форме капитана военно-морского флота, на другой – Маленький Лорд с мягкими локонами, падающими на плечи. Она постояла, переводя взгляд с одной фотографии на другую. То на одного, то на другого смотрела она, и стоило ей чуть внимательней всмотреться в одного, как она тотчас спешила перевести взгляд на другого. В каком-то смысле отец и сын сливались для нее в одно, в каком-то смысле оба уходили от нее куда-то вдаль.

Потом вдруг, быстрым движением подобрав шлейф, фру Сусанна прошла через пустой холл и стала подниматься вверх по лестнице.

8

Мир действительности все теснее обступал Вилфреда. Многое теперь становилось ему понятней. Казалось, весна, озарив мир своим светом, высветлила предметы и явления, и он вдруг увидел все совершенно отчетливо. Иногда ему хотелось действовать миру наперекор, а иногда наоборот – уступать всем и всему подряд. Даже собственное тело он ощущал то как близкого друга, то как злейшего врага, оно было попеременно источником наслаждения и позора. И в этом сплетении резких переходов от радости к отчаянию он все острее чувствовал тревогу, разлитую в окружающем мире. Он замечал откровенную настороженность в лице дяди Мартина и даже то, что дядя Рене ведет себя как-то сдержанней, когда Вилфред по старому уговору приходит к нему и они вдвоем углубляются в замечательные книги по искусству и вместе подробно разбирают «Даму в голубом» или какой-нибудь натюрморт Брака, вызывающий у Вилфреда дрожь восторга, стоит ему мысленно расположить все беспокойные элементы картины согласно скрытому в ней музыкальному принципу.

Настороженность и сдержанность...

Даже мать перестала быть тем надежным другом, к которому можно прибегнуть во всех случаях жизни, и, к своему стыду, Вилфред чувствовал, что это его вина, потому что в нем исчезла прежняя доверчивость и все его мысли стремятся к тете Кристине, полной таинственных бездн – бездна между округлостью груди, бездна в глубине глаз, бездна тайного горя, о котором знает он один, да и, собственно, если разобраться, тоже ничего не знает.

Весь мир вокруг него был полон смутных предощущений, мир догадывался о том, что кроется в его душе, в его поступках. Мир – джунгли, где

разоблачение следит за тобой своим желтым глазом, подстерегает, окружает, шаг за шагом подступает к тебе все ближе и в один прекрасный день или в одну прекрасную ночь отрежет тебе все пути и опутает сетью вины.

Вилфред стал прекрасно учиться в школе. Это с ним случалось всегда перед наступлением

летних каникул. Каждый год, подстрекаемый честолюбием, он старался оказаться лучшим на экзаменах. Он хотел порадовать мать. Но в этом году он стал прилежным скорее из духа противоречия – чутье подсказывало ему, что теперь мать не так безоговорочно верит в него, как прежде. К тому же это был последний год его учения в школе сестер Воллквартс. С осени он пойдет в «настоящую» школу, к великому удовольствию дяди Мартина.

В этом кипении противоречий надо было хоть отчасти навести порядок. Маленький Лорд решил обставить должным образом свой уход из школы – «sortie», как выразился бы дядя Рене. Всегда следует позаботиться о том, чтобы «sortie» был в порядке. Особенно когда ни в чем остальном порядка нет.

Однако школьные успехи не приносили Вилфреду облегчения. Постоянные похвалы сестер Воллквартс стали тревожить его: как бы они не захотели снова написать матери, чтобы ее успокоить. От того, что он все время был начеку, он устал, под глазами у него легли тени. Каждое утро он напряженно ждал у дверей почтальона – вдруг он принесет письмо, которое разоблачит подмену первого письма. Но горничная Лилли тоже ждала у дверей, и каждое утро между ними разыгрывалась молчаливая и враждебная борьба – кто скорее добежит от своей двери до прихожей и первым встретит почтальона. Он чувствовал, что Лилли что-то знает или угадывает. Ему уже не везло, как прежде, во всех его тайных предприятиях; казалось, удача и беззаботность одновременно покинули его. Прежнее притворство, доставлявшее ему такое удовольствие, теперь как бы сменилось маской, и эта маска сводила все притворство на нет, потому что кричала во всеуслышание: «Я притворяюсь!» Нет, решительно все теперь оборачивалось против него. Однажды, когда он вернулся домой из школы, мать встретила его с письмом в руке. Листок был смят, как видно, она несколько раз перечитала письмо, что-то в нем ее смутило.

– Ничего не понимаю, мой мальчик. Я получила письмо от твоей учительницы, она пишет, что теперь она тобой довольна, что ты делаешь успехи по всем предметам и, возможно, все-таки будешь первым на экзамене.

Он попытался принять привычное беззаботное выражение.

– Ну и чудесно, мама! – с наигранной беспечностью крикнул он. – Неужели ты не гордишься своим сыном?

– Но я не понимаю, – повторила она. – Разве ты не все время был прилежен и послушен? Ведь не так давно она писала...

Он мог броситься ей на шею, прибегнув к испытанному средству – слезам и признаться во всем или почти во всем, что действовало особенно убедительно. Но искушение сдать позиции столкнулось в нем с противоположным стремлением – оставить загадку открытой, испугать ее этим средством замедленного действия. И он равнодушно произнес:

– Да, одно время у нас с нею что-то не клеилось. Наверное, она считает, что писала тебе об этом.

Мать застыла с письмом в руках. Он видел, как ее пальцы нервно комкают листок. Он знал ее руки, любил их, как любил все в ней, и руки рассказали ему, что она мечется между желанием поверить ему и невозможностью поверить. Он знал, что довольно одного его слова – и она с готовностью поверит во все хорошее, отмахнется от сомнений и тревог и забудет их, как это бывало часто, как это бывало всегда.

Но он не произнес этого слова. Что-то в нем отказывало ей в утешительных словах. Что-то в нем упорно твердило: «Тебе тоже пора стать взрослой, как твой брат Мартин, как – да, как тетя Кристина. У нее-то ведь есть горе».

Горе – ему тоже хочется иметь горе. Одно, но настоящее горе, а не эти мелкие горести, которые только вызывают в нем тревогу и страх каждый раз, когда он переступает порог какой-нибудь двери. Он хочет быть как тетя Кристина: иметь горе. Или разделить ее горе, утешить Кристину, нет, взвалить бремя на свои плечи и нести в одиночку! А у нее пусть не будет горя, пусть она просто обвеваает его своим ароматом и манит безднами и тайной своей груди.

– Я буду первым на экзамене, мама, не беспокойся об этом, – коротко бросил он и вышел из комнаты. За дверью он остановился. Через закрытую дверь он видел, как она стоит с загадочным письмом в руке. Он знал – будь в этом письме написано что-то дурное, она горой встала бы за него, поддержала бы его против всех. Но там было написано что-то хорошее, чего она не могла объяснить. Скоро она все поймет – поймет, что он переменялся к ней, что он живет своей собственной жизнью, полной наслаждения, жизнью, состоящей из тайных поступков. Так пусть это случится. Пусть его счастливое детство рухнет разом.

Он прошел через прихожую и по лестнице поднялся к себе. Между письменным столом и кроватью он остановился и растерянно огляделся по сторонам. Его райский уголок вдруг предстал перед ним в совершенно новом свете – здесь все было так непохоже на захлапленные комнатухи, где его товарищи ютились со своими родными, здесь все сверкало чистотой, все безраздельно принадлежало ему. Здесь все настолько

свое... Но теперь это была просто детская, из которой он уже вырос.

И все-таки он все время помнил о том, что он еще может спуститься вниз, подкрасться к матери, положить голову ей на грудь, прижаться к ней и сказать... Да нет, говорить нет нужды. Довольно того, что он будет рядом с ней.

Но он не хотел. Ноги хотели, а мысль упрямылась. Мысль была как ошетилившаяся шипами шишка, вроде той, что венчала старинную булаву, которой вооружали стражников, – одна такая булава стояла в холле у дяди Рене. Казалось, этот шар, со всех сторон утыканный шипами, так и рвется в ночь, крушить и ломать все на своем пути...

В дверь постучали. На пороге стояла фру Сусанна Саген. Он впервые мысленно назвал ее полным именем, как постороннюю даму. Он не заметил, что выражение ее лица изменилось. Письма у нее в руках не было.

– Я забыла тебе рассказать, пришло письмо от Сагенов из Копенгагена, – сказала она. – Они спрашивают, не собираемся ли мы – или ты – провести лето у них в Гиллелейе.

Он сразу попал в ловушку, если только это была ловушка.

– Но разве... разве мы с тобой не поедem в Сковлю?

Он увидел, что глаза ее в ту же секунду наполнились слезами. И только тут он осознал, что она пришла уже с иным выражением лица.

– Значит, ты хочешь, как всегда? – тихо переспросила она.

И вот он уже в ее объятиях. Так, как прежде. Впрочем, не совсем так, как прежде. Потому что теперь он сознавал, что поступает, как прежде.

– Конечно, хочу, – сказал он громко, но каким-то странным голосом без выражения, настолько странным, что даже сам подумал, не заметит ли она. Но она не заметила. Она прижала его к себе и сказала, чуть ребячась:

– Я не знала, захочется ли тебе в этом году. И потом с их стороны так мило, что они нас приглашают.

Он неловко высвободился из ее объятий, он чувствовал себя обманутым. Но сейчас этого нельзя было показывать. Как по команде, к нему вдруг вернулось милое детское притворство, он сказал:

– Это будет какое-то ненастоящее лето, если мы не проведем его в нашем Сковлю.

Он попал в точку. Его охватило торжество при мысли о том, что он убедил ее, что все в порядке, все осталось по-прежнему. Он был рад, что обрадовал ее.

– Помнишь, мы один-единственный раз жили летом в Гиллелее и как мы скучали по Сковлю. Ведь ты тоже скучала, правда, мама?

Да, он попал в точку. Он видел, что к ней вернулась рассудительность, что она как бы повзрослела за них обоих, раз он по-прежнему оставался ребенком.

– Тогда я сейчас же напишу ответ, скажу, что мы очень благодарны за приглашение, но что мы... ну, что-нибудь придумаю.

– Придумай, мама! – радостно крикнул он. – Ты ведь лучше знаешь, что написать.

Они стояли лицом к лицу – она всего на полголовы выше его, снова помолодевшая, беззаботная. На какое-то мгновение, самозабвенно погрузившись в то, что когда-то объединяло их, они как бы слились в одно существо.

– Значит, решено, – коротко сказала она и повернулась к двери.

Она вышла. Он понимал, что она хотела скрыть свое волнение. Он сел на край кровати, ощущая внутри себя растущую пустоту.

Всего одно лето провели они в Дании у дальних родственников отца, неизменно любезных и таких чужих людей... Дни и ночи напролет он тосковал по милому старому деревянному дому в Хюрумланне. Вот там было настоящее лето! Большой заросший сад с высоченными деревьями, которые отбрасывали такую густую тень, что, когда ты шел под ними по траве, казалось, ты пробираешься по морскому дну... Это и было настоящее, единственно возможное лето. И наверное, никогда в жизни Вилфред не сможет представить себе лето по-другому. А проемы в резных перилах террасы! Изображая сторожевого пса, он просовывал туда голову и лаял по-собачьи, но в один прекрасный день голова уже не прошла в отверстие! А золотистые тропинки, на которые ложились солнечные блики, а два крошечных холма – это были Синайская гора и мыс Доброй Надежды, а два маленьких ручья – Тигр и Евфрат! А на дне старого сгнившего колодца, куда братья бросили Иосифа, жил страшный зверь по имени Какаксак... А старая беседка среди лип, торжественно шелестящих кронами, – день и ночь все тот же ровный шепот, за которым ему чудились лица и имена. А на лужайке перед дверью в кухню большой каштан, под ним зеленый деревянный стол, на котором чистили рыбу и осенью перебирали ягоду. А запах зеленой листвы, когда, бывало, заберешься на дерево и собираешь вишни в корзину, висящую на ближайшей ветке... А яблоки, запах только что сорванных яблок, рассыпанных на некрашеном деревянном полу, вымытом и выскобленном до блеска в ожидании нового щедрого урожая... А берег, в который, после того как пройдут большие суда, ударяют грозные волны... Когда-то из-за этих волн Вилфред убежал далеко-далеко от берега, так он боялся волнения на море, а потом, наоборот, море захватило все его помыслы, стало манить к подвигам... Старая, выкрашенная в коричневый цвет купальня с прогнившими перилами, которую каждый год чинили без всякого толку... И тот первый раз, когда он прыгнул с мостков в воду и после этого геройского поступка вынырнул с локонами, прилипшими к затылку, и увидел глаза матери, сверкающие от гордости...

А тихие вечерние прогулки под темным пологом листвы, сладкий запах жасмина в разгар

лета, таинственные тени деревьев, которые к наступлению сумерек разрастались до невероятных размеров, обретали душу и что-то нашептывали всем вокруг. А завтраки на открытой верхней террасе, куда прилетали маленькие птички, отваживавшиеся клевать крошки прямо со скатерти. Ручной еж по имени Юнас...

Так было каждое лето. И все они как бы слились воедино. Это было в одно и то же время и воспоминание, и непреходящее состояние, блаженство реальное и в то же время чуточку выдуманное, ведь ничто на свете не бывает только тем, что оно есть на самом деле, даже флаг, который по традиции поднимали каждое воскресенье. Летом все было чем-то большим, чем на самом деле, все имело какое-то особое значение, было еще чем-то «как будто», и это «как будто» было всамделишнее и важнее, чем деревья, море, ползущие тени, это было богатство, лишенное форм и очертаний, все радости в одной радости, бездонной, не задающей вопросов.

Сидя на краю кровати, Вилфред чувствовал огромную пустоту. Точно все прошедшие летние каникулы скопились у него в душе и превратились в ничто, да, будто все счастье, пережитое им в воспоминаниях, вдруг взорвалось с глухим хлопком и обратилось в прах.

Он испугался, потом его охватил гнев: мать расставила ему ловушку, и он угодил в нее с руками и ногами. А почему бы в самом деле не поехать к чужаковатым датским родственникам, пусть они совсем чужие, тем лучше. Ведь это самый простой способ убежать от всего, что приступает к нему с угрозой. Он уже готов был вскочить и броситься к матери, чтобы уговорить ее изменить решение. Он знал, что, если он попросит, она согласится.

Но он не двинулся с места. Он вдруг почувствовал, что не в силах увидеть слабую улыбку, которой она постарается скрыть свое разочарование. И потом эти родственники отца – он не знал наверное, любит ли она их, а они ее. В том-то и беда с отцом – он о нем ничего не знал.

Да еще вдобавок в Сковлю, как каждое лето, наверняка приедет тетя Кристина. Мысль эта, пугающая и сладкая, пронзила его вдруг как молния. Сначала он об этом не подумал. Не принял в расчет. По отношению к ней у него вообще не было никакого расчета. Он знал это наверняка. И думал об этом не без гордости...

Но мало-помалу его уверенность стала таять – теперь он был все меньше и меньше уверен, что здесь не было расчета. Но и это подозрение пробудило в нем какое-то злорадное удовольствие.

И в тот же миг на него нахлынули воспоминания о тяжелых минутах, пережитых в Сковлю, о страхах, преследовавших его там в темноте. Больше того, он заново переживал эти минуты. Протекшего с той поры времени как не бывало – он явственно ощущал все, вплоть до запаха бревенчатых стен, обшитых панелями и обтянутых шелком, причудливую атмосферу бревенчатых хором, превращенных в комнаты в стиле рококо с французскими лилиями в рисунке обоев, с кушетками и стульями на гнутых ножках, все белое и блекло-золотое, и все сверкает, сверкает в полном противоречии с внешним обликом этого крестьянского дома, построенного в псевдонациональном стиле, украшенного резьбой и напоминающего огромные часы с кукушкой. Бревна и шелк! Снаружи – замок тролля, внутри – бонбоньерка. Впрочем, это противоречие всегда казалось естественным, дом просто не мог быть другим, в нем тоже было нечто непреходящее. Но однажды дядя Рене обронил замечание насчет стиля, и все засмеялись. И вот тут Маленький Лорд впервые

увидел дом, но полюбил его еще больше, точно заколдованного уродца, пристанище для безобразнейшего из владык земли...

А осенние ночи, когда сумерки плотно обступали дом, окутывая его непроницаемым мраком! В ту пору у них гостили двоюродные братья. Они спали вместе с Вилфредом в большой комнате окнами на восток – кровати стояли вдоль трех стен. Ему полагалось лечь

раньше всех – он был самый младший, – а они ревниво оберегали свои права. Он старался забиться в какой-нибудь уголок, чтобы его не нашли. Но в конце концов чей-нибудь голос говорил: «А ну, Маленький Лорд!» И неизбежное свершалось.

А потом он шел через пустой холл, где тускло светила одинокая лампа, еще увеличивавшая темноту. А потом лестница – он жался к самым перилам, чтобы она не скрипела; потом длинный холодный коридор наверху и, наконец, детская... Он стоял посреди комнаты, замирая от страха. Окна зияли провалами в темноту, а за ними шелестели свою вечную песню липы вокруг беседки. Одним прыжком он подскакивал к окну, спускал сначала одну, потом другую штору, выдворяя ночь на улицу. Но тусклые синие шторы тоже как бы источали крошечную тьму. И он снова стоял в полном смятении, не смея шевельнуться, не смея раздеться, зажечь лампу и вообще что-нибудь предпринять.

Коробок спичек на комоду! Утешительное крошечное пламя, которое в ту же минуту съеживалось, отказываясь светить для него... Большой белый абажур – он осторожно снимает его, чтобы не задеть стекло лампы, в темноте бережно отставляет его в сторону, снова зажигает спичку и быстро подносит к лампе, так что пламя вспыхивает со свистом. Потом счастливые, благословенные мгновения, когда пламя разгорается, и он надевает на лампу белый стеклянный колпак, и свет все шире расползается вокруг. А потом зловещее открытие, что свет все-таки ложится очень скупой и за пределами светлого круга лежат темные поля. И от этих пятен еще страшнее, чем когда совсем темно.

Вилфред стоял возле самой лампы, глядя на ее тусклый свет, и чувствовал, как кровь стучит в висках. Вот-вот придут двоюродные братья. Он услышит, как они поднимаются наверх, когда скрипнет третья снизу ступенька, – они не жмутся к перилам, а идут посреди лестницы. О, эти бесконечные минуты, бесконечное ожидание, полное невыразимого страха. Далекий шум моря отдавался в его голове так, точно она раскалывалась изнутри. Из углов к нему протягивались чьи-то руки, и даже запертая балконная дверь не могла защитить его от грозного

извне, которое ломилось в дом. К нему не долетало ни запаха, ни звука, в которых он мог бы найти опору. Безграничное одиночество все росло, вытесняло последние крохи мужества. Страх разрушал Вилфреда изнутри, его собственные очертания расплывались и таяли, и самое ужасное было в том, что он был не в силах пошевелиться, чтобы противостоять этому процессу полного уничтожения и доказать себе, что он существует.

И тут раздавался скрип ступенек: они! Его охватывало ликование. Спасен. Снова спасен, но на сей раз в самую последнюю секунду. И тотчас комната вновь обретала границы, а он сам – утраченные очертания, он снова жил.

Но тут его охватывал новый приступ страха: а вдруг его застигнут на месте преступления, уличат в том, что он трусит. Он действовал с быстротой молнии – сбросил ботинки, отшвырнул их ногой под кровать, а сам в одежде юркнул в постель, натянул перинку до самого подбородка, лежит не шевелясь, дышит тяжело и ровно, точно заснул глубоким сном, и только сердце громко колотится.

Но братьев не так легко обмануть.

– Маленький Лорд! – на всякий случай шепчут они. В ответ слышится ровное дыхание. – Мы знаем, ты не спишь.

Грозные шаги приближаются к постели. Братья рывком сдергивают перинку.

– А-а! Лежишь одетый! Маменькин сыпок боится темноты!

Унижен! Снова унижение – бог знает в который раз. Унижен в глазах старших братьев.

– Маменькин сынок боится волн! Маменькин сынок плещется в купальне вместе с мамой! Маменькин сынок боится ходить в темноте в уборную и устраивается под ивой!

Это была правда, чистая правда. Он лежал, осыпaeмый градом насмешек, и чувствовал себя так, точно палачи живьем сдирают с него кожу. Все это правда – он трус, он боится воды, боится темноты, боится всего на свете. А противные долговязые отпрыски дяди Мартина не упускают случая покуражиться над ним. Они знают, что он не может ответить, ведь ответить – значит выдать себя. Он и вправду однажды устроился под большой ивой, потому что не решился пройти дальше по обсаженной кустами тропинке до продолговатого строения, где помещалась уборная, там, рядом с двумя отверстиями, предназначенными для взрослых, находилось маленькое детское сиденье, к которому вела лишняя ступенька. В тот вечер по тропинке ползали ежи и скакали лягушки и летучие мыши так низко проносились над кустами сирени, что, казалось, вот-вот схватят его и умчат с собой. В конце концов он устроился под деревом, почти посередине тропинки. А на другой день кто-то попал ногой в оставленные им следы, и братья стали дразнить его «г...к», когда поблизости не было взрослых, да вдобавок рассказали эту историю Эрне и Алфхилд, девочкам, которые жили в белом домике за забором, и теперь девочки, одетые в светло-голубые платья, от которых всегда пахло утюгом и голубизной, при появлении Маленького Лорда зажимали носы и, выпятив губки, вполголоса бормотали: «Г...к».

Он и в самом деле купался с матерью в рассохшейся купальне, которая внутри пахла отсыревшим деревом. Он боязливо спускался по крутой деревянной лестнице к матери, которая стояла внизу по грудь в воде, и на ней был купальник в красную и белую полоску, на котором солнечные блики, проникавшие сквозь решетку купальни, образовывали рисунок в клеточку; она заманивала его на скользкое дно, чтобы исполнить унижительный танец трусов: «Прыгай, гусенок, утенок, танцуй, а ну-ка станцуем, а ну-ка подпрыгнем, а ну-ка на корточки сели – плюх!» И на этом «плюх» голова его оказывалась под водой, мир летел куда-то в пропасть, а он в смертельном страхе желал только одного – перестать существовать. А потом он снова живой и невредимый оказывался на поверхности и видел перед собой смеющееся лицо матери... Какое предательство было в этом смехе! Сначала заманила под воду, а потом смеется! И вдруг сверху громкий хохот: это братья прокрались в купальню, чтобы поглазеть, и теперь с самого верха, оттуда, где находится подъемный механизм купальни – грозная якорная цепь над железными рельсами с облезшей красной краской, – смотрят два смеющихся лица. И мать говорила двум зубоскалам с упрёком, слишком мягким:

– Вот погодите, настанет день, и Маленький Лорд будет плавать как рыба, куда лучше вас!

Нет. Никогда он не будет плавать. Пусть, как всегда, держат его на помочах возле мостков. А он сделает то, что сделал недавно: они слегка ослабили помочи, чтобы посмотреть, не держится ли Вилфред хоть немного на воде, а он взял и нарочно стал тонуть; нарочно опустил на самое дно и уцепился за трухлявое бревно – к нему когда-то привязывали лодки, а теперь оно сгнило и затонуло. Он ухватился за бревно, решившись умереть на этом месте, и, сколько они ни тянули за помочи, не шевельнулся. Он сильнее их. В его власти умереть. А потом пусть делают что хотят.

Он не помнил, чем кончилась та история, но кто-то нырнул в воду, разжал его руки и вытащил на берег. Он плакал от стыда и злобы, когда пришел в себя.

Нет, он не будет плавать. Он скажет им, что хочет научиться, наденет большой пробковый пояс, оттолкнется подальше от берега, проплывет немного на поясе, а потом сбросит его и пойдет ко дну. А осенью море выбросит его на берег у маяка, и они найдут его посиневший и раздувшийся труп. Пусть тогда мама играет в «гусенка» с трупом, пока он не развалится на части, как это было с трупом собаки, который они однажды нашли на берегу, – Вилфред никогда не забудет эту собаку...

Все правда. И то, что он как безумный бежал далеко-далеко в глубь берега от набегавших волн, этих страшных морских призраков, которые, разбиваясь о длинную отмель, превращались в пенистые чудовища и, разевая пасти, гнались за ним, чтобы проглотить его.

И еще многое другое было правдой, только они этого не знали, и он дрожал: а вдруг узнают? Он так боялся грозы, что в нем все сжималось от страха, когда гроза еще только собиралась и никто ее не чувствовал, разве что мать, – она тоже нервничала во время грозы. Да, он так боялся грозы, что боялся даже солнечной погоды в июле, потому что кто-то однажды сказал, что жара и солнце электризуют воздух, и поэтому в ясной погоде он видел источник грядущего страха и боялся солнца.

Да, все, из-за чего братья смеялись над ним, и еще многое другое было правдой. Унижениям Маленького Лорда не было конца. Чего стоил, например, тот случай, который произошел, когда ему было пять лет. Он тогда хвастался, что научился хорошо читать, и мать гордилась им и давала ему газету, чтобы он читал оттуда вслух, а он тайком прочитал восемнадцать увлекательнейших выпусков о приключениях Ника Картера, короля сыщиков, и добрался до девятнадцатого: «Морис Карратер, король преступников». Его попросили почитать вслух матери, двоюродным братьям и теткам, собравшимся после обеда на открытой террасе. Каждая страница выпуска была напечатана в два столбца, разделенных не чертой, а узким белым пространством. Маленький Лорд читал уже довольно долго, когда дядя Мартин встал со стаканом в руке, сказав: «Что за ерунду читает мальчик», – подошел, не выпуская из рук стакана, и заглянул ему через плечо. И тут он обнаружил, что мальчик читает строчки целиком, соединяя два столбца в один, и так он прочел все восемнадцать тетрадей – это одаренное дитя... И какой же тогда раздался смех – тут были ручьи, каскады, потоки смеха, которые, казалось, затопят все; и, спрятавшись за спинами взрослых, взвизгивали и завывали братья.

Тогда Маленький Лорд спокойно встал, хотя весь пылал от стыда, забрался на гору, взял в правую руку камень, левую положил ладонью на выступ горы, занес руку с камнем и изо всех сил ударил по кончику безымянного пальца, так что сломал верхнюю фалангу и потом пришлось снимать ноготь.

Он испытал наслаждение – наслаждение от того, что его унизили. В то лето единые прежде чувства раздвоились для Вилфреда: радость через мгновение окрашивалась печалью, а страх – блаженством.

Унижение может обернуться удовольствием – пожалуй, если поразмыслить, Вилфред понял это очень давно. Наверное, еще тогда, когда в разгар летнего дня, совершенно один взобравшись на высокую прибрежную скалу, он бросал вверх большие камни, чтобы поглядеть, не упадет ли один из них ему на голову. Он до тех пор бросал камни и зажмурившись напряженно ждал, пока один из них в самом деле не угодил ему в голову, и мир взорвался. Весь в крови, в полуобмороке лежал он на скале, волны боли, то мучительные, то сладкие, то синие, то красные, прокатывались по его телу, а в открытой ране на голове усиливалась глухая боль, и волосы слиплись от крови.

И когда он крал, было то же самое – и страшно, и сладко. В эти годы, полные мучительных страхов, он часто крал. Однажды в теплый июльский день, когда море лежало в легкой дымке, мать поехала в город за покупками и взяла его с собой. В два часа они стояли на Стурторв и видели, как на шпиле Магазина стекла опустился золоченый шарик – это означало, что пробило два. Потом они вошли в магазин, и он правой рукой держал за руку мать, которая разговаривала с продавщицей, а левой крал с прилавка маленькие солонки из разноцветного стекла со звездочкой на дне: желтые, зеленые и красные солонки. И ему было хорошо и приятно. И ему было хорошо, когда, взяв иглу, он проткнул ею переднюю шипу велосипеда, прислоненного к забору. Из шины со свистом вырвался воздух. Но когда из дома вышел Микаэль и увидел, что стало с велосипедом, на котором он как раз собирался куда-то

поехать, было просто стыдно и ничуть не приятно и признаться было нельзя, потому что никто бы ему не поверил и все стали бы приставать, зачем он это сделал.

А однажды он украл слоника из кости, стоявшего на полочке у дяди Рене, и тащился через весь город до Ватерланна, чтобы продать его старьевщику, но старьевщик пригрозил ему полицией, и тогда было просто страшно и нисколько не приятно. Всю осень он проносил слоника в кармане, каждую ночь перепрятывал его в новый тайник, пока не догадался написать записочку от имени «отца» и пойти к другому старьевщику, по соседству с первым. Там он продал слоника за восемь крон, и это было захватывающе и страшно, и на этом дело кончилось. И все-таки это было приятно. Хорошо было идти ко дну и думать, что никогда не всплывешь на поверхность, хорошо было гибнуть. Но всплыть на поверхность вопреки всему, вновь войти в соприкосновение с окружающим, с тем, что по-настоящему хорошо, с теми, кому хорошо от хорошего, – вот это было совсем неприятно. Очень неприятно.

Они это знали. Братья, а пожалуй и все на свете, умудрялись знать про него все.

Но тайн его они не знали. Их не знает никто. Надо только уметь хранить тайну. Они не знали про грозу и про то, что он бросает вверх камни, пока в тот день не нашли его в крови и он стал рассказывать о камне, который упал с неба, о метеорите, об огромной птице, и так как они ему не поверили – о чужом мальчишке, о великане с камнем в руке, о чудовище...

Его тайн они не знали. Не знали о девушке с апельсином.

Длинный пустынный коридор с тусклым газовым рожком в самом конце. В ту пору семья жила тут; в конце длинного коридора – уборная, потом прихожая, оттуда короткая лестница вниз, на улицу, где сыро и холодно. Вдоль одной из стен в коридоре полки, тесно уставленные банками, а в них заспиртованные гадюки: каждая изящно изогнулась в своей банке в полутьме.

Пока он шел в ту сторону, где было холодно, он почти не боялся: во-первых, газовый рожок светил впереди, во-вторых, ему надо было «в одно место», как это принято говорить... Зато на обратном пути, когда рожок оставался позади и длинная тень, вздрагивая, ложилась на банки с гадюками, а впереди было темно и идти в темноте надо было долго и он уже начинал сомневаться, есть ли в конце дверь и кончится ли все благополучно, даже если он доберется до двери, откроет ее и увидит холл, ярко освещенный висючей лампой и светом из всех выходящих в него и распахнутых дверей, – вот тут Маленький Лорд просто леденел. Пока тянулся коридор и рожок был позади и становилось все темнее, впереди был безысходный страх. То, что могло поглотить его, было впереди, а надежды никакой... Вдруг в конце коридора не окажется двери... Разве можно в темноте знать наверняка, есть ли там дверь, что, если она ему только пригрезилась...

И вдруг по левую сторону коридора появилась полоска света. Она появилась в простенке между полок с гадюками в неверном свете рожка. Он услышал приглушенный смех. Там жили служанки, Эмма и Мария. Он никогда не мог поверить до конца, что они там

живут. Днем это были просто «служанки» – девушки, которые чистили обувь, готовили еду, убирали. И вдруг оказывается – они тут живут, они выступили из темноты и стали реальностью. По главное – в них было спасение, потому что в дверной щели мерцал свет.

Он вихрем ворвался в комнату – там стояли две кровати. Он никогда прежде не бывал в комнате служанок. Кровати стояли у стен, справа и слева от двери, впереди было окно со шторой, на шторе рисунок – ваза, расписанная цветами. А перед окном комод, и на комоду две гипсовые лошадки, скрестившие шеи.

Та, которой принадлежала постель слева, уже легла. Это была Мария. Она буркнула что-то неприятное и отвернулась к стенке, она спала. Но Эмма еще не легла. Она собиралась

лечь. Она стояла в корсете и штанишках, обшитых кружевом. Откровение, полное очарования и неожиданности, обещающее защиту и – он почувствовал это в ту же минуту – таящее опасность.

Это была Эмма. Она улыбнулась, она все поняла.

– Ты испугался? – спросила она. И в ту же минуту расстегнула корсет, как это делала мать. – Ты испугался? – спросила она. И еще она сказала: – Не бойся! – А он прижался головой к ее груди и почти заставил ее опуститься на кровать. Она сказала: – Я отведу тебя в детскую и уложу, нянька, конечно, уже легла. – Теперь он понимал, что слово «нянька» она произнесла враждебно и с презрением.

А он прижимался к ней, к Эмме, зарылся в нее лицом, боясь, что она уйдет и уведет его отсюда. Ему было хорошо – в одно и то же время спокойно и страшно. И Эмма сказала: «Ну, милый...» – незнакомым ему голосом и снова: «Ну, милый...» И голосом, все более незнакомым: «Ну, милый, милый...» Голосом, который он никогда не слышал. А он все теснее прижимался к ней из страха перед темным коридором, перед газовым рожком и гадюками в банках, из страха, что опять будет то, что уже было и что не имеет ничего общего с тем сладким страхом, который ты чувствуешь, когда опускаешься на дно, когда ты уцепился за что-то глубокое-глубокое, далекое-далекое и бесконечное, откуда никто не возвращается.

А голос говорил: «Ну, милый!»

А он лежал среди водорослей и цеплялся, цеплялся за какой-то глубинный мрак, который нельзя выпустить из рук, в котором смерть и жизнь, страх и отрада и в котором хочется утонуть.

Была Эмма, был голос, была Эмма, был рожок в конце коридора и сам длинный коридор. В соседней кровати похрапывала Мария.

Была Эмма. Она предала его. Она сказала Марии, которая тем временем проснулась:

– Ей-богу, мальчишка рехнулся, ведь ему всего пять!

А однажды вечером она стояла с садовником под навесом у сарая и говорила: «Ну, милый...» – тем же самым голосом. Он это знал всегда и теперь. Времена смешались, слились в одно.

Но в тот вечер она была очень ласкова к нему. Она проводила его в детскую и уложила в постель в тот тяжелый миг, когда он вновь вынырнул на поверхность, когда он понял, что жизнь идет своим чередом, сладкое погружение в небытие кончилось, а страхи, что были прежде, не кончились.

А может, все окружающие знают все и просто прикидываются незнающими, чтобы вытащить на свет божий то, чего он стыдится. Но Эмма была ласкова с ним. Она уложила его, укрыла перинкой и сказала:

– Раз мамы нет дома...

И вдруг он почувствовал запах апельсина. Не выдумал, а именно почувствовал. Хотя от Эммы пахло не апельсинами. От нее пахло медом. Но дело было в другом. В том, как он увидел Эмму в первую минуту, когда вошел.

И вдруг, сидя на краю кровати, он поднял глаза и увидел перед собой на стене картину, скверную дешевую олеографию. «Девушка с апельсином»... Время и пространство слой за слоем вдруг стали расплываться, сливаясь воедино. Так вот в чем дело – картина эта висела над кроватью у Эммы и последовала за семьей Вилфреда на Драмменсвей.

Это была все та же картина, глупая картина, наполнявшая его сладким отвращением каждый раз, когда его взгляд случайно падал на нее, и которую он не имел решимости выбросить. Картина-дешевка, черноглазая девушка с апельсином в руке, потрескавшаяся олеография в комнате у Вилфреда – Вилфреда, который накоротке с танцовщицами Дега, который может смаковать синий цвет Боннара. «Девушка с апельсином», отвратительное создание в простой позолоченной рамке, это была Эмма, его стыд и блаженство, его страх перед длинным темным коридором.

Он сердито вскочил, подошел к картине, чтобы обеими руками сорвать со стены и, сломав раму о колени, растерзать в клочья и выкинуть за окно.

Но когда он уже стоял, весь дрожа, перед девушкой с апельсином, она на его глазах вдруг изменила выражение,

приобрела выражение: да ведь это Кристина, тетя Кристина, во всяком случае, могла быть Кристиной, она похожа на нее...

Чепуха. Это была дешевая копия одного из банальных «шедевров», этакий прямоугольный уродец, который кочевал из одной комнаты для прислуги в другую, чтобы прикрыть пятна на обоях.

И все-таки сходство с Кристиной было. Оно было в таинственно шепчущем взгляде. Разве у Кристины карие глаза? Ну конечно, карие. Ведь он это знал всегда. Руки, чуть вялые, держат апельсин, не сжимая его. Нежные руки Кристины тоже прикасались ко всему очень мягко. Лишенные энергии и лишенные добродетели, конфетные руки...

Он стоял перед картиной со смутным чувством протеста. Его худые мальчишеские руки бессильно повисли. Только что, минуту назад, он хотел разорвать ими дурацкую картину, теперь он снова поднял их и ласково провел по потрескавшейся поверхности. Но стоило ему коснуться пальцами апельсина, как его обожгло холодным пламенем страха и наслаждения. Девушка с картины, девушка из комнаты служанок смотрела на него с невозмутимым удивлением.

Опустившись на колени перед кроватью, он зарылся лицом в выпуклый рисунок вязаного покрывала. И когда избавительные слезы брызнули у него из глаз, ему показалось, что он несется на волнах через моря и страны, через земли, освещенные солнцем, которое темнеет от собственного жара и понемногу становится темно-красным. Но волны несли его все дальше по воде, сквозь чистую синеву и пятна света, просеивали его сквозь ветви фруктовых деревьев, несли к стране, залитой лунной зеленью, где свет был тенью, а тень светом, где было так отрадно постепенно превращаться в ничто и где был предел всему.

– Кристина! – рыдал он.

9

Он проснулся сидя на полу – там, где заснул. И сразу вспомнил, что произошло. Ему и прежде случалось вот так внезапно засыпать после сильных душевных потрясений.

Лунный свет ложился широкой полосой на стол и на пол с плюшевым ковриком у кровати, который от лунного света казался зеленым. Он вынул карманные часы, повернул циферблат к свету. Стрелки показывали час. Неужели кто-нибудь заходил сюда и видел его спящим в этой позе? При этой мысли он содрогнулся, она была ему отвратительна, как всякое

разоблачение.

Он подошел к двери. Слава богу, заперта: должно быть, когда мать вышла, он в раздражении запер дверь. Очевидно, он проспал обед, ужин и все на свете. Наверное, они подходили к двери, осторожно стучали, но его никогда не будили, если он вдруг неожиданно засыпал днем. Они знали за ним эти приступы «спячки».

Взяв в руки ботинки, он спустился по лестнице, прошел через прихожую в гостиную. Гостиная была залита лунным светом. Каминные часы под стеклянным колпаком показывали пять минут второго. Он посмотрел на свои собственные часы. Они по-прежнему показывали час. Очевидно, остановились в ту минуту, когда он проснулся. Мысль эта вдруг наполнила его тревогой. Весь дрожа, он стоял в холодном свете луны и думал: «Пока я спал, я был жив, а теперь?»

Ему вдруг не захотелось возвращаться наверх, в свою комнату. Он посмотрел в окно на темную гладь Фрогнеркиля, прорезанную острием лунного луча. А что, если взять велосипед и гонять на нем по ночному городу, пока не почувствуешь себя свободным как ветер! Вилфред действовал быстро, чтобы не передумать. Взял на каминной полке спички, по-прежнему держа ботинки в руке, пробежал через прихожую, сорвал с вешалки серое пальто, тихо открыл замок и, крадучись, выбрался на лестничную площадку, где стоял велосипед. Наружная дверь была заперта.

Верхняя дверь тоже захлопнулась за ним. Он попал в западню на лестнице из восьми ступенек, которые он не мог видеть, но ощущал явственней, чем тогда, когда вихрем взбегал по ней, перепрыгивая через две или три ступеньки, или, задумавшись, медленно спускался вниз.

Его мысль работала особенно остро, как у зверя в капкане. Кровь билась приятными толчками – его радовала необычность происходящего. Он выудил самый тоненький ключик из велосипедной сумки с инструментами и всунул его в старый замок на входной двери, напряженно размышляя о том, как выглядит замок внутри. При случае надо это выяснить. Кто знает, может, в один прекрасный день ему придет в голову взломать замок не для того, чтобы выбраться из дома, а чтобы забраться в дом.

Когда замок поддался, его охватило ликование. Он не надеялся на успех. У него мелькнула мысль, что удача всякий раз его удивляет. Он выкатил велосипед на улицу и тихо прикрыл за собою дверь.

Карбидный фонарик не зажигался. Ну и бог с ним. Было светло от луны. Он сунул спички в карман и вскочил на велосипед. Ему вдруг стало страшно весело. Он летел наперерез острым теням деревьев, стоявших вдоль аллеи, точно поднимался по лестнице без ступеней. Это было легче легкого. Веселье клокотало в нем, он выехал на Драмменсвей и запел во все горло. В какую сторону ехать? Пусть решает луна!

– Пусть решает луна! – пел он, довольный своей выдумкой. Энергия била в нем через край, он решил взять подъем и только на улице Лёвеншолсгате почувствовал, что мышцы устали и он запыхался, тогда он сбавил скорость и отдался свободному бегу велосипеда.

Хутор Лилле Фрогнер как бы парил в лунном свете. Вилфред решил поехать по узкой тропинке, которая шла вверх по холму через весь хутор между жилым домом и службами. Дорожка здесь была вязкая, жарко пахло коровами. Шины скользили, так что ему пришлось слезть с велосипеда и вести его. Между службами было совсем темно, лунный свет сюда не проникал. Он все медленней шел по скользкой тропинке. Он запыхался, но ему все доставляло какое-то безотчетное удовольствие.

Возле служб он остановился, переводя дыхание и втягивая носом запахи скотного двора. Это

была полоска крестьянской земли между виллами и желтыми дачками, сдающимися в аренду, а рядом тянулся выгон, где весной и осенью паслись овцы. Вилфреду захотелось увидеть эти дома, увидеть ложбинку, по которой он шел, увязая, в полной темноте, осмотреть все. Он чиркнул спичкой и, когда она вспыхнула, огляделся вокруг. Он чиркнул еще одной и жадно стал разглядывать непривычную обстановку: темно-красную стену сарая, которая поднималась вверх, к свету луны, и терялась где-то в темноте, а с другой стороны – темно-серый угол обветшалого жилого дома. Он зажигал спичку за спичкой, охваченный жадным желанием увидеть, которое вдруг превратилось в какую-то одержимость. Ему хотелось видеть все, насладиться ощущением того, что он видит, хотелось все залить ярким светом. Он стал зажигать сразу по две спички.

Но ему все было мало, ему хотелось видеть больше. Он зажег спичку и осмотрелся вокруг, нет ли поблизости какой-нибудь лучинки, которую можно зажечь, чтобы заглянуть в проем между домами, – мало ли что там происходит, интересно посмотреть.

На тропинке чуть повыше лежала куча веток. Он поворошил их дрожащей рукой. У него осталось всего три спички. Если он хочет разжечь костер, надо быть экономным. Он положил велосипед на землю, а сам опустился на колени. Первая спичка вспыхнула и тут же погасла.

Его охватил страх – а вдруг он не увидит? Вторую спичку он бережно заслонил рукой и поднес ее снизу к тоненьким веточкам. Они стали тлеть, но не загорались.

Он вытянулся плашмя возле кучи ветвей. Длинные прутья еле-еле тлели. А ему хотелось, чтобы здесь, среди домов, где терпко пахло скотом и навозом, вспыхнул свет, отблеск которого радостно запылывает в его сердце. Ему хотелось слышать треск огня и видеть. Да, видеть, как в языках пламени оживает все вокруг, в том числе и эти дома, в которых идет своя жизнь.

Наконец от третьей спички ветки занялись. Лежа на животе, он стал осторожно раздувать огонь, пламя вспыхнуло, стало больше, не то чтобы совсем большое, но больше. Ему стало безумно весело – наконец-то!

Вилфред перевел настороженный взгляд с костра на красную стену сарая, которая прежде возвышалась тенью в темноте, – теперь пламя отбрасывало на нее свой отблеск. И в этих легких вспышках пламени стена ожила, точно он вызвал ее к жизни из тьмы, чтобы она стала видимой. Так пусть же все станет зримым, оживет и засверкает вокруг него! Радость билась теперь в каждой клеточке его существа. Он совершал огромное беззаконие, и оно как бы тоже засверкало ярко и радостно над всеми его мелкими прегрешениями.

Тут он услышал шаги. Скрипнула дверь. Вилфред вскочил, грубо возвращенный к действительности, которая на время перестала для него существовать. Пытаясь затоптать костер, он при этом схватился за руль велосипеда. Теперь он услышал, как позади открывается дверь, почувствовал, как чуть повыше его плеча из двери протянулся луч света. Но Вилфред был уже в седле! Он мчался в темном враждебном пространстве. Колеса буксовали на скользкой тропинке. Но вот под ним оказалась твердая почва, и он стал взбираться на Бундеюрдсбакке. Теперь ему придется сбавить скорость, но через несколько минут он доберется до деревянных построек в районе Брискебю; там он сможет укрыться между наставленными как попало домишками, под деревьями, которые отбрасывают в лунном свете длинные тени.

Когда он добрался до этих низких домиков, все было тихо, никто его не преследовал. Он лег на землю, прислушался, потом, не теряя времени, снова сменил направление и повернул налево. Он вдруг утратил ясность мысли, а как отчетливо он все сознавал прежде! «Я делаю глупость», – подумал он. Но не мог сообразить, что же ему предпринять. Дорога Брискебювей тянулась по открытой местности. Ураниенборгская церковь была залита лунным светом.

«Мне надо была спрятаться среди тех домов», – думал он. Лунный свет заливал старую кузницу у подножья холма, где начиналась улица Индустригате. Можно было прочитать вывеску – «Кузница» было написано на ней. По правой стороне Индустригате снова потянулась беспорядочная череда деревянных домишек. Но Вилфред опять не стал прятаться за ними, он совершенно потерял присутствие духа, ему со всех сторон чудились голоса. Улица, по которой он взбирался вверх, была просто грязной канавой; он старался держаться обочины, где земля была тверже. Пешие его не догонят, ну а конные? А автомобиль? У полиции теперь есть автомобили, он читал об этом. Он читал о французских автобандитах, которые грабят банки, – за ними охотятся по всей стране с огнестрельным оружием... Вилфред тоже автобандит, и его будут преследовать на автомобилях. Он налег на руль и мчался сквозь ночь, точно злой дух, нечистая сила. В нем звенели страх и ликование, которые поднимали целую бурю в его крови.

Он остановился на незнакомой улице. Нигде ни души. Теперь он понял, что никто его не видел. Никто его не преследовал. Человек на хуторе Фрогнер, как видно, затушил костер и вернулся в дом.

Но что тот человек подумал? Кто мог развести костер? При этой мысли вся его радость улетучилась. И снова вернулся опустошающий страх перед последствиями. Перед последствиями, о которых он всегда забывал в минуты возбуждения. Теперь их накопилось много, их еще не обнаружили, но они сомкнулись в единую цепь –

последствия, все последствия сразу...

Он слез с велосипеда и подошел поближе к одному из домов, чтобы прочитать название улицы. Соргенфригате.

Название поразило его. Вот это название, вот это слово: «соргенфри» – свободный от забот. Беззаботный. Мечта, надежда...

А может, на свете есть много беззаботных людей? Людей, не знающих забот? Впрочем, он ведь хотел познать настоящее горе, но вместо этого растрачивал себя в мелких горестях, проистекавших от его же собственных проделок. Холодея от страха, он вдруг подумал: «А на что я, собственно, рассчитывал, зажигая костер?» Ему мерещился охваченный пламенем скот, мечущийся в дверях хлева, слышалось мычание коров, привязанных в стойлах. Неужели он этого добивался? Он стоял, стискивая холодный руль велосипеда. Луна висела совсем низко, на улицах стало почти темно, но уже подкрадывался рассвет.

Когда он снова вскочил на велосипед, сиденье под ним покачнулось, как видно, крепление ослабло, когда он бросил велосипед на землю возле костра. Он снова слез с велосипеда, нашел в сумке тяжелый гаечный ключ и стал подкручивать гайку. В ту же минуту из темноты вырос полицейский.

– Ты что же это, молодой человек, едешь без фонаря? – Полицейский был маленький крепыш с черной бородкой, выглядывавшей из-под черной каски с блестящим острием. – Да и вообще, что ты делаешь на улице в такой час?

Маленький Лорд похолодел, и в то же время мысль его заработала с прежней отчетливостью. «Теперь я Вилфред, – пронеслось у него в голове. – Опасность». Он вскочил на велосипед, нажал на педали. Но полицейский оказался проворнее, он ухватился сзади за багажник. Велосипед резко накренился. Одна нога Вилфреда уперлась в землю. Тогда он быстро повернулся и гаечным ключом, который был у него в руке, изо всех сил ударил по пальцам, которые вцепились в багажник.

Пальцы разжались; через мгновение полицейский снова попытался схватить велосипед, но на этот раз промахнулся. Подросток на велосипеде уже был на пять шагов впереди.

Полицейский пустился за ним вдогонку, но расстояние между ними все росло. Вилфред чувствовал такой прилив сил, когда море по колени. Он свернул в первую же улицу, по ней стрелой спустился вниз, туда, где шли трамвайные линии, и снова повернул, оставив полицейского далеко позади. Где-то вдали в ночи верещал одинокий свисток.

В нем снова вспыхнуло торжество. Он летит на горячем скакуне, а за ним несется погоня: топот подков, множества подков! Но им его не догнать. Он не оборачивался. Улица, по которой он теперь мчался, была коварная – вся в колдобинах. Он вглядывался в темноту впереди, все время опасаясь какого-нибудь подвоха: еще, чего доброго, свалишься на землю. Но им его не догнать. Жребий брошен. Странное спокойствие охватывало его, пока он летел, да, именно летел, точно Блерио через канал, с шапочкой, сдвинутой на затылок!

Вилфред притормозил и огляделся вокруг. Улица была безлюдна. Он спрятал велосипед под кустами в каком-то парке, навесил на цепь замочек и сунул ключ в карман. Потом стал подниматься вверх по крутому склону, где не было видно тропинки, точно он шел по низкорослому лесу. Неужели он оказался за чертой города? Позади ни свистка, ни голосов. Только низкая луна, которая поднималась и становилась видимой по мере того, как он сам поднимался вверх.

На вершине – это оказался Блосен – Вилфред опустился на землю и стал смотреть на фьорд, залитый лунным светом, – совершенно новый мир. Совершенно незнакомое зрелище – шпиль Фагерборгской церкви вблизи, а вдали, посреди города, величавый зеленый купол церкви св. Троицы, в нем отражается свет луны. Такой странный и незнакомый мир, что все двинулось вспять, назад, к той минуте, когда Вилфред днем уснул в тоске. Кристина – он не вспоминал о ней все это время. Девушка с апельсином...

Смертельно, усталый, взмокший от пота, он склонился к самой земле. Но приступ усталости так же внезапно прошел. Все, что разыгралось на хуторе и на улице, не то стерлось из памяти, не то затянулось какой-то пеленой. Зато восстановилась связь с тем, что произошло дома, в его комнате. Прошрое – оно нахлынуло на него там, точно он впал в забытие. Теперь оно всплыло снова, все то, что надвинулось на него тогда, от чего он пытался отгородиться сном.

Между прошлым и нынешней минутой было какое-то сходство. И теперь он понял, в чем оно. Ему снова, как тогда, предстоит принять решение. Он выпрямился, вдыхая ночной воздух...

Он вспомнил осень, которая пришла вслед за тем летом, полным унижений. Тогда-то он и стал пай-мальчиком, – мальчиком, который делал то, чего от него ждали, потому что в глубине души он уже начал смутно угадывать, что где-то на самом дне унижения таится своего рода торжество, а страх и боль исподволь превращаются в храбрость и во что-то приятное.

Да, так все и началось. А потом первый день в школе, куда его привела мать, и фрекен Воллквартс задавала ему вопросы. Да, он поступает в школу несколько позже обычного, зато он свободно читает и пишет и немножко знает французский. У него была гувернантка. Он способный и скромный мальчик, который вежливо кланяется и при этом не страдает чрезмерной застенчивостью. Теперь Вилфред все это сознавал совершенно отчетливо, и ему даже начинало казаться, что он с первой же минуты действовал по обдуманному плану.

А потом он впервые был в гостях и вел себя так галантно, что дядя изумленно подняли брови, а тетки пришли в экстаз. Он вспоминал всю свою программу, в которой, казалось, не было места случайностям. И домашние будни – теперь он перестал бояться двоюродных братьев. Тогда ему было семь, и они могли запугать его чем угодно, а теперь ему было восемь! Теперь он мог позволить себе держаться самоуверенно, впрочем соблюдая меру. Было такое магическое слово, «спасибо», и еще другие слова: «большое спасибо» и «огромное спасибо»,

они действовали безошибочно. Он научился говорить: «У тебя новое платье? Какое красивое!»

Труднее было научиться прыгать с лыжного трамплина. Труднее было научиться плавать.

Жуткая бездна внизу под ногами, которая готова поглотить тебя, как только ты оторвешься от утлой площадки трамплина.

Трамплин у них дома в саду возле железнодорожной насыпи... Крошечный трамплин, который соседский мальчик Дик построил под его руководством и с которого они летели, как им казалось, с головокружительной быстротой... Дик был родом из Голландии, он никогда не видел настоящих трамплинов, а сам Вилфред... Мать сидела в эркере у окна, занимаясь рукоделием, и одобрительно глядела на него. Но сам трамплин ей не был виден; вот Вилфред прыгнул, упал, быстро стряхнул с себя снег внизу, где она его не могла видеть, готом быстро взобрался на холм пониже трамплина и потом быстро-быстро съехал вниз к самой ограде, чтобы она не догадалась – а может, она догадывалась? – что он падал.

Еще прыжок, еще один. Он падал, стряхивал с себя снег, требовал, чтобы Дик отмерял длину прыжка, взбирался чуть выше, хитрил, оттягивал очередной прыжок, а когда замечал, что мать смотрит на него, принимал непринужденную позу. Мать кивала ему, он ей. Снова вверх, снова прыжок. Выше, еще выше. Прыжок. Падение. Падение. Опять падение. А голландец Дик хохочет, он никогда не видел настоящих трамплинов и падает еще до того, как прыгнуть.

И как потом двоюродные братья брали его с собой в Хюсебю на трамплин Сташунсбакке и другие трамплины, где мать уже не могла ободрить его взглядом. Варежки, шапка-ушанка, а к пуговичке привязан пакет с завтраком. И зловещий трамплин, бездна страха. Последняя бездна – путь в небытие.

Братья внизу, они уже прыгнули. Они смеются, потешаются: – Ну, а ты чего ж? Трусишь?

И вот он взбирается, неотвратимо движется к трамплину, к пропасти, к краю пропасти... И потом – великое ничто. Прыжок, смерть. Четыре метра. И-и-их!

Чувство счастья, когда он понял, что жив и скользит на спине, раскорячив ноги с лыжами. Потом быстрый, полный горечи подъем к вершине, мимо трамплина, выше, еще выше. И опять. Страх. Снизу крик: – Готово! Прыгай!

Прыжок. Падение. Прыжок. – Корпус вперед, Маленький Лорд! – Он наклоняется вперед. Падает на спину. Снова встает. Прыжок, падение. Снова подъем. Страх. Прыжок, бездна, смерть. Падение. Наклон вперед. Падает на спину. Боится. Боится. Боится. Но он решился на это. И он не отступит.

Зачем? Решился, и все тут. Решился прыгать с трамплина, плавать, стать лучше всех. Кого всех? Всех вообще. В школе, на трамплине, в воде. Лучше всех.

Целый год страхов. Целая зима... Год стараний. Он готов убить того, кто догоняет его и вот-вот обгонит... И когда на другое лето он научился плавать, ощущение, что он оторвался от всего земного. Боевое крещение, победа...

Вода мягко обволакивала ноги, под ним внизу была мгlistая бездна, он был в море, оторвался от берега. И не боялся... Это была самая большая его победа, самое яркое переживание. Оно почти изгнало в то лето все остальные страхи, пока он не привык плавать, и тогда страхи понемногу, ползком вернулись обратно.

И дядя Мартин сказал, сидя с неизменным стаканом на открытой террасе:

– Вот это я понимаю, малыш стал настоящим мужчиной!

Сказал, как бы преодолевая глубокое сомнение, и все-таки сказал. А мать ответила:

– Меня это ничуть не удивляет, я никогда в этом не сомневалась.

Только крошка тетя Валборг с грустью наблюдала за его успехами:

– По-моему, Маленький Лорд насилует себя, он переутомляется ради нас.

Это была правда – он из кожи лез вон, но не ради них, а ради самого себя, чтобы стать большим, чтобы над ним перестали смеяться, чтобы развернуться в полную силу и овладеть всеми тайнами, что ждут его впереди. В эту зиму он всячески избегал испытующего и сочувственного взгляда тети Валборг. Она единственная уловила частицу правды, может быть, потому, что была так мала ростом и не могла смотреть на него сверху вниз, с большой высоты.

Он старался ускользнуть от наблюдения, не глядеть им в глаза, зато с преувеличенным пылом бросался выполнять любое поручение. В школе он умышленно разыгрывал из себя первого ученика, который безудержно рвется к знаниям. Причем он все время чувствовал и знал, что сестрам Воллквартс это не по нутру, хоть они и осыпают его похвалами. Он это знал, но в его программу входило ослеплять их, чтобы они не могли заглянуть ему в душу и он мог хранить свои тайны про себя.

Зато он накапливал тайны. Тайну он создавал из всего, из самых невинных вещей. Без всякого аппетита, но по всем правилам хорошего тона он ел нелюбимые блюда так, чтобы они думали, будто он их любит. («Маленький Лорд просто обожает суп из помидоров...») Ему доставляло тайное удовольствие обводить их вокруг пальца, особенно оттого, что это давалось так легко, стоило лишь быть начеку. («Мальчик немного нервный, фру, я боюсь, не переутомляется ли он...») – «Что вы, доктор, вы представить себе не можете, как он охотно ходит в школу, как любит бегать на лыжах и прыгать с трамплина!»)

А он ненавидел все это. И смертельно боялся. Когда приближался момент прыжка, у него было такое чувство, будто из него выкачивают все внутренности, а когда ему в первый раз пришлось вместе со всем классом участвовать в лыжных соревнованиях по бегу и прыжкам с самодельного трамплина возле Трюванн, он от страха наложил в штаны, пока ждал в лесу своей очереди. Зато впоследствии он нежно поглядывал на полку, где стоял маленький серебряный кубок, и время от времени усердно его начищал. Это было свидетельство – он занял пятое место. Он знал, что лучших результатов ему не достигнуть. Знал, что, когда ему исполнится десять лет и их поведут на трамплин в Лилле Хеггехюллер, он будет разоблачен, потому что невозможно оставаться одним из первых, когда так трусишь.

Тем не менее кубок был доказательством, доказательством того, что он сделал еще шаг на пути к цели, к тому, чтобы навсегда избавиться от боязни разоблачения и насмешек, а это позволит ему наконец зажить своей собственной жизнью в мире тайн, так, чтобы ни один человек на свете не подозревал, кто он и что у него на уме.

Он коллекционировал свидетельства, отметки, поощрения. В хрестоматии читал несколько уроков вперед, дома страница за страницей зубрил карманную энциклопедию, в словаре Мейера выискивал иностранные слова и научился без запинки произносить «максимальный», «тривиальный», «тенденциозный», не поглядывая нерешительно на взрослых, как это делают дети, когда отваживаются употребить незнакомое выражение.

Когда-то он в ярости сломал себе палец, потому что его уличили в незнании, больше он таких промахов не допускал. Обсуждая с дядей Рене «представителей постимпрессионизма», он теперь уже твердо знал, о ком идет речь. Он понял, что усвоить можно все: манеру поведения

и даже характер.

Вилфред встрепенулся от холода – он сидел на камне на вершине Блосена. Луна уже совсем скрылась где-то внизу, на северо-востоке брезжил утренний свет. Он опять потерялся в воспоминаниях, как дома, возле кровати.

И вдруг он отчетливо вспомнил все, что произошло этой ночью. Ему грозит опасность. Он, по всей вероятности, поджег хутор, ударил бородатого полицейского в каске. За ним выслана погоня. Перед ним вдруг возникло слово

«разыскивается...».

Нет, он не потерялся в воспоминаниях. В воспоминаниях обо всех своих унижениях и о том, как он их преодолел, он обрел силу. Теперь опять, как в те годы, когда ему было шесть, потом семь лет, как все эти годы его воображаемых успехов, он стоял перед выбором, перед началом повой борьбы за свой тайный мир. На его стороне были все преимущества, у противника – никаких, потому что он один знал то, что он знает, потому что он прилежный, хорошо воспитанный, послушный мальчик и хорошо одет. Он не какой-нибудь оборванец, который стоит, потупив глаза, когда его о чем-нибудь спрашивают, и уже из-за этого кругом виноват. Вилфред один, у него нет сообщников, подозрение никогда его не коснется, если только он сумеет по-прежнему держаться особняком, притворяться и скрывать раздражающие его противоречия, которые клопочут в нем и вот-вот взорвут его изнутри...

Он довольно быстро нашел дорогу к дому. Утро было холодное и ясное. В кармане пальто он нащупал ключ от велосипеда. Пусть велосипед пока полежит в кустах, потом он его оттуда возьмет. Ехать на велосипеде в такую рань по безлюдным улицам небезопасно. Пожалуй, даже лучше послать за велосипедом кого-нибудь другого – Андреаса, например. Пожалуй, на этом велосипеде до поры до времени ездить не следует – насколько Вилфреду известно, ни у кого из его знакомых нет велосипеда марки «Рали». Вообще можно будет после экзаменов дать его на время Андреасу. Вскоре они с матерью уедут на дачу, а пока Вилфред обойдется без велосипеда. И Андреас будет доволен и благодарен. Маленький Лорд шел по дороге, вздрагивая от холода, но при мысли о том, что он обрадует Андреаса, ему сразу стало тепло.

И все-таки ему не следует шататься по улицам. Надо идти домой. Да, да, велосипед он отдаст Андреасу. Но сейчас пора домой. Если бы он мог сослаться на какое-то поручение, а то вдруг он кого-нибудь встретит, например бородатого полицейского...

На улице под уклоном раздались чьи-то шаги. Он нырнул в подворотню. Шаги приближались – вдруг это полицейский? Он побежал в глубь двора, три ступеньки вели к какой-то двери, она была заперта. Он съехался в дверной нише. Шаги приближались, потом стали удаляться. Подбежав к воротам, он выглянул на улицу и увидел спину разносчицы газет, которая брела вдоль домов. На ремне подрагивала висевшая через плечо тяжелая сумка. Он облегченно перевел дух. Женщина остановилась, опустила на тротуар тяжелую сумку, потом взяла пачку газет и вошла в дом. Сумка осталась на тротуаре.

И вдруг Вилфреда осенила новая мысль. Женщина отперла входную дверь своим собственным ключом. Это был большой доходный дом, она не скоро вернется обратно, ведь ей надо рассовать газеты во все почтовые ящики.

Он одним прыжком подскочил к сумке, выхватил оттуда пачку газет. В дверях торчал ключ – как видно, женщина, уходя, снова запирает дверь. На мгновение ему пришло в голову повернуть ключ в замке и тем самым выиграть время. Но в этом не было нужды, у него в запасе не меньше десяти минут. Да и к тому же женщина не заметит пропажи газет, пока содержимое сумки не подойдет к концу. Он бегом обогнул ближайший дом и свернул на улицу Тересегате, безлюдную и унылую в разгорающемся утреннем свете. Пробежав целый квартал, он снова свернул за угол, на улицу Юсефинегате у стадиона Бислет. Теперь, если он

встретит кого-нибудь из местных жителей, он замедлит шаги и станет разглядывать номера домов... Он трудолюбивый мальчик из бедной семьи, который до занятий в школе разносит газеты. Вилфред самодовольно ухмыльнулся, продолжая оглядываться по сторонам. Надо было войти в роль, но не переигрывать. Войти в роль. Он где-то вычитал это выражение. Его задача – теперь он ее знал твердо – войти в роль.

Но ему никто не встретился. Ему не пришлось входить в роль. Ни души не было видно на этих улицах, где, должно быть, все уже ушли на работу. При этой мысли он снова ухмыльнулся. Ему было над кем потешиться – над людьми, живущими другой жизнью, над людьми своего круга, над самим собой. Было над кем потешиться. А он не прочь издеваться над кем попало, когда страх отпускает его.

Теперь страх его отпустил. Потому что Вилфред принял решение. Теперь, как тогда. Мысли, которые он передумал за минувшие день и ночь, пошли ему на пользу, он понял, что нынешний год похож на то лето – теперь тоже речь шла о том, чтобы самоутвердиться и быть смелым, способным, и тогда никто не будет строить на твой счет никаких догадок и окружать тебя подозрениями. Тогда никто не сможет влезть тебе в душу, а ты за спиной у всех будешь делать то, что тебе вздумается, и еще тайком смеяться.

Он вдруг вспомнил болванов-преступников из приключений Ника Картера. Они размахивали револьверами, прятались в темноте, а потом вылезали на свет божий так, что первый попавшийся бородач полицейский мог их сцапать. По правде говоря, совершенно все равно, как читать эти книжонки – вдоль или поперек. Эта мысль обрадовала его. Он снял с его души груз – остатки груза давних времен. Он переложил стопку газет в правую руку и поднес к глазам указательный палец левой руки, который когда-то сломал в приливе стыда. Кончик пальца был чуть более плоским, чем остальные, и ноготь перерезала еле заметная вертикальная трещинка. Но палец не был изуродован, и кто не знал этой истории, ни за что бы ничего не заметил.

Он криво усмехнулся. В том-то все и дело: никто ни о чем не подозревает, если не знает наверняка или не умеет угадывать. У Вилфреда есть тайный палец, но и душа у него тайная. Он весь – тайна.

Вступив на аллею, ведущую к их вилле, он быстро оглянулся, потом сунул пачку газет под шаткие мостки, переброшенные через канавку возле соседнего дома. Здесь их никто не найдет. А как-нибудь при случае он их отсюда достанет. Он посмотрел на часы – четверть седьмого. Через четверть часа проснутся служанки. Тогда он позвонит в дверь и скажет Лилли, что проснулся спозаранку и вышел прогуляться: ему-де не спалось, он слишком долго спал накануне. Может, он произнесет всю эту длинную фразу, а может, всего несколько слов, смотря по тому, как поведет себя Лилли. Может, его тон будет ласковым, даже заискивающим, а может, высокомерно-пренебрежительным – в зависимости от поведения Лилли. Теперь он верил в свою звезду, в успех своего притворства. Период нерешительности миновал. Это была слабость, теперь он от нее избавился.

Он подошел к двери, которую ночью открыл без ключа. В дверной ручке торчала «Моргенбладет». Значит, у женщины, приносящей им газеты, нет своего ключа. Это тоже вызвало у него насмешливую ухмылку. Он сел на лестницу и стал ждать, пока будет половина седьмого. Потом он позвонит в дверь и заставит Лилли поверить своим рассказам. Потом он немного отдохнет у себя в комнате, умоется и пораньше спустится вниз, к матери, отдохнувший и полный решимости. Он приведет ее в хорошее настроение разговорами о летних планах. И выведает у нее, не собирается ли тетя Кристина летом к ним в гости – в Сквлю.

Мысль эта обдала его жаром. Он сделает так, чтобы мать и в нынешнем году пригласила Кристину. А почему бы нет? Но прежде всего он приведет мать в хорошее настроение, она

это заслужила. Он поселил в ней тревогу. Теперь в этом нет нужды. Просто в тот момент он колебался, его одолели сомнения. А теперь он будет доставлять ей одни только радости и угождать ей во всем, и жить своей тайной жизнью так, что ни она и никто другой об этом не догадается.

Он сидел на лестнице. До половины седьмого оставалось еще пять минут. Зевнув, он бросил взгляд на газету, которую держал в руках. И тотчас увидел небольшой заголовок:

«ПИРОМАН НА ВЕЛОСИПЕДЕ»

На мгновение лестница качнулась под ним. Но он взял себя в руки. Это было как на трамплине: «Корпус вперед!»

Буквы медленно становились по местам. Арендатора на хуторе Лилле Фрогнер разбудил свет огромного костра... Пироман испугался и вскочил на велосипед... Молодой парень лет семнадцати... В районе замечены какие-то бродяги...

Насмешливая ухмылка снова искривила его губы. Болваны! Им даже в голову не приходит, что поджигателю всего четырнадцать и что это школьник из обеспеченной семьи, проживающей на Драмменсвей. Он едва не рассмеялся вслух, но тут его взгляд упал на заметку, напечатанную чуть пониже:

«НАПАДЕНИЕ НА ПОЛИЦЕЙСКОГО»

И снова лестница закачалась под ним, а танцующие буквы вытянулись в длинные черточки. Он снова овладел собой... Ударил каким-то тяжелым предметом... скрылся в темноте. Не пироман ли это из Фрогнера?

Он попытался усмехнуться, подумал, что они со своей стороны постарались сделать что могли.

Но улыбка не получалась. Надо научиться и этому – научиться улыбаться всегда, даже когда тебя никто не видит. Просто чтобы быть наготове... Он прочитал: «...хорошо одетый, лет шестнадцати, но на улице Соргенфригате было очень темно...»

Вот теперь ему удалось улыбнуться, удалось вполне. На улице Соргенфригате было темно, вот здорово, на Соргенфригате было темно хоть глаз выколи, темно и уныло. Душа Вилфреда пела от безудержного ликования.

Но и восторг надо уметь сдерживать, все надо уметь сдерживать, замуровать в душе, оберегая тайну. Он посмотрел на часы. Без двадцати семь. Решено: как бы ни повела себя Лилли, он напустит на себя беспечный вид. Ведь он одержал победу. Он беззаботный мальчишка, возвращающийся с прогулки.

Он легко вскочил, взбежал по лестнице с газетой в руке, позвонил решительно и отрывисто. У дверей послышались шаги.

– С добрым утром, милая Лилли. Принимай разносчика газет!

Из большой угловой комнаты, выходящей окнами на улицу и на школьный двор, вынесли оба стола. Вместо них вдоль стен расставили стулья для воспитателей и родителей, приглашенных присутствовать на устном экзамене. У торцевой стены за маленьким столом, заваленным книгами и бумагами, бок о бок сидели сестры Воллквартс. Фрекен Аннета то опускала лорнет, то прикладывала его к глазам, смотря по тому, куда был направлен ее взгляд, в книги или на экзаменующихся. Это ее движение придавало всей процедуре ритм, в котором как бы чередовались: рывок – оценка, рывок – оценка. Учеников по двое вызывали из соседнего класса. Отвечая на вопросы, каждый экзаменующийся стоял посреди комнаты.

Маленький Лорд наслаждался церемонией. Наслаждался присутствием посторонних взрослых людей – это придавало экзамену привкус спектакля, а ведь он знал программу назубок. Наслаждался тем, что его мать восседает среди сонма матерей и затерявшихся среди них двух или трех отцов с зонтиками, зажатыми в коленях. Наслаждался ненавязчивой элегантностью матери, которая так выделялась на фоне этих незнакомых людей, украдкой косившихся друг на друга. Повернувшись спиной к зрителям и лицом к сестрам Воллквартс, Маленький Лорд смутно улавливал запах материнских духов, который как бы обволакивал его собственную, находившуюся в центре внимания особу, придавая ему какую-то необычайную вкрадчивую уверенность.

Но еще больше удовольствия доставляла ему последующая церемония, когда вслух оглашались результаты экзаменов и взрослые внимали им в безмолвии, ежесекундно менявшем свою окраску. Всех учеников тогда собирали в угловой классной комнате, и они стояли, сбившись в кучку, у окна, выходящего во двор, время от времени издавая приглушенные возгласы. Теперь они по очереди выходили на середину класса и декламировали стихотворение по собственному выбору – либо из школьной программы, либо из того, что читали дома. Многие ученики любили декламировать псалмы, отчасти потому, что псалмы с их непонятными строками прочнее засели у них в памяти, отчасти смутно угадывая, что, выбрав «божественное», они скорее расположат к себе слушателей.

Маленький Лорд чувствовал какое-то особое блаженное спокойствие, когда вышел на середину класса и, на сей раз повернувшись лицом ко всем взрослым гостям, объявил название выбранного им стихотворения.

– «Крестьянская дочь», старинная датская народная песня, – твердым голосом объявил он.

Шепоток ожидания пробежал по классу. Фрекен Аннета Воллквартс доверчиво кивнула, бросив взгляд на сестру, которая кивнула тоже, но менее уверенно. Всегда этот мальчик выберет что-нибудь необычное. Впрочем, слова «народная песня» внушали сочувствие и свидетельствовали о высоком уровне развития мальчика. Вилфред принадлежал к числу тех учеников, которые не ограничиваются изучением школьной программы.

Маленький Лорд начал:

Однажды был я в чужих краях

И ночлега искал в пути.

На хутор крестьянский я забрел,

Хотел там приют найти.

Хозяйская дочь приняла меня.

На беду я зашел в их дом.

В зале кто-то хмыкнул. Маленький Лорд продолжал:

Спросил я девушку: «Где твой отец?»

«На тинге», – она сказала.

Спросил я девушку: «Где твоя мать?»

«Уснула», – она сказала.

В зале возникла неуловимая тревога. Маленький Лорд чувствовал ее и в рядах взрослых слушателей, и за своей спиной, среди учеников. Он заметил смущенный взгляд, которым обменялись сестры Воллквартс, но невозмутимо продолжал:

И пива она принесла тогда,

И поставила мне вина.

И пошла хозяйская дочь на гумно,

И постель постелила она.

Теперь шепот стал громким. Одна из сестер Воллквартс приподнялась, но Маленький Лорд устоял в стену перед собой. Упорствуя в своем желании продолжать чтение, он чувствовал приятное покалывание во всем теле. Еще ни разу ни на одном выпускном экзамене не было случая, чтобы ученика прервали, не дав дочитать до конца стихотворение, выбранное им самим.

«Послушай, гость молодой, меня,

Исполни, что я прошу!

Не то сейчас своей рукой

Тебя я жизни решу!»

– Маленький Лорд! – Фрекен Сигне поднялась теперь во весь рост. – Сколько строк в этом стихотворении?

– Семнадцать, фрекен Воллквартс.

Фрекен Воллквартс растерянно шевельнула губами, не в силах принять немедленное решение. Кое-кто из родителей устоял в пол, другие смущенно переглядывались. Маленький Лорд продолжал:

Она схватила за горло меня

И вынула острый нож.

«Исполни тотчас желанье мое,

Иначе ты умрешь!»

– Маленький Лорд! Довольно! Мы уже выслушали тебя, хватит!

Это был голос фрекен Сигне. В нем звучали металлические нотки, но шушуканье в зале почти заглушало его. Маленький Лорд вполне мог не расслышать замечания, поскольку к заключительной части торжества был возбужден, как все ученики.

И снял тогда я куртку свою,

И рубаху красную снял...

– Вилфред!

На этот раз он уже не мог не расслышать. Точно очнувшись от глубокого транса, он взглянул в упор на фрекен Сигне Воллквартс.

– Да, фрекен Воллквартс?

– Довольно с нас твоей датской песни. Я полагаю, ты не совсем понимаешь... Я хочу сказать, она не совсем подходит...

Ее взгляд растерянно скользнул по собравшимся. Кое-кто из гостей, опустив голову, прятал улыбку. В старых деревьях на школьном дворе щебетали птицы. Вилфред вернулся к товарищам, стоявшим полукругом в конце зала.

– Следующий!

Вперед выступил Андреас. Он был бледен.

– «Нищий Уле» Йоргена Му, – пробормотал он тихо и невнятно.

– Громче, Андреас!

– «Нищий Уле» Йоргена Му.

Это прозвучало ненамного громче. За окном во весь голос щебетали птицы.

– Хорошо. Начинай.

Все знали, как любит Андреас это стихотворение. Вообще у учеников гораздо большей популярностью пользовались бодрые, задорные стихи вроде «Фанитуллен», «Дровосеки», «Пряжа». Впрочем, никто никогда не слышал, чтобы Андреас читал свое любимое стихотворение вслух. Но он постоянно бормотал его себе под нос.

– «Я помню...» – прошептал кто-то, чтобы ободрить его.

– Никаких подсказок! Итак...

Сестры Воллквартс снова стали хозяйками положения. Случилось происшествие, выходящее из ряда вон. Необходимо было добиться того, чтобы экзамен снова пошел гладко, дабы торжественная церемония выпуска произвела положенное по традиции впечатление. Все взгляды с надеждой устремились на Андреаса, молча уставившегося в пол. По губам многих можно было прочесть роковые вступительные слова. И вдруг, как заведенная машина, Андреас начал:

Я помню, когда я ребенком был,

К нам нищий пришел бездонный...

В группе у окна вспыхнул смех. Родители сдержанно усмехались. Сигне Воллквартс, решительно выпрямившись, отрезала:

– Тихо!

Но это больше подействовало на взрослых, чем на учеников.

– Ты сказал «бездонный», Андреас. Смеяться тут нечего, это бывает! – Грозный взгляд

обежал собравшихся. – Ты оговорился, надо было сказать... Впрочем, продолжай. Или вот что – начни сначала.

Я помню, когда я ребенком был,

К нам нищий пришел бездонный...

На этот раз уже никто не сдерживал смеха. Сама фрекен Аннета улыбнулась. Но общее веселье нарушил резкий голос ее сестры:

– Ты, конечно, хотел сказать «бездонный». Поэт вспоминает здесь грустную историю о том, как легкомысленные дети прибили гвоздями к лестнице деревянные башмаки нищего Уле и он упал и разбился насмерть. Так ведь?

Краска волной залила щеки Андреаса. Он стоял, то стискивая, то разжимая кулаки.

– Так ведь, Андреас? – В ласковом голосе затаилась угроза.

– А я всегда думал, что «бездонный», – тихо сказал Андреас. – Мне потому так и нравилось.

Раскаты хохота потрясли стены комнаты. Андреас, первый ученик по арифметике, страстный любитель географии, а может, на свой лад и поэт, стоял совершенно растерянный, точно вокруг него рухнул целый мир таинственности и красоты.

«Бездонный», – передавалось шепотом из уст в уста, и в этом недобром звучном шепоте была насмешка и презрение. Очевидно, у сестер Воллквартс не укладывалось в голове, что ученик в здравом рассудке мог так странно перетолковать детские воспоминания Йоргена Му.

– Не может этого быть, – заявила ледяным тоном фрекен Воллквартс.

Вилфред, стоявший среди других учеников, вдруг почувствовал, что фрекен Сигне совершает предательство: она предает одного из учеников, обрекая его на презрение товарищей и насмешки взрослых.

– Фрекен Воллквартс, – громко сказал он. – А я тоже всегда думал, что там написано «бездонный».

Воцарилась мертвая тишина.

– Чепуха, Вилфред, – решительно сказала фрекен Сигне.

– Прошу прощения, но я так думал. Я же не виноват.

Опять происходило нечто неслыханное. На экзаменационных торжествах в школе сестер Воллквартс всегда царили гармония и благолепие и ученики вели себя чинно. Что за дух вселился вдруг в собравшихся? Родители еле сдерживают смех, а ученики ведут себя одни как дураки, другие как упрямы.

– Следующий! – объявила фрекен Аннета. Она произнесла это негромко и без гнева, но тоном, не допускающим возражений. Пора было положить конец скандалу...

Всю остальную часть торжественной церемонии в голове Маленького Лорда напряженно роились мысли. Он равнодушно прислушивался к чтению стихов: ученики то бубнили их без всякого выражения, то читали с заученным пафосом, который еще больше резал ему слух. Он знал все эти стихи наизусть и привык произносить их по-своему. Он равнодушно слушал своих товарищей, а мысли напряженно сменяли одна другую в ожидании катастрофы.

Чего он добивался, когда решился прочитать свою странную народную песню? Правда и то, что он на самом деле любил эти не совсем понятные ему предания, которые напечатаны в толстом томе с картинками, будившими его воображение. Том стоял в книжном шкафу на самой верхней полке справа. Книга принадлежала ему, однако стояла в таком месте, до которого ему было не так-то легко добраться.

Ему нравилась дерзкая песня «Крестьянская дочь», но в его намерения вовсе не входило вызвать гнев сестер Воллквартс в этот день, последний день в школе, где, в общем, ему было совсем неплохо и он очень многому выучился. Дни и ночи напролет он обмирал – да, да, именно обмирал от страха, что учительница так или иначе вступит в контакт с матерью и каким-нибудь образом обнаружатся его махинации с письмами и все его проделки, которым теперь положен конец. Он смутно понимал, что, стоит одному камешку сорваться вниз, в пропасть полетит все, а он будет разоблачен и в глазах тех, кого он любит, окажется просто испорченным мальчишкой. Стоя среди остальных учеников, он мучился и старался понять, неужели он добивался этой катастрофы? Разоблачения, которое положило бы конец его двоедушию...

Нет, это было не так. Он создал себе тайное существование и как раз в течение нынешней зимы и весны придавал ему желанную форму. Причем это было только вступление к тем неизведанным переживаниям, которые должны принести ему свободу и которые ждут его в ближайшем будущем. Ни за что на свете он не хотел бы навлечь на себя гнев этих людей как раз в ту минуту, когда от них зависело, чтобы не вышло никакой беды.

И все же он совершил этот поступок. В первый раз за всю преступную весну он испугался самого себя, потому что его собственные замыслы вышли у него из повиновения. Он знал, что глупая шутка с народной песней была им обдумана заранее. Зато вторая, с «бездонным» нищим, произошла помимо его воли. Но и та и другая были чреватые опасностью. Он сам себя не понимал. Чего он добивался этой песней? И еще одно: разве он не установил для себя твердый принцип – не позволять себе никаких необдуманных поступков, все должно быть взвешено заранее...

Он почувствовал на себе взгляд Андреаса. Тот на мгновение обернулся в его сторону. Глаза Андреаса излучали смущение и благодарность. Бледная улыбка скользнула по лицу приговоренного, – приговоренного быть дураком.

Маленький Лорд подумал: «Он мне благодарен. При случае я могу его использовать».

Пока взрослые прощались, он ни на шаг не отходил от матери. Он хотел любой ценой помешать ее разговору с учительницами. С необычной для него неловкостью он вторгся между ними как раз в ту минуту, когда мать просталась за руку с сестрами Воллквартс. Он извинился, но и не подумал отойти в сторону. Ему удалось по возможности сократить церемонию.

– Маленький Лорд, что с тобой, ты не в своем уме! – сказала мать. – Ты прекрасно знаешь, что сначала прощаются взрослые.

Но он упорствовал и не отпускал ее от себя. Сестры Воллквартс кисло-сладко улыбались, пытаясь спасти остатки своего авторитета.

– Это возбуждение после экзамена, – пробормотала фрекен Аннета с вымученной любезностью.

Мать и сын молча вышли на улицу. В солнечном свете все вокруг показалось вдруг каким-то сиротливым. Радостный день, день, который всегда был праздником, внезапно затаил в себе угрозу.

Мать остановилась.

– Маленький Лорд, – сказала она, – я жду твоих объяснений.

– Мама, но ведь фрекен Воллквартс так гадко поступила с Андреасом!

– Я о другом. Это еще куда ни шло. Ты хотел выручить друга. Но ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. О народной песне.

Они стояли рядом на тротуаре, посыпанном гравием. Сколько раз они вдвоем проходили здесь, в том числе четыре раза после экзамена, и всегда у них было хорошее настроение и они предвкушали предстоящие удовольствия.

– Разве мы не пойдем сегодня к Ролфсену есть булочки?

– Не знаю, – ответила она и медленно пошла вперед по улице. Две тяжелые подводки с грохотом пронеслись по неровной мостовой. Пока продолжался шум, он успел собраться с мыслями.

– Мама, – сказал он, – если бы я прочел это стихотворение на музыкальном вечере у дяди Рене...

– Ну и что же тогда? – холодно спросила она.

– Вы бы только посмеялись.

– И не подумали бы.

– Ты в этом уверена? – невозмутимо спросил он.

Она с огорчением бросила на него взгляд сверху вниз. Собственно говоря, теперь ей уже почти не приходилось опускать глаза

вниз. Когда он успел так вытянуться?

И снова – тревожное чувство, что все неотвратно меняется.

А потом вдруг радость: как хорошо, что пока все остается так, как есть.

– Конечно, мы пойдем к Ролфсену.

Он взял ее под руку – доверчивое, нежное прикосновение; рука мужчины, кавалера, в одно и то же время пробуждающая тревогу и отчасти утишающая ее.

– Четыре булочки? – спросил он тоном искусителя.

– Четыре.

– Самые большие, по восемь эре?

– Самые-самые большие.

– И шоколад со сбитыми сливками?

– В такую жару?

– Мама, как можно без шоколада со сливками?

– Ну раз так, хорошо. Пусть будет шоколад.

Они пошли в ногу, рука об руку, слегка склонившись друг к другу, точно жених с невестой. У Ролфсена на Эгерторв они заняли столик в самом дальнем зале с мраморным потолком и зеркалами в золоченых рамах.

– Знаешь, мама, куда бы я в жизни ни попал и что бы мне ни пришлось есть и пить, а все-таки никогда и нигде мне не будет так хорошо и вкусно, как здесь, – сказал он, смакуя булочку, крошки которой прилипли к его губам.

Она посмотрела на него, растроганная и вместе с тем встревоженная. В нем была какая-то фанатическая тяга к удовольствиям и наслаждениям, иногда пугавшая ее, у нее мелькнула смутная мысль: «А что, если в один прекрасный день речь пойдет уже не о шоколаде. И не я буду рядом с ним...»

Но мысли ее всегда отличались тем, что приходили и мгновенно исчезали, а раз они исчезли, значит, их вовсе и не было, ей только показалось, что они постучали в дверь... Так бывает, когда ждешь визита надоедливых родственников, – тебе то и дело мерещится, что кто-то стоит у порога. Но так как она не любила задумываться о неприятностях, она, выглянув за дверь, убедилась: никого...

– А потом, мама, пройдемся по набережным, мы так давно не гуляли там!

И они пошли вдоль набережных – целое путешествие пешком с востока на запад. В заливе Бьервик рядом с большими красными буями таинственно покачивались на волнах парусники, оцетинившиеся реями, а на корме старого грязно-серого «Конгсхавн № 1» что-то красили и натягивали новые паруса, чтобы снова пустить корабль в ход на оживленной трассе, ведущей в Конгсхавн Бад с его театрами и парками. Маленький Лорд во всем ловил признаки приближающегося лета, но особенно чувствовалась она в запахе моря, жарком и упоительном, пропитанном всеми оттенками дегтя и пеньки. Огромные железные краны, черные трубы, торчащие вверх, на палубах закопченные люди в шерстяных штанах и куртках, разноязыкая речь. Он часто в темноте прокрадывался сюда и видел, как какие-то странные дамы с помощью матросов поднимались на палубу, и при этом вокруг говорились непонятные слова на всевозможных языках. А он мечтал, как проберется на какой-нибудь корабль и отправится путешествовать. Он встречал других мальчишек, которые тоже слонялись по пристаням, и в глазах их была та же тоска, и они узнавали друг друга по выражению глаз, и, разыгрывая из себя взрослых мужчин, обменивались подхваченными на лету словечками и морскими рассказами. Может, они и не верили друг другу, это роли не играло. Каждый из них приближался к самой границе какой-то неведомой страны, и они завидовали друг другу, что побывали там.

Время от времени вдруг шепотом рассказывали о ком-то, кому и в самом деле удалось убежать. И в газете проскальзывало сообщение...

А теперь Маленький Лорд гулял здесь об руку с матерью. Было светло, жара начинала спадать. И вот идя так и угадывая названия кораблей еще до того, как мог разглядеть буквы, он вдруг был поражен мыслью, что пристань – это два совершенно разных места, смотря по тому, в каких обстоятельствах ты здесь оказываешься, и корабль – две совершенно разные вещи, и он сам – два совершенно разных человека. А мать? Он испытующе посмотрел на нее – головка на стройной шее, выглядывающей из выреза костюма, обшитого узким бархатным кантом; под серой вуалью, прозрачной, как намек, видна каждая черточка. Неужели и она тоже два разных человека? А все остальные? А все остальное? Неужели во всем без исключения две, три стороны, а то и больше? Может, желтая фокмачта на «Бонне» кажется желтой только ему, а для других она, предположим, синяя? Или если для других она тоже желтая, то только потому, что они так договорились между собой? А что на самом деле означает «желтая»? Верно ли сказать о фру Саген – «изящная дама в серо-голубом костюме, со свежей округлостью щек и мягкими голубовато-серыми глазами в тон костюму»?

Правильно ли сказать о ней «остроумная», «добрая», «уступчивая», «любезная»... Это в самом деле она? Она в самом деле такая? А если нет, то... Ведь вот он сам сейчас идет в ярком свете дня, и у него нет почти ничего общего с тем, кто рыщет здесь по улицам и пристаням в сумерках, с горлом, пересохшим от волнения, и глазами, в которых светится жажда познать все на свете – и ведомое и еще неведомое, собравшееся в единый пламенеющий фокус...

– Маленький Лорд, что же ты не угадываешь?

– Это «Бонн».

– Я и сама вижу. – Она отдавалась игре почти с таким же пылом, как и он. – А вон там дальше, у Виппетанге?

– А-а, это новый «Христианияфьорд», его все знают.

Высокий и элегантный корабль, гордость нации, двумя желтыми трубами возвышался над всеми остальными кораблями. А еще совсем недавно здесь царили одни только датские трансатлантические пароходы, «Король Фредерик Датский» и как их там еще, черные махины с красным кругом на трубе.

– А вот угадай еще, вон тот, подальше, у которого виден только самый кончик трубы? – спросил он.

– Но ты же сам говоришь – виден только кончик трубы.

– А я знаю, это «Король Ринг», – торжествуя, угадал он.

Но тут она решила, что он ее обманывает. Ей захотелось поймать его с поличным. Они ускорили шаги, она – в каком-то злорадном нетерпении, которого сама не могла бы объяснить, – должно быть, ото были смутные укоры совести, из-за того, что она прежде не была достаточно строга.

Но это оказался «Король Ринг». Когда они подошли ближе, перед ними предстали желтые буквы на черном фоне.

– Маленький Лорд! – сказала она смущенно и в то же время с облегчением. – Откуда ты знаешь все эти корабли?

– Мальчик очень быстро схватывает, – передразнил он чуть скрипучий голос фрекен Сигне.

Мать и сын обменялись быстрым взглядом. Она едва заметно покачала головой и обвела глазами весь летний пейзаж вокруг – все, что взывало к беззаботности и напоминало о том, чем она владеет сейчас... Не признаваясь самой себе, она непрестанно мучилась страхом, что все может стать другим, страхом перед неотвратимым и неизбежным.

– Мама, – предложил он. – Пойдем через Рюселоквей, посмотрим то место, где погибла маленькая Гудрун.

– Милый, но ведь это ужасное место!

– Посмотрим, мама! А хочешь, пойдем прямо берегом?

Мать бросила на него негодующий взгляд.

– Ты прекрасно понимаешь, что такой дорогой мы не пойдем, по крайней мере я.

Перед ними открылись ряды деревянных домишек, по узким переулочкам сновали

незнакомые люди,

другие люди, непохожие на них самих. Они прошли по улице Сегате, миновали Западный вокзал и свернули на Рюселоквей. Тут они заглянули в провал между торговыми рядами. Понизив голос, Маленький Лорд рассказал ей о притаившемся в глубине люке, который ведет в канализационный сток. Люк забыли запереть в тот злосчастный день, когда маленькая Гудрун вздумала спрятаться здесь, а когда девочку нашли, ее тело было наполовину обглодано крысами...

– Откуда ты знаешь все эти подробности? – подавленно спросила она, когда они пошли дальше, содрогаясь от ужаса. – Мы старались как можно меньше говорить об этом при тебе.

Он весь клокотал от возбуждения, которого сам не мог бы объяснить. Казалось, оба его существования стали сливаться воедино, и при этом он и мать увлекал на стезю беззаконий.

– Мама, а что, если нам пойти в Тиволи? – задыхаясь, выпалил он.

Она взглянула на него с ужасом:

– В Тиволи? Как ты можешь это предлагать? Ведь ты был со мной в Национальном театре, слушал «Лознгрину»! Кому еще из твоих товарищей посчастливилось слушать эту оперу?

– Знаю, мама, знаю, и все-таки давай пойдём! Посмотрим «Divertissement exotique», жизнь в мавританском гареме и чайный домик в Нагасаки с пятью настоящими гейшами.

– Что ты мелешь, мой мальчик? По-моему, ты сошел с ума!

– Пойдем, мама, правда же! А потом ты расскажешь об этом дяде Мартину. О мистических тайнах индийских факиров.

– Откуда ты все это взял? Что это за выдумки?

– Мама, ну вот ей-богу же, это идет в Тиволи.

И снова ей захотелось поймать его с поличным. Все это выдумки, да еще самого дурного свойства, он просто ее морочит. Она резко остановилась, объявив:

– Хорошо, пойдём и посмотрим, что там играют.

Воцарилось томительное молчание. На этой улице в просветах между домами уже не было солнца. А когда они вышли на Стортингсгате и свернули к освещенному каменному порталу Тиволи, уже стал чуть-чуть заметен свет газовых рожков вдоль балюстрады ресторана на открытом воздухе. Простонародная толпа, от которой несло пивом, толпилась у афиш.

– Пожалуйста, посмотри, мама, – с обидой сказал Маленький Лорд. Это были первые слова после долгой паузы. И перед ее изумленными глазами предстали яркие афиши в резных рамках:

DIVERTISSEMENT EXOTIQUE

МИСТИЧЕСКИЕ ТАЙНЫ ИНДИЙСКИХ ФАКИРОВ

ЖИЗНЬ В МАВРИТАНСКОМ ГАРЕМЕ

Гвоздь программы: ЧАЙНЫЙ ДОМИК В НАГАСАКИ

ВПЕРВЫЕ В ЕВРОПЕ – НАСТОЯЩИЕ ГЕЙШИ!

Ее первым смутным побуждением было извиниться перед ним, потом она испугалась:

– Но откуда ты это знаешь, Маленький Лорд?

– Мама, да ведь это каждый день печатают в газете, на четвертой странице «Моргенбладет». А знаешь, что идет в синематографе? «Разбитые сердца».

И тут она рассмеялась. Своим звонким, детским смехом, в котором не было ничего, кроме готовности радоваться. Казалось, огромное бремя упало с ее души и осталось одно только чувство неимоверного облегчения. Значит, все эти таинственные сведения каждый день печатались в ее собственной надежной «Моргенбладет», а ее одаренный, все подряд читающий сын, конечно, читал и объявления. Казалось, она нашла объяснение всему, даже непристойной народной песне, которая так возмутила почтенных сестер Воллквартс. Бог с ними, они добросовестно исполняют свой долг. Она готова была быть снисходительной ко всем на свете, после того как ей пришлось признать правоту своего дорогого сыночка, который просто все жадно впитывал своим острым детским зрением: названия кораблей, газетные объявления, стихи и афиши. И с чего ей вздумалось бить тревогу?

Она стиснула его узкую руку, и ей вдруг страстно захотелось совершить какое-нибудь озорство, как в былые дни, когда она еще выходила в свет, в те счастливые и страшные дни, когда жизнь ее была каскадом дней и ночей, бурным водопадом... по сравнению со спокойным ручейком ее нынешней жизни в Христиании, жизни, струящейся к старости, о которой она редко задумывалась.

– В самом деле, а почему бы нам не пойти в Тиволи? – неуверенно предложила она. Но тут же отступила. – Впрочем, до восьми часов еще долго ждать.

– Мама, ведь сегодня два представления, разве ты не видишь? В субботу два представления. Так написано в афише.

Она и этого не заметила. Как многого она не замечает! А ребячьи глаза и уши – все-то они видят, все слышат.

– Ах да, сегодня суббота, – сказала она, не желая показаться совсем глупой в глазах своего сообразительного кавалера. Они протиснулись к дверям вместе с остальной публикой, бок о бок с чужими людьми, среди чужих запахов. Войдя внутрь и поднимаясь по лестнице, они чувствовали себя как два сбившихся с пути школьника. Портье в адмиральской фуражке надорвал их билеты. Перед ними был зал со столиками, выкрашенными в серебристый цвет, и стульями на гнутых ножках. К ним подошел официант в белой куртке, из которой он вытащил блокнотик, а из-за уха карандаш.

– Возьми рюмку хереса, мама, – шепнул Маленький Лорд.

– Рюмку хереса, пожалуйста, – машинально повторила она.

– А для молодого человека? – Официант склонился над столиком, приветливо улыбаясь.

– И мне тоже хереса, – шепнул Маленький Лорд.

Она повторила. Правда, официант вздернул бровь, а может, ей только показалось.

– Ты сошел с ума! – сказала она со счастливой улыбкой.

– Ты ведь можешь сама выпить две рюмки, – возразил он.

Она украдкой оглядывала незнакомую обстановку. В зале становилось душно от запаха пота и табачного дыма. Какой-то толстяк в котелке с маслянистым взглядом, повернувшись к ней

спиной, перешагнув через ее ноги. Ее охватила приятная дрожь. Почему-то она вдруг подумала о тете Кларе и всей ее грамматической строгости. Народу становилось все больше, табачный дым начал струиться над столами, объединяя их между собой. Маленький Лорд напевал вполголоса среди общего шума.

– Что с тобой, Маленький Лорд, ты поешь за столом?

Он запел громче. Он пел: *wollen, sollen, konnen* [[2]] – на мотив собственного сочинения, в каком-то залихватском ритме.

– Я вспомнил о тете Кларе, – крикнул он.

– Почему? – пораженная, воскликнула она.

– *Ich bin, du bist...* [[3]] Не знаю... Сам не знаю... – напевал он. Он был полон лихорадочного ожидания, которое все росло, по мере того как вокруг разрастался шум. Громкие голоса заказывали пиво, селедку, водку, мясную запеканку, рыбу и снова селедку и пиво, пунш и кофе и снова селедку и пиво.

И вдруг по залу пробежал шепот. Между двумя жирными затылками в котелках Маленький Лорд увидел дирижерскую палочку. Казалось, палочка прорезала пелену дыма, чтобы установить тишину. И в ту же минуту взвизгнули флейты. Шум и крики тотчас возобновились, смешиваясь со звуками музыки и вступив с ними в борьбу не на жизнь, а на смерть. Клиенты знаками подзывали официантов, которые безостановочно сновали между столиками, поднося на вытянутой руке блестящие подносы. Все знали, что надо обеспечить себя гастрономическими утехами до поднятия занавеса. Крики и музыка сливались в каком-то нечеловеческом грохоте. Разговаривать было невозможно. На серебристом столике между матерью и сыном изящно расположились высокие бокалы с хересом. Фру Саген и Вилфред переглянулись, рассмеявшись от удовольствия, – их все здесь приводило в восторг.

И вдруг стало тихо, как в церкви. Красный занавес раздвинулся, и на сцене при свете бенгальских огней предстали демонические фигуры четырех факиров в сверкающей одежде из желтого шелка. Раздались выкрики и аплодисменты. Потом снова воцарилась тишина. В зале, точно условный сигнал, слышалось только причмокивание мужчин, обсасывающих мокрые от пива усы. Один из факиров поднял руку. Можно начинать.

Все номера принимались с восторженным ужасом. Маленький Лорд как очарованный смотрел на сцену, и, когда факиры исчезли за кулисами, его онемевшие ладони были влажны от пота. Он не мог хлопнуть, не мог вымолвить ни слова. Проколотые щеки, летающие змеи, парящие в воздухе человеческие тела, лишившиеся своего веса, как бывает в самых потаенных грезах, – все это наполняло его ужасом и блаженством куда более сильным, чем то, которое он испытал, слушая пение самого Петера Корнелиуса в «Лознгрине». Сквозь табачный дым он временами различал лицо матери. Когда впечатления были слишком сильны, она наклонялась над столиком. Потом шепнула ему в самое ухо, стараясь перекрыть шум аплодисментов:

– Ну как, мой мальчик?

– Изумительно, мама, чудесно! – Он испугался, что она хочет уйти.

Но когда начали показывать «Жизнь в мавританском гареме» и на сцене появились пять тощих девиц явно немецкого происхождения, в оранжевых шелковых шароварах, на нее напал безудержный смех. Окружающие с негодованием оборачивались к ней. Ярко-красное освещение на сцене и картонные мавританские декорации произвели впечатление на публику. Мать и сын смущенно устали в стол, не смея взглянуть друг на друга. Они ни в коем случае не хотели раздражать простонародье, в ряды которого дерзнули затесаться.

Маленький Лорд осторожно нащупал руку матери и сжал ее в своей. Этого оказалось довольно. Они снова фыркнули. К счастью, в этот момент одалиски затаили монотонную восточную песню, которую энергично подхватили деревянные духовые инструменты в оркестре. Зал был в восхищении и от зрелища, и от музыки.

Восторг достиг кульминации, когда появились «настоящие гейши». Зал был покорен. Передвигаясь по сцене мелкими японскими шажками, они делали такие обольстительные движения, что два затылка впереди Маленького Лорда покрылись крупными каплями пота. Он как зачарованный не сводил глаз с этих двух затылков, которые в возбуждении иной раз так близко наклонялись друг к другу, что заслоняли от него гейш. Ему казалось, что он разглядывает незнакомый ландшафт с реками, горами, влажными ущельями и глубокими котловинами, покрытыми растительностью. Его охватил тот же сладкий страх, как тогда, когда он был в зверинце Кунью и ему дали подержать месячного львенка – было и страшно, и упоительно...

– Маленький Лорд, куда ты смотришь?

Он тихонько показал пальцем. В прищуренных глазах матери мелькнуло отвращение. Она схватила бокал – он был пуст. Сын поспешил придвинуть ей свой, но заметил, что она побледнела.

– Хочешь уйти, мама?

Она кивнула. Со всевозможными предосторожностями они стали прокладывать себе путь среди множества ног; кое-кто даже не шевельнулся, чтобы освободить им проход, другие чуть-чуть отступились.

Но когда они вдвоем вышли на Драмменсвей, их снова охватило то же безудержное веселье; вечерний воздух был весь напоен светом, а перед ними расстилалось небо, пламенеющее закатом. Они шли, смеясь, навстречу закату. Люди оборачивались им вслед, но они не обращали на это внимания. Рука об руку шли они, смеясь, навстречу уходящему солнцу, возвращаясь после вылазки в чужую опасную страну к себе домой, в свой надежно защищенный, устойчивый мир... Они свернули на свою родную аллею, обсаженную старыми деревьями, со следами старой, обсохшей по краям колеи, – к своему дому.

– Я никогда в жизни не забуду этого вечера, мама, – сказал Маленький Лорд.

Часть вторая

СТЕКЛЯННОЕ ЯЙЦО

11

Он узнал ее сразу, как только пароход показался из-за мыса. Она стояла на баке между ящиками и бочками – единственная женщина среди мужчин, одетых в грубую холщовую одежду. Соломенная шляпа с узкими полями затенена вуалью, концы которой повязаны вокруг шеи, поверх зеленого костюма накинута плащ на золотистой подкладке. Все это предстало перед ним словно на картине, которую он все время рисовал в воображении, и он подумал, что, хотя для загородных прогулок тетя Кристина постоянно выбирает английские

костюмы, в ее облике всегда сохраняется что-то домашнее.

Но когда маленький пароходик, курсировавший по фьорду, подошел ближе, Вилфреду вдруг показалось, что это не она, и он даже подумал, что она ему просто пригрезилась, ведь он неотступно ждал, что в один прекрасный день увидит ее стоящей вот так на баке. Но дама, которую он увидел, оказалась вдруг меньше ростом и, пожалуй, немного старше...

Она кивнула. И он почувствовал мгновенное разочарование. Его поразило то, что издали она больше похожа на себя, чем вблизи.

Но в ту минуту, когда маленький трап был переброшен на берег и Вилфред протянул к ней руки, он почувствовал, что это все-таки тетя Кристина, вернее, нет – просто Кристина, а вовсе не «тетя». В эти недели томлений и грез, которые преображали все, что его окружало, Вилфред совсем перестал думать о ней как о вдове своего дяди.

Боцман протянул ему два увесистых чемодана – стало быть, Кристина собирается пробыть здесь долго. Вилфред приблизил к ней загорелое лицо, она ответила на его поцелуй.

Подняв голову, он заметил, что на них смотрят с верхней палубы.

– Между прочим, я всю дорогу сидела на чужом месте. На свежем воздухе легче дышится...

Что-то кольнуло его в сердце. Значит, это правда, что Кристина бедна? Само это слово казалось ему странным в применении к людям их круга. Разве можно быть бедным, не будучи... ну, одним словом, другим?

Они вместе поднялись по крутой тропинке, ведущей в гору: она, прелестная и беззаботная от одного того, что очутилась в новой обстановке, он – ее кавалер, несущий тяжелую поклажу.

Позже, когда они сидели на веранде за завтраком, сидели прямо друг против друга за белым плетеным столом, покрытым серой льняной скатертью, ели омаров, браконьерски выловленных вершей, а потом пили чай с повидлом, ему казалось, что она непрерывно преображается у него на глазах.

Один раз Кристина встала из-за стола, чтобы взять сумочку, которую забыла в прихожей. Оставшись с ним наедине, мать раздраженно сказала:

– Что ты так уставился на Кристину? Можно подумать, что ты хочешь ее съесть!

Когда Кристина вернулась, Вилфред уже ни разу не взглянул на нее. Он смотрел куда угодно: на море или в противоположную сторону, в сад, где птицы затихали, по мере того как солнце поднималось все выше; день обещал быть жарким.

Застигнутый на месте преступления, он был пристыжен и уязвлен. В эти дни каникул, которые он провел здесь наедине с матерью и немногочисленными друзьями с соседних дач, он совсем забросил свои лихорадочные упражнения по самозащите. Ничто не напоминало ему здесь опасную действительность со всеми ее нераскрытыми тайнами, от которой он спасся бегством. В Сковлю все было по-другому, это была тихая обитель. Но почему мать назвала гостью Кристиной, а не тетей Кристиной?

Мать проводила Кристину в ее комнату наверху, горничная стала убирать со стола. Оставшись один, Вилфред почувствовал себя гораздо более одиноким, чем ему хотелось в этот день. Он вышел в сад и побрел по тропинке вниз к старому колодцу – его ветхая крашенная коричневой краской пирамида маячила позади белесоватой осинової роци.

Вот тут Вилфред и понял, что происходило за завтраком, понял, как менялась все время Кристина. В ту минуту, когда у белой изгороди мать раскрыла ей навстречу объятия, она

стала «тетей» Кристиной, той дамой, какой она была, когда пароход пришвартовался к берегу. Но потом, когда Вилфред подал ей повидло и поджаренную булочку и они на секунду встретились взглядом, она перестала быть «дамой» и стала «женщиной», предметом дерзких грез, которые не оставляли его с той минуты, когда, очнувшись холодным утром на камнях Блосена, он принял важное решение – самоутвердиться, не оставляли и теперь, когда под предлогом того, что он собирает растения для гербария, он в одиночку бродил по Сковлю, чтобы уклониться от шумных игр в кругу детей и молодежи в первые буйные дни каникул. Для многих его сверстников в эти дни жизнь как бы возрождалась вновь после перерыва. Зимой в городе они не виделись друг с другом, но здесь встречались каждое лето, и теперь им казалось, что не было ни школы, ни зимы. Это ощущение объединяло их всех.

Но порой, когда они поверяли друг другу какие-то пустячные секреты, накопившиеся с прошлой осени, Вилфреда охватывало чувство, что он чужой среди своих сверстников и даже тех, кто постарше. Он был чужд их неведенью, их ребяческим школьным проделкам и невинным порокам. Раньше он этого не понимал. А теперь он смутно чувствовал, в чем дело: нынешнее лето ознаменовано тем, что он принял решение, которое навсегда преобразит его, окончательно сформировав в нем

новую личность. Заикнись кто-нибудь об этом в присутствии его приятелей, это привело бы их в ужас.

Теперь Вилфред мог видеть мать и Кристину из сада: они вдвоем стояли у большого окна на втором этаже. Его отделяло от них больше ста метров, и он видел тетю Кристину. А по другую сторону высокой изгороди раздавались голоса его товарищей – звонче всех звучал голос резвой и серьезной Эрны. Что-то кольнуло Вилфреда в сердце. Так случалось всегда в присутствии Эрны. С той поры как они вместе играли детьми, каждое лето между ними «что-то было», – было, но ничем не стало, детская влюбленность, которая прежде забавляла Вилфреда, но за последние несколько недель превратилась вдруг во что-то более требовательное. Он осторожно подкрался к живой изгороди и раздвинул листья вяза. Эрна стояла в кругу молодежи, раздумывая, оживленная, в чистеньком голубом платице до колен. «Ребенок», – подумал он. И в ту же минуту в первый раз, хотя видел ее каждый день эти три недели, Вилфред заметил, что она вовсе не такое дитя, как он предполагал. И он вспомнил взгляд, которым она смерила его, когда они встретились первый раз в этом году, – оценивающий взгляд с головы до ног вроде тех, какие нынешней весной бросала на него мать...

Молодежь собиралась на острова на двух лодках. Возьмут с собой завтрак, будут купаться, собирать птичьи перья и захватят острова – это была ежегодная игра, в которую они нарочно вносили драматизм, делая вид, будто кто-то мешает мореплавателям, прибывшим на двух невинных белых лодчонках с провиантом: корзинками с едой и фляжками с соком, – высадиться на двух голых скалистых островах во фьорде.

И снова укол в сердце. Вилфреду захотелось окликнуть своих сверстников, выйти к ним на дорожку, по обе стороны которой тянулся газон, аккуратно выложенный по краям белыми раковинами; он хотел крикнуть, что поедет с ними.

– Надо зайти за Вилфредом, – предложил кто-то из мальчишек.

Но Эрна, надув губки, возразила:

– Да ведь к нему приехала эта его тетя...

Она сказала «тетя» таким тоном... Неужели Вилфред выдал себя? И неужели эти «женщины» – мать и маленькая девчонка Эрна – настолько наблюдательны и подозрительны? А может, в них просто говорит инстинкт или как это там называется... Неужели они улавливают неуловимую связь, тайную даже для самого Вилфреда, тайную

настолько, что, пожалуй, он еще и не осознал ее, во всяком случае той частью своего сознания, которая принадлежит будничной действительности! Ведь даже наедине с собой Вилфред не связывал принятое им решение и томившее его желание и себя самого, каким он был в реальной жизни. Даже самому себе он не признавался в том, что герой его мечтаний – он сам, что это ему суждено пережить упоительные и стыдные минуты. Если голова его и была дни и ночи напролет занята этими мыслями, то так, словно речь шла о ком-то другом.

Вилфред почувствовал прилив нежности и раздражения одновременно. Он выпустил из рук ветки вяза и оглянулся на дом. В окне уже никого не было. Молодые голоса по ту сторону изгороди тоже стали удаляться по направлению к морю и лодкам.

Он встал с колен. Ну так что ж! Разве не к этому он стремился – быть одиноким, быть тем, кого никто не знает? Но он вдруг почувствовал, что перестать быть ребенком больно, ведь он не принадлежал еще и к взрослым. Что же делать? Надо ли вообще принадлежать к какому-то кругу? Или просто надо быть самим собой...

В приливе внезапной самоуверенности Вилфред повернул обратно к дому. Он будет услужлив и неуязвим. Именно в такие минуты, когда он хладнокровно и быстро принимал решения, ему сопутствовала удача. А в минуты слабости все шло прахом... Идя к дому какой-то новой для себя, плавной походкой, неестественно подняв голову, он вдруг вспомнил обо всем, что произошло этой весной, о заметках в газетах, которые появились вскоре после истории с «поджогом», о статье в «Моргенбладет», автор которой сокрушался о малолетних преступниках: увы, зачастую это дети из обеспеченных семей, которые ведут сомнительную ночную жизнь. Автор писал о новых веяниях времени и о том, что «полиция напала на след».

Вилфред засмеялся, вздернув подбородок: так или иначе это не его след. Скорее всего, это след каких-нибудь маленьких хвастунишек, которые в потемках шушукуются на углах. Но это не его след. Обстоятельства играли Вилфреду на руку. Чернобородому коротышке полицейскому не обнаружить Вилфреда с помощью всех своих «следов». Полиция сцапает каких-нибудь мальчишек из бедных кварталов, которые ходят в народную школу, или глупых озорников из приличных семей, которые, набедокурив ради забавы, не умеют держать язык за зубами.

Вилфред стал быстро рвать цветы в той части сада, которой не касалась рука садовника и которая была предназначена для детских игр и беготни. Он рвал все, что попадалось под руку: клевер, златоцвет и одуванчики; лютики и дикий лен довершали эту пеструю смесь – воплощение детского восторга.

– Алло! – весело окликнул он дам, которые в эту минуту появились на веранде. Он помчался вверх по лестнице и, когда запыхавшись, взбежал на второй этаж, почувствовал, что у него «сияющее» лицо.

– Тете с приездом! – И Вилфред почтительно протянул ей букет. И поймал взгляд матери. В нем не осталось и следа раздражения, ее глаза говорили сыну: «Мой хороший, умный мальчик». И тут же заметил взгляд Кристины, говоривший совсем другое. Она опять стала Кристиной, а не тетей Кристиной, хотя стояла бок о бок с матерью, принимая от него букет, и, как ему показалось, вспыхнула. Он заметил, что у нее через руку перекинут темно-красный купальный костюм.

Купальня была тем самым местом, где в это лето, напоенное мучительным желанием, казалось, может случиться все. Купальня с ее теплым и влажным воздухом, в котором смешались запахи прогретого солнцем дерева и морской воды. Здесь от всего веяло тайной, даже от стен, покрытых разводами стершейся краски, и от ветвей деревьев, которые складывались в какие-то манящие и запретные узоры, даже от насмешливо подмигивающего овального зеркала в зеленой раме, от пятнистого зеркального стекла, которое искажало и

уродовало лица, – от всего веяло чем-то зловещим и соблазнительным, чего Вилфред прежде не замечал. Тревожный мерцающий зеленый свет на дне, где Вилфред когда-то пережил минуты позора... Морская трава, пробивающаяся между балками, вечно движущаяся, завлекающая и засасывающая... Все горячило в нем кровь. Узенькая скамейка, покрытая клеенкой, которая обжигает холодом и где можно растянуться после купанья, подстелив мохнатое полотенце. Все таило в себе возможность неожиданностей. Мечты и надежды на неожиданность, сливаясь воедино, теперь постоянно воспаляли и томили его. А цветные стекла из красных, зеленых, синих и пронзительно желтых квадратов! Как страшно и упоительно смотреть сквозь них на берег и на скалы, видеть, как они меняют окраску в зависимости от того, через какое стекло ты смотришь, переходя от пламенно-красного к приглушающему синему, потом к прохладному зеленому... и вдруг прыжок к темно-желтому с его предгрозовой окраской, которая сковывает страхом каждую клеточку твоего тела. И тогда ты глядишь в обыкновенное стекло, и вся природа становится вдруг безопасной и глупой, как будни.

Когда Кристина купалась, Вилфред бродил вокруг. Он не подглядывал, подглядывать было бессмысленно: Кристина погружалась в воду у самого выхода из купальни, и даже плечи ее были прикрыты темно-красной тканью купальника, а волосы шапочкой... В платье и то она казалась менее одетой. Но зато какое блаженство стоять за скалой возле купальни и знать, что она там, внутри. А потом смело шагнуть к купальне, рвануть дверь и увидеть ее: белую, мягкую, обнаженную, и тогда... Каких только вариантов не предлагала ему фантазия: улыбка, раскрытые объятия, груди, плоть... Или испуганный крик, руки, которые стараются прикрыть наготу. А не то притворный гнев, возмущение, которое он должен победить... А с его стороны наигранная робость, а может, даже удивление, будто он и не подозревал, что она там, восторг и растерянность оттого, что она так прекрасна, или, наоборот, слепой натиск, грубость, насилие!

Все было возможно, могло стать возможным! Но главное, главное – то единственное, то неслыханное, что все завершит и все преобразит.

Кристина всегда купалась в одиночестве. Мать жаловалась на ревматические боли, но на самом деле она просто не умела плавать. Вилфреду было ее жалко – вообще она любила плескаться возле купальни. Но жалость вытесняло темное блаженство, наполнявшее его, когда он предавался своим мечтам... А может, наоборот, в купальне будет он. Она придет, а он будет стоять там посреди купальни, и она увидит его в том возбуждении, в каком он находился теперь почти всегда. Он возникнет перед ней – неожиданная и гротескная непристойность, и она испугается, а может, что еще лучше, на мгновение лишится чувств, и тогда он бросится на нее, сорвет с нее одежду, свободное летнее платье с пуговичками, обтянутыми материей, у выреза на спине. Он однажды дотронулся до них и знает, как их надо расстегивать... А то еще лучше: она застынет на месте, скользнув по нему взглядом, все поймет и лишится воли перед лицом этого детского желания, которое напугает ее и в то же время докажет ей, что он уже не ребенок.

Но была еще другая Кристина, непохожая на созданный его воображением белоснежный образ в душном сумраке купальни. Была еще Кристина-девочка, та, которая плакала на ступеньках лестницы, выходящей к морю. И к этой Кристине он испытывал прилив нежной и безгрешной любви, преданности, готовности утешить и по-мужски защитить от житейских невзгод. Он находил для нее тысячи слов. Слов заимствованных и непосредственных, тех, что он вычитал, и тех, что сами просились на язык, полные утешения, мудрости и рыцарской нежности к тому, кто слабее и кто страждет.

Образ такой Кристины тоже иногда возникал в нем, а иногда иной, женщины в полном расцвете сил, но и тогда она не была «тетей» Кристиной, а просто женщиной, беззащитной, с которой жизнь порой обходилась жестоко, но которую Вилфред готов взять под свое крыло, мужественное и ласковое. А между этими Кристинами было еще множество других Кристин,

так же как и в нем самом жила смесь разных людей: насильника, любовника, старшего брата, даже опекуна и супруга. И были в нем бесконечные переходы от одного состояния к другому, соответствующие сменам ее образа и сменам ситуаций, настолько разнообразных, что всех дней и ночей в мире не хватило бы на то, чтобы перебрать их в мечтах.

Воздух был напоен словами, теми, что Вилфред не мог ей высказать.

Он протягивал ей через стол салатницу, и простое «пожалуйста» застревало у него в горле. После обеда он бродил в саду под деревьями, вновь упиваясь словами народных песен, таинственных и волнующих, смысл которых наполовину от него ускользал.

У Скамелля пять сыновей.

О жизни их неправой

Среди соседей богача

Идет худая слава.

Что-то нравилось ему в этих строчках, в не совсем понятной «жизни их неправой», в грозном и мрачном «идет худая слава». А когда он, томясь, кружил вокруг купальни, зная, что Кристина находится внутри, другие строки из песни об Эббе, сыне Скамелля, упрямо и навязчиво напоминали о себе.

За облаками спит луна,

А Эббе все не спится.

Идет он к йомфру Люсьелиль,

Идет в ее светлицу [[4]].

Это имя, Люсьелиль, завораживало Вилфреда своим звучанием, Люсьелиль – это Кристина, которую он будет защищать, и та, которой он насильно овладеет в светлице или в купальне.

Она была его Люсьелиль! Вилфред бродил, твердя это певучее имя. У имени был привкус меда и ванильного крема, от него рождалось такое же чувство, как когда смотришь сквозь красное стекло! Вилфред убаюкивал себя им, засыпал в нем, как в мелодии, сотканной из сплетенных лиан, и пробуждался с ним, и тогда оно звучало, как призывная фанфара. В этом имени был драматизм, воображение подхлестывало этим именем образ Кристины, и он становился кровавым, зловещим, трагическим.

В лесу Вилфред встретил Эрну. На ней было голубое платье, прохладное, как колосья овса, от него пахло стиркой и юным телом. Его поразили этот контраст. После царства пламенно-красного на него повеяло свежестью голубизны.

Она сказала:

– Ты теперь совсем не приходишь к нам.

Они стояли, почти касаясь друг друга, в пронизанном светом лесу, где тропинки круто сбегали вниз к морю. И от близости Эрны ему вдруг захотелось вырваться из плена желания и необузданных мечтаний.

Она сказала:

– Из-за этой твоей тети...

Оба стояли, расшвыривая ногами сучья и хворост. Вилфреду вдруг стало стыдно. Почему она сказала «тетя»? Что это за дар у женщин, у матери, у Эрны (одна – дама уже не первой молодости, другая – девчонка), что это за дар угадывать то, в чем ты сам себе не признаешься до конца, хотя это наполняет твою жизнь? И снова ему пришло на память слово «инстинкт».

Она сказала:

– Мы могли бы вместе поехать на острова...

– Мы? – неопределенно переспросил он. – Всей компанией?

– Мы, – повторила она. Разговор не клеился. И вдруг она заплакала.

– Что с тобой, Эрна? Отчего ты плачешь?

Она отвернулась от него и пошла прочь. Он стал подыматься следом за ней по крутой тропинке. Спокойная влюбленность, повторявшаяся из лета в лето, вдруг, как бы накопившись за много лет, слилась в огромную волну сострадания, стыда, удивления и вины. Это не было предусмотрено планами Вилфреда и застигло его врасплох. Освященный лес вокруг стал вдруг тем, чем он был на самом деле, а между стволами блестело море и пахло хвоей, муравьями и горным пастбищем. Чары развеялись.

Они очутились возле старинного, сложенного из камня стола. Это была ничейная земля на границе двух частных владений.

Эрна села на деревянную скамью у стола. Вилфред не решился сесть рядом с ней и, обогнув стол кругом, опустился на высокий пень, нечто вроде табурета, как раз напротив нее. На темном столе валялись маленькие острые камешки. Дети использовали их вместо грифелей, когда играли на этом столе в «крестики и нолики». А лучшей доски, чем этот стол, вообще было не сыскать.

Эрна не смотрела на Вилфреда и что-то чертила на столе острым камешком. Он тоже взял в руки маленький камешек. Казалось, между ними возник молчаливый уговор. Почти не сознавая, что он делает, он нацарапал: «Я люблю». Он сам не знал, что при этом имел в виду, и сидел, уставившись в написанные им слова.

И вдруг она подняла на него блестящие глаза.

– Я написала три слова, – сказала она, заслонив свою надпись левой рукой.

– Я тоже! – сказал он и быстро дописал: «Эрну», – делая вид, будто просто обводит какое-то слово еще раз.

– А можно я посмотрю, что ты написал?

– Можно, если ты покажешь, что написала ты...

Они медленно встали и обменялись местами. Каждый обошел стол вокруг, не спуская глаз с

другого. Оба одновременно остановились и склонились над столом.

– Вилфред! – простонала Эрна и побежала ему навстречу вокруг стола. Они упали друг другу в объятия неожиданно для самих себя и застыли, прижавшись друг к другу. Он провел губами по чистым, как лен, девичьим волосам, и его рот наполнился ароматом голубизны. Ни один не смел отстранить голову, губы каждого медленно ползли по щеке другого, пока не встретились в поцелуе. Ее губы были чуть жестковатые, шершавые и соленые от морской воды. Это был поцелуй, который не имел развития и продолжения, это просто была минута, к которой они стремились через все летние месяцы, проведенные вместе. Ни тело, ни руки не участвовали в поцелуе, только губы слились.

Так же внезапно они отстранились друг от друга и замерли в смущении. Потом снова оба разом посмотрели на стол: теперь каждый мог видеть обе надписи одновременно. Они снова неловко рванулись друг к другу, но не обнялись, а просто стояли близко-близко, ее макушка касалась его подбородка.

– Это правда? – выдохнула она. – Правда, что ты любишь меня?

А он выдохнул в ответ:

– Правда, что ты любишь меня?

И оба в один голос начали повторять: «Правда! Правда!» – пока слова вообще не утратили всякий смысл, и оба замолчали, смущенно и счастливо улыбаясь. Она спросила:

– Значит, мы помолвлены?

Слово вызвало трепет в его душе, неожиданный, пронзительный.

– Да, мы помолвлены, – решительно сказал он и снова устремился к ней. Но она отошла в сторону и торжественно сложила загорелые шершавые от соли девичьи ладони.

– Благодарю тебя, боже! – тихо сказала она.

– Почему ты благодаришь бога?

Обернувшись к нему всем корпусом, она ответила:

– Потому что об этом я молила бога с того лета, когда мы встретились здесь с тобой в первый раз.

Чудовищная невинность!.. Рука в руку они молча обошли маленькую лужайку вокруг стола. Они почти не глядели друг на друга, они смотрели на море, сверкавшее между вершинами невысоких сосен на склоне холма, смотрели на короткую торчащую травку, по которой они брели, смотрели на свои ноги, ступавшие по этой травке. Их счастье было таким полным, что они не осмеливались говорить о нем, а обменивались редкими словами о каких-то посторонних мелочах. Они были так погружены в свое счастье, что только изредка позволяли себе какое-нибудь сдержанное проявление нежности: прижаться лбом ко лбу, осторожно провести рукой по волосам. Все для них было полно ожидания. Они были всемогущи, могли ждать, ждать всего от жизни, которая простиралась перед ними, долгая и бесконечная.

Принудительная невинность! В них пело воспоминание обо всех минувших летних месяцах. В них пело детство. Оно окрасило их любовь в светло-голубой цвет и держало их души в сладком плену. В этом раю они резвились когда-то, здесь играли в классы, чертя подошвами по непокорной траве. Теперь этот рай возродился вновь. И если в этом раю и жил змей, он в страхе притаился где-то поодаль, в стороне от светлой лужайки, по которой они бродили – двое детей, рука в руку, душа в душу.

Недолговечная невинность... Точно их притягивал магнит, кружили они вокруг стола и вдруг одновременно остановились и увидели, что они написали. Оба почувствовали прилив стыдливой гордости от собственной отваги. И когда их взгляды вновь встретились над столом, оба залились жарким румянцем: только в эту минуту их слова стали правдой, признание стало полным, стало опасным...

Обманчивая невинность!

Крадучись, приблизились они теперь друг к другу не с открытым, бесплотным объятием, как в первый раз, а пламенея внутренним жаром. И теперь их ноги, руки, губы слились не в прежнем неумелом порыве: то, что было лишено плоти, вдруг обрело плоть и заполнилось ею настолько, что все поплыло перед их глазами, и они упали на жесткую траву.

– Нет, нет! – прошептал он, не разжимая объятий.

– Да, да! – простонала она, прижимая его к своему худенькому девичьему телу. Все испуганные змеи плотоядно выглянули из райских кущей, вытянув свои жала.

Мгновение – и оба одновременно выпустили друг друга из объятий, точно повинувшись общей воле. Теперь они, задыхаясь, стояли рядом и глядели друг другу в глаза без стыда, но не без страха, полные новым признанием, которое изменило все. И когда они снова побрели по тропинке, они уже не взялись за руки. Теперь на каждой клеточке их трепещущих тел громадными буквами было написано: «Не трогать – смертельно!» Теперь они, задыхаясь, спускались по узкой тропинке, и, стоило им случайно задеть друг друга пальцами или локтем, их прикосновение высекало искры, от которых мог загореться весь окружающий лес.

Они простились у ее калитки. Летний день подернулся тонкой дымкой, поднимающейся с моря. Бледные сумерки начали подкрадываться к фруктовым деревьям и ягодным кустам. Они простились, обменявшись робким взглядом, полным взаимных обещаний.

На обратном пути к дому Вилфред вдруг вспомнил о словах, нацарапанных на столе, которые выдавали их тайну. Они разглашали их удивительную, новую тайну всему миру. Он вернулся в лес, чтобы стереть их. В сосновом лесу быстро сгущались сумерки, и море уже не поблескивало так весело между верхушками деревьев. Поднявшись наверх по тропинке, он услышал, что кто-то спускается ему навстречу. Он опустил было голову и хотел незаметно юркнуть мимо, но что-то в звуке шагов заставило его посмотреть вверх.

– Тетя Кристина!

Он хотел произнести эти слова самым непринужденным тоном, но еле выговорил их.

– Добрый вечер, мой мальчик, – спокойно ответила тетя Кристина. Они остановились друг перед другом, она стояла чуть выше, так что он снова почувствовал себя перед ней ребенком. – Ты не проводишь меня до дому?

Он посмотрел на нее в полной растерянности, не зная, что делать.

– Мне надо в лес, я там кое-что забыл, – пробормотал он, запинаясь. И быстро стал подниматься по тропинке, не дожидаясь ее ответа. Она продолжала медленно спускаться вниз, что-то напевая. «Будто знает какую-то тайну», – подумал он.

Когда он поднялся на лужайку, где стоял стол, надписи по обе стороны стола были стерты. Остались только два еще влажных пятна.

В душе Вилфреда буйно расцветало смятение. Он попался. Хуже того: его тайна не принадлежит больше ему одному. И главное – нет у него уверенности в том, что эта тайна – правда. Еще совсем недавно это была правда – ликующая, мучительная, перехлестывающая через край правда. Но увиденная глазами Кристины любовь к Эрне стала казаться ошибкой ему самому.

Этого не мог сделать никто другой. Она ведь шла как раз отсюда, привлеченная к каменному столу – чем? Инстинкт, тяга к выведыванию правды, желание свести на нет то, что подернуто позолотой тайны.

Ведь были же на каменном столе две надписи.

Вилфред стоял, растерянно склонившись над столом, ни в чем больше не уверенный. Он пригнулся совсем низко к одному из влажных пятен и различил тончайший след трех чудовищных слов, нацарапанных его собственной рукой. В эту минуту они были лишены для него всякого смысла, да и Эрна больше не была реальным существом. Прозрачный лес оделся серебристо-серыми сумерками, и море уже не подмигивало ему, весело улыбаясь, а тускло отсвечивало, как шифер.

Вилфред с трудом перевел дыхание и застонал. А потом большими скачками помчался вниз в отчаянной надежде нагнать Кристину, прежде чем она дойдет до ограды, откуда начинается дорога. От ограды до дома рукой подать, и он не успеет объясниться с нею. И вдруг он увидел перед собой на тропинке светлое платье. Что такое? Неужели он так недолго пробыл наверху, у каменного стола? Или это она шла так медленно? И что вообще он должен ей объяснять – ведь она даже не подозревает о той тайне, которая связывает его с нею самой!

И тут он понял, что она знает, что он идет следом за ней. Она не могла слышать его шагов – он бежал совсем бесшумно в легких спортивных тапочках. Но она все время знала, где он находится, ощущала это спиной.

И вдруг Вилфред почувствовал, что его губы растягиваются в улыбку. Его охватила странная самоуверенность.

– Ау, тетя! – окликнул он, доверчиво продев руку под ее локоть. Она не вздрогнула, она даже не утруждала себя притворством. – А что, если мы с тобой пойдем чудесной дальней дорогой вдоль берега, пока еще не совсем стемнело?

Показалось ему или нет, что ее рука трепещет в его руке? Он не стал додумывать эту мысль до конца, ему не хотелось рисковать тем ощущением непобедимости, которое овладело им. Кристина покорно подчинилась его руке, которая, чуть сжимая ее локоть, вела женщину по тропинке, так густо заросшей осиной и ольшаником, что они образовали спускающийся к морю туннель. Что заставляет их идти так близко друг к другу, только ли то, что тропинка в этом месте так узка? Но эти вопросы смутно маячили где-то вдали. Вилфред не мог позволить им подступиться к себе и поколебать вновь обретенный покой. Каждый шаг был начинен взрывчаткой. Медленно, легкой походкой, нога в ногу шли они к морю, манившему их тихим предвечерним шепотом.

В каждом мире таился еще мир, и в одном из них были он и она. Все миры сплелись в каком-то странном единстве. Но главным и неповторимым был тот, где находились они.

Кто из них остановился – она сама или это он ее остановил? Еще несколько шагов, и они спустятся к морю, а там будет уже поздно. И вдруг они оказались лицом к лицу: они были одного роста, глаза смотрели прямо в глаза. Он взял ее голову в свои ладони и вдруг почувствовал во всем теле такую слабость, точно тело неожиданно стало таять.

– Ты гадкий мальчик, – тихо сказала она.

– Да, – прошептал он.

– Очень гадкий мальчик.

– Да.

Их лица не касались друг друга, только губы осторожно сблизились и прижались друг к другу нежно и властно. Потом губы у обоих одновременно вдруг обмякли и разжались.

– Очень гадкий мальчик, – повторила она, после того как они постояли с минуту, переводя дух.

– Да, – опять прошептал он. И на этом «да» она поцеловала его открытые губы губами, тоже медленно открывшимися в поцелуе.

– Очень, очень гадкий!

– Да! Да!

– Гадкий!

– Да!

– Гадкий, глупый мальчик!

Он снова прижался губами к ее губам как раз на слове «глупый», раздвинув губы в открытом «а» в ответ на ее призывное «у».

– Глупый...

Ее губы были растянуты в звуке «ы», когда он произнес свое «у», точно вонзив кинжал в ее улыбку. Каждая клеточка их тела жила в этом поцелуе, который завладел всем их существом, подчиняя себе. Но его онемевшие руки неумело прокладывали себе дорогу в панцире ее одежды. Еще немного, и его неопытный организм не выдержит ожидания. Испуганно дрожа, он чувствовал, что минута упущена. А она не помогала ему, только шептала какие-то невнятные слова в последнем порывистом объятии, в котором вдруг разрешилось все, и Вилфреда охватила бесконечная усталость.

И в ту же минуту она отстранила его от себя, вся дрожа. От ее взгляда вдруг повеяло холодом, влажный рот обмяк. В эту минуту она казалась такой одинокой и беспомощной, что, оправившись от трепетного смущения, он вновь рванулся к ней. Он сам не понимал зачем – было ли это стремление к новой примирительной ласке, была ли это жалость к ней, а может, и к самому себе, или дуновение вновь пробуждающегося желания?.. Но она подняла руку и шлепнула его по щеке довольно сильно – это была почти пощечина. И потом стала быстро подниматься под листовенным навесом по тропинке вверх, все быстрее и быстрее, пока наконец не пустилась почти бегом... Она ни разу не обернулась.

И вдруг дурман рассеялся – осталось одно только детское недоумение. Он медленно спустился по тропинке к морю, перебрался через скалистый уступ на отмель, заросшую водорослями, и пошел вброд по воде, которая накатывала на него прохладными волнами, пока не стало так глубоко, что он поплыл, как был, в одежде. Он выбрался на сушу на одном из островков в шхерах и вытянулся на пригретой солнцем скале, обращенной в сторону, противоположную берегу. Там его никто не мог видеть. Мысль, что кто-нибудь его увидит, была для него невыносима. Он был слишком на виду, слишком прозрачен. Но даже здесь ему казалось, что чьи-то глаза следят за ним. Сбросив тапки, он связал их шнурками, повесил на

шею и снова пустился вплавь, подальше от всего, что пыталось проникнуть любопытным взглядом в пространство, лишенное покрова тайны.

А потом он лежал на мысу, под маяком, в последних лучах вечернего солнца, разложив рядом с собой одежду и ожидая, чтобы она просохла и чтобы что-то изменилось в его душе и в окружающем мире. Но ничто не изменялось, и одежда не просыхала. Солнце уже утратило свою мощь, как и он свою. Он сидел под скалой, окруженный миром, который, казалось, на глазах убывал, становясь чем-то студенистым и расплывчатым. Он не чувствовал стыда, не искал оправданий, которые мало-помалу могли бы его утешить. Он не испытывал ни печали, ни радости. Он был открыт, беззащитен и от этого опустошен; и нет у него больше тайны, которую надо оберегать от чужих глаз, втихомолку наслаждаясь ею.

– Да это никак Вилфред?

Он в испуге вскочил. Голос раздавался с моря. Это была мадам Фрисаксен в своей лодке. Несколько раз в неделю она проверяла три фонаря маяка. Ее весла всегда были обмотаны чем-то вроде шерстяных манжет. Соседи прозвали их напульсниками мадам Фрисаксен. Говорили, что, с тех пор как ее муж утонул, она не может слышать скрип весел в уключинах. Она обратила к Вилфреду загорелое лицо в паутине морщинок, вспыхнувшее ярким пламенем в красном вечернем солнце.

– Я испугала тебя? – добродушно спросила она.

На секунду он почувствовал себя хозяином положения из-за своей наготы.

– Извините, фру Фрисаксен, – вежливо сказал он, слегка поклонившись. – Моя одежда промокла, я голый. – Но он и не подумал нагнуться, чтобы подобрать одежду с земли.

– Меня тебе стесняться нечего, – ласково сказала фру Фрисаксен. Она посмотрела на фонарь, который бросал свои бледные лучи сквозь шесть стеклянных граней, но не стала причаливать к берегу, а просто опустила весла, и ее лодка чуть покачивалась на волнах. Он заметил, что на кормовой банке лежат рыболовные снасти. И вдруг фру Фрисаксен в своей белой лодочке, на которой играли отблески вечернего солнца, показалась ему воплощением покоя и устойчивости, всего того, в чем не было места страху или желанию.

– Пожалуй, я еще успею выловить мерлана, пока солнце не село, – сказала она все тем же ровным суховатым голосом. – Передай привет своим.

– Спасибо, фру Фрисаксен. До свиданья, – вежливо ответил он, на этот раз нагнувшись, чтобы подобрать одежду и не стоять перед ней нагишом в лучах заходящего солнца. Ему показалось, что иначе это будет выглядеть как подчеркнуто грубая выходка.

Ее лодочка бесшумно заскользила прочь, к тому месту, где ловились мерланы, – оно находилось на траверзе мыса между маяком и маленькими островами. Неподалеку от островков и брал мерлан. Фру Фрисаксен была непоколебимо уверена в этом. Под вечер в дождливую погоду рыба кишела повсюду и брала на любую приманку, но в ясные солнечные летние вечера она брала только там. Вилфред смотрел, как фру Фрисаксен облюбовывала место, потом остановилась, бросила якорь, насадила наживку на крючок и опустила его в воду. В каждом ее движении сквозила какая-то счастливая доверчивость, уверенность в том, что в мире существует порядок. Вилфред никогда прежде не задумывался об этом, просто глядел на нее, как на картину – женщина в лодке.

И все-таки изменилось в нем что-то или нет?

Интересно, тетя Кристина... Чувствует ли она то же, что и он? Или нечто подобное... то, что они оба чувствовали... что должно было случиться, могло случиться... Изменилось что-то или

нет? Верно ли, что она не сердится, не огорчена, не смущена и ей не стыдно, а просто у них обоих появилась общая тайна, глубочайшая тайна, которая соединила их настолько близко, что получается все равно как если бы тайной владел один человек. А может, это еще лучше, чем владеть тайной в одиночку? Ведь когда у Вилфреда появится великая тайна, он все равно будет делить ее с кем-то еще – с другим, с другой. В этом-то и состоит величие тайны, что в ней участвуют двое. Двое! Мы! Слово звучало в нем, как песня, как заклинание, он все время повторял: «Мы!» – сочетание двух звуков, между которыми существовала какая-то таинственная связь. Об этом он тоже никогда прежде не думал, о том, что слово «мы» состоит как раз из двух звуков. Плотное смыкающее губы «м» как бы растворяется в протяжном «ы». А в слове «три» – как раз три звука, три буквы, сочетание, в котором третий лишний, буква «р» посередине слова как бы вторглась между двумя другими и подглядывает. Э-р-на! И опять, возбуждаясь все больше и больше, он повторил слово «мы», которое стало для него символом встречи двух полов. «Мы! Мы!» – повторял он по два раза подряд. Магия звуков, которая лишь смутно вырисовывалась в непонятных стихах, теперь стала для него открытием целого мира. Ему хотелось колдовством превратить слова в поступки и поступки в слова и тем самым полнее ощутить и те и другие. Говорить означало действовать. Мы! Двое!

Теперь он видел фру Фрисаксен в чуть-чуть ином свете. Она была освещена лучом умирающего солнца. Маленькая женщина в золотой чаше. Он видел, как она вытянула на борт лодки сверкающего мерлана. Она была одна, совсем одна, спокойная, но одинокая отшельница в лодке. Вилфред стал натягивать на себя еще влажную одежду, прикосновения которой он так страшился, но оно неожиданно доставило ему еще одно приятное ощущение. Одевшись и натянув на себя влажные тапочки, он с чувством превосходства помахал одинокой женщине в лодке. Она помахала ему в ответ и тоже с торжеством подняла вверх рыбу. Тогда он беззвучно захолопал в ладоши, размашисто двигая руками, чтобы она увидела, что он аплодирует. Она благодарно кивнула ему. Он повернулся и пошел в глубь берега, повторяя удивительное слово, которое вновь обдало его тело жаркой волной сладкого томления:

–

Мы! Мы!

– Ты, кажется, флиртуешь с фру Фрисаксен?

На этот раз он не вздрогнул. Это был голос матери. Он доносился к морю со стороны скал, со стороны так называемого бастиона, где мать любила гулять одна. Он улыбнулся ей с наигранной самоуверенностью.

– Где ты был, мой мальчик?

Летний вечер и голос слились в одно. Закат – мать... Он обежал глубокую впадину, где играл ребенком («ребенком, ребенком!»), вдруг обрадованный тем, что может утешить кого-то, кто бродит в одиночестве, утешить женщину, которую он любит.

– Но ты весь мокрый! Ты упал в воду?.. Я тебя не видела целый вечер. Где ты пропадал?

– А ты? – ответил он вопросом на вопрос. Он вложил в свой вопрос то мягкое умиротворение, каким был окрашен вечер, это был ненавязчивый, заботливый вопрос, ласка, перед которой она не сможет устоять. – Где ты пропадала целый день?

Он знал, что она не устоит.

– Как это целый день! – возразила она. – Да ведь еще в полдень...

Он это знал. Знал, что заставит ее перейти от нападения к обороне. Но он вовсе не

собирался ее обманывать. Ему просто не хотелось, чтобы она его допрашивала. И тут же он почувствовал, что она не намерена его допрашивать. Она спросила по привычке, потому что соскучилась без него. Он обнял ее и сам заметил, что нарочно старается делать это не слишком умело.

– Мама, я тебя люблю!

– Как давно это было! – тихо сказала она.

– Что было давно?

– Все! Как давно ты мне этого не говорил!

Они вместе поднялись по усыпанной гравием дорожке, ведущей к дому, прочь от моря, от заката, от фру Фрисаксен.

– Тетя Кристина уже легла, – небрежно заметила она.

Не слишком ли небрежно? Откуда в нем эта вечная подозрительность? И тут же ответил себе: от его собственной нечистой совести.

– А я все-таки еще немного выше тебя, – сказала она смеясь. – Хочешь, померимся по всем правилам?

В тусклом сумеречном свете они стали спиной друг к другу, прижав макушки ладонями. Но они никак не могли прийти к соглашению, кто же все-таки выше, и стали в шутку ссориться.

– Позовем Кристину, пусть она нас рассудит, – предложил Вилфред.

Он заметил, что мать на мгновение как бы поникла.

– Тетя уже легла, – сказала она, понизив голос. – Не надо никого будить.

Они подошли к дому обнявшись – Вилфред испытывал при этом опять какое-то новое чувство счастья. Оно было плотским, но лишено того тревожного томления, какое теперь постоянно владело им. Ее волосы на каждом шагу щекотали его щеку. Они шли, точно старая любящая пара, охваченные безмятежным будничным покоем, который не хочет знать никаких страстей. Они шли к дому, а он все время видел мать перед собой: как она беспокойно бродит вокруг бастиона, где она вечно бродила тогда, когда он был маленьким, боясь за него, потому что он еще не умел плавать, и на берегу ей мерещились всякие опасности – она была начисто лишена тяги к морю. «Я люблю ее!» – пело в нем. И воспоминание об Эрне всплыло перед ним, О ее жестких губах. Потом вспомнился город: пламя за темным амбаром в ночной тьме, одинокое бегство во мраке – все это разом всплыло, как неприятное напоминание о том, что все эти вещи сосуществуют во времени. В комнате тети Кристины горел свет, приглушенный темно-синими занавесями. Разные миры сосуществовали в одном мире, и Вилфред понимал, что надо уметь сохранять границы между ними. В каждом мире должна быть своя тайна. Она должна быть невыдуманной тайной и принадлежать ему одному.

– Мама, – окликнул он. – Мама!

– Наверное, это трудно, – вдруг сказала она.

Он сделал вид, будто не слышит.

– А что, если мы с тобой съедим по кусочку рыбы, которая осталась от обеда?

Она бросила на него радостный взгляд – материнский взгляд, обращенный к сыну, который

вот-вот ускользнет от нее.

– Ты проголодался?

– Еще как!.. А ты можешь выпить рюмку «Либфраумильх». – Он сказал это наудачу, по вдохновению.

– А ты?

– Я выпью молока. Сейчас я все принесу.

– Да, но откупоривать бутылку ради меня одной...

Теперь она была в его власти. Он подумал об этом без всякого торжества, а просто с любовью.

– Я открою ее так, что не будет заметно. А кроме того, для очистки совести ты можешь налить рюмку и мне.

Да, теперь она была в его власти. И когда он склонился над ящиком со льдом, в котором стоял смешанный запах свежего льда, старого цинка и замороженного мяса, лежавшего на коротких досках, точно мосты, переброшенных поверх льдин, и увидел одну-единственную золотистую бутылку, покоящуюся на льду, как высший соблазн, предназначенный специально для этого вечера, он быстро и властно подумал о Кристине.

«Сойди вниз, – мысленно приказал он. – Сойди вниз и в одно мгновение разрушь все, для этого ты и создана, моя любимая».

– Дай мне бутылку, я сама ее открою, раз уж тебе хочется, чтобы я выпила вина.

– Иди в столовую и садись, мама! – Он ласково шлепнул ее по спине. – За кого ты принимаешь своего сына? Может, ты боишься, что я испорчу пробку?

В радостном возбуждении он говорил очень громко. Она зашикала на него. Они стояли над старым ящиком со льдом, как два заговорщика. Он шепнул:

– Ладно, иди и садись!

– Иди на цыпочках! – шепнула она в ответ. – А то тетя может услышать!

Он бесшумно поставил бутылку на стол, слегка дрожа от прикосновения влажной одежды. Расставил на подносе блюда, не забыл графинчик с уксусом, но забыл стакан для молока.

– Нет, не сюда, – патетически сказал он, войдя с подносом в столовую.

Он кивком показал ей, где она должна сесть: на белой софе в стиле рококо. Потом расставил на столе лакомства. Потом налил в рюмки вино, себе чуть-чуть – мать не хотела, чтобы он приучался пить. Потом снова наполнил ее рюмку, подал ей блюдо с холодной форелью. И пока она накладывала себе рыбу, он протянул через стол руку и погладил золотисто-каштановые волосы матери с ощущением блаженства, которое щекотало пальцы, не рождая мучительного отзвука во всем теле.

Мать поглощала еду. Поглощала с такой жадностью, что он испугался. Она глотала пищу не прожевывая. Она ела, как голодный мужчина, роняя маленькие кусочки нежной рыбы.

– Я вижу, ты проголодалась! – сказал он.

За окном шелестела летняя ночь. Сумрак уже по-настоящему сгустился. Только теперь он

заметил, что на пиршественном столе – на их пиршественном столе – она зажгла две свечи.

– У меня такое чувство, будто я целый день не ела, – весело сказала она. – Будто все время чего-то боялась.

– Боялась?

Она подняла рюмку.

– Проклятый инстинкт! – беспечно сказала она.

– Инстинкт? – переспросил он с испугом.

– Тебе этого не понять, – ответила она. – Ты ребенок. Ты этого не знаешь. Это словно какой-то страх, боишься того, что миновало, боишься, что все минует... А знаешь, выпей немного вина, хотя бы пригуби.

Он пригубил. Они через стол обменялись взглядом.

– За твое здоровье, мой мальчик! – сказала она; в мягком свете свечей глаза ее излучали тепло.

– Знаешь, мама, что я тебе скажу, – произнес он торжественно. – Ты красивее всех.

– Кого всех? – удивленно спросила она.

– Всех.

– Маленький Лорд! – сказала она.

Он понял, что она хотела произнести это беспечным тоном. И сделал вид, будто она и произнесла это беспечным тоном. Он поднял рюмку, коснулся ее губами, почувствовал успокоительный холодок золотистого напитка и желание выпить еще. «Эрна!» – в ту же минуту подумал он.

Она спросила:

– О чем ты думаешь?

– Не знаю, мама. О том, что нам здесь очень хорошо.

– Какая славная девочка Эрна, – сказала она.

Он вздрогнул, но заметил, что она не обратила на это внимания. Проклятый инстинкт! А может, это просто случайность? Ему хотелось выяснить это сейчас же: неужели все, что происходит, в тот же миг становится известным кому-то другому? Неужели люди, состоящие в родстве, настолько похожи, что ничего не могут скрыть друг от друга?

– Почему ты сказала это именно сейчас? – спросил он, услышав настойчивость в собственном тоне.

– Почему? Сама не знаю, – ответила она и вдруг с испугом посмотрела на часы. – Мальчик мой, а знаешь ли ты, что тебе давно пора быть в постели!

Он знал, что она ответила правду и понимает, что он ей верит. Казалось, любые слова и фразы представляют собой шифр, понятный им обоим. Им двоим. Мы! Двое! Волнующие слова. Они снова увели Вилфреда далеко-далеко.

– Кстати, она заходила и спрашивала тебя.

– Кто? – Он ошупью пробирался назад через разнообразные миры.

– Как кто? Эрна! Мы же говорили о ней...

– Когда, мама? Когда это было?

– Примерно... да, пожалуй, недавно, с час назад. Впрочем, она даже ничего не спросила.

– Зачем же она приходила?

Проклятый инстинкт. Проклятый, трижды проклятый инстинкт. О чем догадалась эта робкая девочка, которая, казалось, была лишена какой бы то ни было пронизательности?

– Зачем она приходила? Наверное, навестить... меня. Она принесла очаровательные анемоны.

Он посмотрел по направлению материнского взгляда и увидел букет в зеленой вазе на белом кабинетном рояле. Раньше Вилфред не заметил цветов. Эрна напоминала о себе. Она отныне как бы присутствовала в их доме.

Мать осушила рюмку и стала убирать со стола. Чары, связывавшие их, развеялись, осталась взаимная подозрительность, а может быть... Вилфред не мог поверить, что она что-то знает, сознает или хотя бы улавливает.

– Впрочем, я вспомнила, она говорила что-то о поездке на острова. Кажется, они собираются туда завтра.

– А ты поедешь с нами, мама? – неожиданно спросил он.

– Я...

– Не говори этого! – быстро перебил он.

– Чего – этого?

– Ты знаешь.

– Ну хорошо, предположим, знаю. Все равно, я уже слишком стара для таких пиратских вылазок. Я думаю, мы посидим дома – тетя Кристина и я.

– Тогда и я тоже.

– Но почему? – Она этого ждала и вдруг добавила: – А может, мы и поедем, во всяком случае Кристина. Ее ведь не было, когда заходила Эрна...

Точно она сказала: тебя и ее не было дома...

– Тем лучше, мама, мы побудем дома с тобой вдвоем!

Но на этот раз в его голосе не было уверенности, и он не сумел одержать победу. Чтобы ложь была правдоподобной, надо в нее верить.

Она сказала: – Уже поздно. – Голос был решительный и пустой, шифра больше не существовало. Они молча сидели за квадратным столом, не имея сил подняться и уйти.

– Ну, пора... – наконец выговорила она, вставая. Они вместе поднялись по лестнице вверх.

Из дверей комнаты Кристины просачивалась полоска света. В прохладном сумраке их руки встретились в беглом ласковом прикосновении.

– Спокойной ночи, – прошептали оба одновременно.

13

Вилфред проснулся. «Я не поеду с детьми на острова», – было первое, что он подумал. Теперь он называл их детьми.

Он окинул взглядом книги, стоявшие на полках, и уселся читать историю французского искусства, подаренную ему дядей Рене. Но сегодня ни репродукции, ни изысканные комментарии к ним, которые он понимал только наполовину, ничего не говорили его сердцу; и все-таки он принуждал себя читать, все время настороженно ожидая, что с минуты на минуту что-то случится. За окном вставало свежее ясное утро, но он старался не обращать внимания – время игр миновало.

Но как раз когда он рылся на полках и в шкафу, на глаза ему попались старые игрушки, к которым он не прикасался уже много лет, и теперь он взял их в руки с какой-то священной грустью. Это был линкор «Акаса», который он когда-то сам смастерил, – линкор с трубами, прибитыми большими гвоздями, и сложной системой капитанских мостиков, причем на самом верхнем стоял японский адмирал с раскосыми глазами, вырезанный из коряги. И еще здесь были целлулоидные и деревянные торговые суда с парусами и гребными винтами, банками и такелажем. Все эти сокровища были предметом зависти мальчишек, но Вилфред великодушно разрешал им ломать игрушки одну за другой. Сам он никогда не любил в них играть.

И тут он услышал шумные голоса детей и молодежи за окном. Смеясь и болтая, они поднимались по тропинке, идущей с берега; теперь Вилфред услышал и плеск весел на море. Товарищи искали его, они шли за ним. И вдруг Вилфреда охватил смертельный страх, – страх перед тем, что ему придется оказаться лицом к лицу с Эрной, и не только с ней, но и со всем тем, что связано с Эрной, а ему это вдруг надоело – надоело, и все тут! Он стал лихорадочно перебирать в уме всевозможные отговорки: болит голова, надо дочитать книгу, просто хочется побыть дома... Он выглянул в окно и увидел, что они уже близко, девочки и мальчики и кое-кто постарше, значительно старше самого Вилфреда, в красном, синем и зеленом, с разноцветными полотенцами, платками, шарфами и удилищами, а один даже с трубой, в которую он непрерывно трубил. Мать окликнула его. Потом он услышал, как она говорит с ребятами. Объясняет, что Вилфред у себя наверху, сейчас она сходит за ним. Потом она снова окликнула сына.

Он почувствовал себя точно зверь в западне. Некуда скрыться от этой лавины нежных чувств. Тетя Кристина – где она сейчас? Уж не лежит ли в постели с головной болью? От этой мысли Вилфреду стало не по себе, он не хотел встречаться с Кристиной в доме, но ему хотелось встретиться с ней в другом месте, в каком-нибудь немыслимом месте, за пределами возможного – в игорном доме, например... Воображение рисовало ему фантастические картины, а сам он беспомощно стоял между столом и окном, не решаясь выглянуть в сад, не решаясь откликнуться на зов матери.

А она продолжала звать его. Что-то говорила молодежи и звала Вилфреда:

– Маленький Лорд! Вилфред!

И вдруг он почувствовал, что все-таки не может вот так предать ее. Но ему не хотелось кричать в ответ, он вообще не любил перекрикиваться. Взяв под мышку историю искусства, он сошел вниз и встретил всю ватагу на лестнице, ведущей на террасу. Среди молодежи стояла его мать. Он испуганно стал вспоминать придуманные им отговорки, но здесь, при солнечном свете, среди товарищей, все они казались несостоятельными.

– А вот и Вилфред. Одну минутку, я приготовлю ему завтрак на дорогу!

Он бросил быстрый взгляд на мать, но она глядела мимо него, прислушиваясь к гомону молодых голосов. Потом быстрыми шагами ушла в дом за едой для Вилфреда. Он почувствовал против нее холодную злость: она предала, продала его, пытаясь недорогой ценой достичь цели и вновь толкнуть его к детям, и все ради того, чтобы избавиться от жестокого страха, о котором она проговорила вчера вечером.

– Эрна на берегу, у лодок, – сказал кто-то.

Что значат эти слова? Разве кто-нибудь что-нибудь знает? Да и о чем им знать? И снова Вилфред почувствовал глухую ярость против подозрений, которые его окружают. Они оскверняют его, отнимают его чудесное смутное одиночество.

– А мне какое дело? – холодно сказал он. – Я собираюсь остаться дома и читать историю искусства.

Те, кто стоял близко к нему, разинули рты от изумления. При свете солнца слова Вилфреда звучали нелепо и неправдоподобно. Между тем мать уже вернулась с корзинкой, куда были уложены бутерброды, и холодным соком в термосе. Вся эта предусмотрительность лишь доказывала Вилфреду, что она хочет насильно ввергнуть его обратно в детство.

– Ну же, поторапливайся, Маленький Лорд... Нет, нет, мы остаемся дома, тетя еще не вставала, завтрак ей подали в комнату, у нее голова болит.

– Мама, ведь я тебя просил...

Но она сунула ему корзинку в руки и тотчас обернулась к остальным. Молодая красивая мать среди молодежи.

– Поезжайте с нами, фру Саген, – крикнул кто-то. Другие одобрительно зашумели. Но она замахала обеими руками. Она в одну секунду нашла уйму отговорок: завтра к ней приедут гости, а сегодня ей надо заняться садом и родственница заболела, да, да, тетка Вилфреда...

– А вы смотрите будьте осторожны! На лодке Йоргенсена старый керосиновый мотор. Умеет ли кто-нибудь из вас с ним обращаться? – Ее голос заглушили самоуверенные возгласы – этого она и добивалась. Все должно было потонуть в шуме и звонких прощальных возгласах. Ни минуты передышки, и казалось, что это она организовала поездку, хотя все было давным-давно продумано до мелочей и товарищи просто зашли за Вилфредом, ведь Эрна еще вчера должна была предупредить его о поездке.

Да, да, Эрна приходила, но она едва успела предупредить сына. Впрочем, не беда – ведь Вилфред здесь. – Да, но он собирается засесть за уроки! – Слыханное ли это дело! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! – И от ее смеха поведение Вилфреда показалось всем невероятно комичным. Вечно юная фру Саген подняла на смех своего мрачного сына и развеселила всех.

Она пошла вместе с ними по тропинке, составляя как бы центр их компании и при этом стараясь держаться как можно дальше от сына. Она вела молодежь за собой, увлекала своим беспечным смехом, своей готовностью радоваться всему окружающему, которая заражала всех. Гостивший у Йоргенсена молодой человек, в кремовых парусиновых штанах, с первыми признаками бороды на щеках, в несколько секунд был сражен наповал и, не таясь,

ухаживал за ней, пока они шли к причалу, где стояли лодки. Старенькая моторка Йоргенсена должна была тащить на буксире две лодочки, но трое мальчишек во что бы то ни стало хотели плыть отдельно, на паруснике, и старались разглядеть еле заметное облачко где-то в дали фьорда: оно обещало ветер.

Точно веселый свадебный поезд, отчалила компания от берега, и казалось, пока неотразимая фру Саген стоит на деревянных мостках, где на сваях весело играют солнечные блики, что-то заставляет ребят бурно веселиться. Все потешались над мотором – он наконец завелся, сердито пыхтя и выбрасывая в летний воздух облака синеватого дыма, которые поднимались вверх, отмечая их путь. Потом фру Саген медленно пошла по тропинке, ведущей в гору. Они еще что-то крикнули ей с лодок, но она уже не слышала.

Веселье в лодках как-то сразу сникло. Тяжелое тарыхтение мотора пронзало летний воздух. Вилфред в последний раз увидел на тропинке узкую спину матери – в ней не чувствовалось торжества.

– Развеселая у тебя мать, – крикнул кто-то из мальчишек, стараясь перекрыть шум мотора и одобрительно глядя на Вилфреда. Вилфреда передернуло. Горькое чувство, вызванное ее предательством, сменилось желанием встать на ее защиту. Но когда он внимательней взгляделся в веснушчатое лицо Тома, сына садовника, он прочел на нем только восхищение и детскую почтительность, крившуюся за грубоватой манерой выражаться. И тут же почувствовал прикосновение руки Эрны к своей руке, лежавшей на борту. Рука Эрны была холодна. Все это время Вилфред старался не глядеть на нее. А теперь посмотрел в робкое детское личико, покрытое матовым загаром, который отличает тех, кто постоянно живет у моря, от тех, кто, приезжая на уик-энд, сразу становится похожим на мулату. В этой девочке было что-то очень здоровое, что на свой лад тоже притягивало Вилфреда. Льянные волосы, льянное платье. Вся девушка точно лен. Что-то холодное и невинное и в то же время зажигательное было в спокойных голубых глазах, которые не умели хранить тайн.

– Ты не хотел ехать? – спросила она.

– Но ведь тебя не было с ними, – пылко возразил он. Он опять почувствовал, как им овладевает вдохновенное притворство, которое снова и снова вовлекает его в игру. Да и притворство ли это? Разве не естественно, что он по уши влюблен в Эрну именно здесь, в этой рамке синевы и серебра. Она ведь просто создана для нее – само воплощение утренней свежести, олицетворение лета с ног до головы. Он доверительно склонился к ней, стараясь перекричать шум мотора.

Она почти вплотную прижалась губами к его уху. Это никого не удивляло, так как они сидели возле шумного мотора.

– Я все время думала о тебе, – серьезно сказала она.

Почему ее слова вызвали в нем раздражение? Потому ли, что не он первый их произнес, или просто потому, что в них был призыв, на который он не мог не ответить?

– А я о тебе, – смущенно шепнул он в ответ. – Всю ночь, – добавил он. Это звучало неплохо. Ее глаза потемнели и увлажнились. Она провела рукой по его руке, лежавшей на борту. Ее рука была жесткой от соленой воды...

– Всю ночь напролет, – хрипло повторил он.

– Значит, ты не спал? – огорченно спросила она. В его ушах ее слова отозвались плоской иронией. Но он прекрасно понимал, что в Эрне говорит забота о нем, доверие и ничто иное. Он оторвал короткий шелковый шнурок от спортивной рубашки и обвязал его вокруг запястья Эрны – то ли чтобы вознаграждать ее, то ли чтобы утешить. Он и сам не знал зачем, но

тщательно закрепил его морским узлом, который он здесь научился завязывать.

– Вот! – сказал он. – Теперь ты его никогда не развяжешь.

Безмолвная и взволнованная, она смотрела на желтоватый шнурок. Она погладила его пальцами другой руки, прижалась к нему щекой и взглянула на Вилфреда мечтательными и правдивыми глазами. И он ответил ей решительным взглядом. Теперь он убедил себя в том, что любит ее.

Под громкие воинственные крики они высадились на острове. Впереди шел мальчик с трубой, за ним сын садовника Том со знаменем, на котором был нарисован череп и кости. Том водрузил его на холмике, сложенном из камней, посередине островка. Взявшись за руки, они приглушенными голосами запели магическую песню в знак того, что завладели островом. Чистейшее ребячество. Мальчики постарше сначала смущенно снизошли до участия в хороводе, но вскоре стали заводилами. Вилфред тоже вовлекся в общее веселье. Он даже сам предложил играть в следопытов. Одна партия должна была оставлять на своем пути клочки бумаги, другая – находить спрятавшихся по этим следам. Но бумажки пришлось класть под камни, чтобы их не унесло ветром, и к тому же на открытом островке прятаться было почти невозможно. Только в двух местах островок перерезали неглубокие ущелья, на дне которых скапливалась влага и валялись прибитые морем доски и стеклянные шарики от кошелькового невода. Найти тех, кто прятал бумажки, оказалось слишком легко, и поэтому молодежь затеяла другие игры – весь их смысл был в том, чтобы дать выход избытку сил, который ребята накопили за зиму, пока зубрили уроки и дышали воздухом школы.

Эрна негромко окликнула Вилфреда. Она стояла, склонившись над холмом, поднимавшимся от песчаной отмели, и сделала Вилфреду знак, чтобы он не шумел. Он на цыпочках подбежал к ней и заглянул вниз, туда, где было гнездо чайки, – там лежало яйцо, оно двигалось. Было совершенно ясно, что скорлупа вот-вот треснет, еще минута – и проклюнется птенец.

В одно мгновение Эрну и Вилфреда окружила кучка молодежи – все, не отрываясь, следили за таинством, совершавшимся на их глазах в маленьком взбаламученном гнезде. Полные сознания торжественности момента, наблюдали они за чудом: из скорлупы вылупился большущий птенец, влажный и липкий. И вдруг оказалось, что он чуть ли не в два раза больше яйца, в котором лежал. Он покачнулся, сделал несколько шагов, потом пополз, потом попытался приподняться в гнезде. Эрна схватила Вилфреда за руку, она еле держалась на ногах от волнения. Это таинство в каком-то смысле было обращено к нему и к ней, словно они стояли над собственным первенцем и наблюдали, как он, трогательный и беспомощный, ползком выбирается в мир, населенный взрослыми людьми и опасностями.

И вдруг в воздухе поднялся страшный шум. Прежде чем они поняли, в чем дело, над их головой раскрылся огромный зонт белых крыльев рассерженных и крикливых птиц. Некоторые чайки, отчаянно метнувшись вниз, грозили им своими клювами. Кое-кто из мальчиков схватил камни и палки, чтобы отогнать разъяренных чаек. Но Эрна возмущенно вступилась за них.

– Идемте отсюда, – сказала она, все еще взволнованная и торжественная. – Они защищают птенца. Он, наверное, последний в этом году. Оставим его в покое.

Стая птиц провожала их, пронзительно крича, пока они не отошли на довольно большое расстояние от гнезда. Эрна села на горку и стала глядеть в сторону моря – от нее веяло умиротворением, какого Вилфред прежде в ней не замечал.

– Я никогда не видела ничего более трогательного, – сказала она. – Бедные птицы обезумели в своей отваге, и все для того, чтобы защитить одного-единственного беспомощного птенчика. Неужели это просто инстинкт?

Он вздрогнул. Опять это слово.

– Откуда ты взяла это слово – инстинкт? – спросил он.

– А разве это не так называется? Когда они, да и мы тоже, делаем что-нибудь, сами не зная почему? Когда мы угадываем...

– При чем здесь «угадываем»? Чайки просто защищают своего птенца! Что тут особенного?

– Ничего... Но ведь они как-то узнали, что птенец в опасности.

– В том-то и дело, что они ничего не узнали. Птенцу вовсе не угрожала опасность. Никто из нас не сделал бы ему ничего плохого.

– Ну а если бы сделал?

– Но мы же не сделали. Во всех этих догадках нет никакого толку, – сказал он. – И к тому же вы всегда угадываете неверно.

– Мы? – переспросила она. – Вилфред, ты на меня сердишься?

Он привлек к себе ее голову. Оглянувшись по сторонам, они обменялись торопливым поцелуем. И тут же услышали рядом крики – их товарищи стали искать в расщелинах других птенцов и, как видно, что-то нашли.

– Почему ты сказал «вы», Вилфред?

Он погладил ее по руке.

– Просто потому, что, по-моему, все слишком усердно занимаются догадками. Не надо этого делать, – ответил он. И тут же подумал: «Странно! Мы сидим и, как два старичка, спорим о чем-то, что мы не смеем назвать своим именем, а ведь на самом деле это страшно важно».

– Пошли завтракать! – крикнул наконец кто-то.

– Нет-нет! Сначала искупаемся! – закричали другие. Началась возня с купальными костюмами и трусами. Прежде все они купались голышом. А теперь вдруг заметили, что стали взрослыми и что среди них много чужих.

Взрослые городские мальчишки плавали, как они называли, по-индейски – это означало, что они шумно барахтались в воде, почти не двигаясь вперед. Скоро и остальные захотели плавать по-индейски, и поднялся такой шум и плеск, что капли воды, точно радуга, стояли над бурлящим водоворотом тел и фыркающих голов. Потом решили плавать взапуски под водой, потом стали играть в салки. Потом по одному, отдуваясь и неуклюже ступая, стали выбираться на берег. Сверкая мокрыми телами и отплеываясь, они брели к отвесной впадине, где девочки уже распаковывали корзинки с провизией, смешивая все запасы, чтобы не знать, кто что привез, и всем есть из общего котла.

– А Том? – спросил вдруг кто-то. – Где же Том?

Первым это спросил кто-то из воды. Те, кто занимался едой, продолжали болтать и кричать.

– Куда делся Том? – раздался голос с горки, где четверо мальчишек загорали на солнце. И вдруг все разом замолчали. Кто-то сказал:

– Вот его одежда.

Кто-то коротко окликнул: «Том! Том!» Потом крики стали протяжными: «То-о-ом!» И потом из

глоток, перехваченных смятением, вырвался общий вопль: «То-ом! То-м!»

На острове стало тихо. Кто-то босиком бесшумно побежал на вершину холма, чтобы оттуда оглядеться, другие бросились на берег и на горку. Никто уже не кричал, все искали. Но Тома нигде не было.

Вилфред почувствовал, как ледяная рука сжала его запястье. Он посмотрел Эрне в глаза – в них было отчаяние. И что-то еще. Мольба?

Вилфред тоже испугался, но головы не потерял. Он опять услышал нестройные крики, унылые, просительные, словно товарищи пытались вызвать дух исчезнувшего Тома из скалы, под которой они шарили, разыскивая его.

Усилием воли, которое отозвалось в нем почти физической болью, Вилфред попытался сосредоточиться. Одежда Тома. Ее нашли далеко от вороха одежды остальных мальчишек и девочек, которые раздевались за каменистой грядой на южной стороне островка.

И вдруг Вилфред понял, понял то, что мог только предполагать: у Тома не было купальных трусов. Вилфред увидел перед собой дом садовника – маленькую хибарку. Купальные костюмы и другие подобные предметы роскоши в этом доме не водились. Наверняка Том стеснялся купаться вместе с остальными...

Вилфред заметил, что сжимает руку Эрны. Резко выпустив ее, он, ни слова не говоря, бросился прочь. Он бежал к северной оконечности островка – узкому мысу, полого спускающемуся в море. Он быстро бежал по скалистому грунту, старательно выбирая, куда поставить ногу. Он бежал, ликуя от сознания, что его осенила верная догадка, в то время как другие брели наобум. При этом он все время видел перед собой маленький домик садовника на равнине. Он бежал быстро, но в то же время разумно расходуя силы, так что, когда он добежал до мыса, у него еще хватило дыхания. Тут он резко остановился и заглянул в воду. С подветренной стороны вода была тихая и прозрачная, как стекло. Он отчетливо видел дно, темные водоросли, чуть колеблемые течением. Перебираясь с камня на камень, он глядел в воду и по плану, участок за участком обыскивал каменистое дно, покрытое водорослями.

И вдруг он увидел Тома. Том лежал спиной кверху, голый и белый. Худые ноги, искривленные изломанным лучом света, казались длинными и дрожащими.

Вилфред оглянулся в поисках помощи. Но услышал только крики, которые доносились с противоположной стороны островка. Он осторожно зашлепал по илистому дну, шаг за шагом, чтобы не упасть. Здесь оказалось глубже, чем он думал. Там, где лежал Том, он уже не доставал до дна. Вилфред быстро нырнул, обхватил Тома за шею и приподнял верхнюю часть его туловища так, что тело Тома уперлось коленями в дно. В голове Вилфреда мелькали обрывки воспоминаний о том, как надо поступать при спасении утопленников: взвалить пострадавшего на спину и плыть со своей ношей к берегу.

Том оказался тяжелее, чем Вилфред предполагал. Он все время сползал вниз. Но как раз в ту минуту, когда Вилфред хотел обхватить Тома другой рукой, он ногами нащупал дно. И через несколько секунд он уже стоял на маленькой подводной скале у самого мыса, до пояса вытащив Тома из воды. Теперь оставалось только добраться вброд до берега, волоча усталыми руками холодное тело, тяжелое и вялое.

И в ту же минуту он увидел на гребне холма Эрну. На синеве неба пламенел ее желтый купальник. Усталое тело Вилфреда мгновенно налилось торжеством, теперь ему были нипочем любые трудности.

Эрна обернулась и замахала ему. Вилфред, задыхаясь, обессиленный, волочил безжизненное тело, все время вспоминая то, что читал в «Карманном справочнике для

юношей» о приведении в чувство утопающих.

Когда первые из тех, кто искал Тома, сбежали с горки вниз, Вилфред уже перевернул утопленника на живот, положив его так, что ноги Тома были приподняты, а голова лежала внизу, на сухой кромке скалы. Вилфред сидел верхом на Томе, упираясь коленями в землю. Мальчики подошли ближе. Крики умолкли. За мальчиками прибежали и девочки. Вилфред чувствовал, как позади него, вокруг него полукругом в несколько рядов столпились взволнованные, испуганные, беспомощные дети, ожидающие, что он сотворит чудо. А он целеустремленно и ритмично делал утопленнику искусственное дыхание. Но правильно ли он действует? Так ли написано в книге?

Вилфред настолько устал, что с трудом удерживался, чтобы не рухнуть ничком на мокрое тело. Но он не мог уступить место другому, не решался остановиться или спросить, нет ли здесь кого, кто умеет лучше делать спасательную гимнастику. Чей-то глухой голос стал подавать советы, но очень неуверенно. Вилфреду казалось, что речь идет не о жизни Тома, а о его собственной жизни. Справится ли

он, одолеет ли

он...

И тут изо рта того, кто лежал под ним, полилась вода. Вилфред уже не помнил, кто это. Это было чье-то тело, чья-то голова, упирающаяся в камень внизу, он повернул ее так, чтобы камень не закрывал рот. Вода хлынула сильнее. У парнишки началась рвота.

Вилфред стал переворачивать Тома. Теперь и другие принялись ему помогать. Тома повернули на спину, но его голова беспомощно поникла набок. Вилфред плашмя лег на Тома, прислушиваясь, не бьется ли сердце. Он не слышал его ударов, но чувствовал, что Том жив. Глаза Вилфреда застлал красный туман. Он хотел позвать на помощь, но провалился куда-то в пропасть, смутно чувствуя, что его тоже начало рвать,

– Мама, да я вовсе никуда не прыгал и вообще не сделал ничего такого, о чем вы говорите, я просто пошел вброд по воде и вытащил Тома на берег.

От этих разговоров Вилфреду становилось не по себе. Они с матерью и тетей Кристиной пили после обеда кофе. Дети все еще громко кричали где-то неподалеку, рассказывая родителям и всем, кому не лень было слушать, как Вилфред спас Тома. Садовник и его жена уже заходили к Сагенам. Они не могли отлучиться из дому больше чем на полчаса. Оба плакали слезами благодарности. Доктор сказал, что Том был на волосок от смерти. Не окажись поблизости мужественного человека, они лишились бы Тома, единственного своего сокровища.

Да и само возвращение домой... После напряженных минут, которые разрешились сдавленным воплем ликования, возвращение домой превратилось в триумфальное шествие, когда всеми вдруг овладела неодолимая потребность прославлять одного. Как только Вилфред пришел в себя на островке, он сразу сказал, что ничего особенного не сделал, даже не плавал, а просто вытащил Тома волоком на берег. Но чем решительней он протестовал, тем больше убеждались остальные, что на островке был совершен подвиг. Будни, и без того яркие, требовали еще большего блеска. Дети жаждали окружить Вилфреда ореолом героизма. Вилфреду и сейчас еще вспоминалась Эрна в лодке на обратном пути домой. Она сидела, вперив в него взгляд своих голубых глаз, не говоря ни слова, ничего не видя и не слыша от восторга и счастья, что именно он совершил этот подвиг.

Вилфред охотно прошелся бы по солнечной тропинке через поляну к дому садовника, чтобы убедиться, что Том жив-здоров, но не решался как раз из-за того, что родители Тома были так переполнены благодарностью. Вилфред понимал, что они примут его, как некий

принудительный дар, на который они обязаны перенести часть своей всепоглощающей любви к Тому. Том еще лежал в постели, ему не разрешили встать, хотя он уверял, что совершенно здоров и хочет гулять и играть с остальными детьми.

Но садовник и его жена в отчаянии требовали, чтобы Том хоть несколько дней полежал в постели. Казалось, они решили держать сына на привязи и не выпускать его из виду, хотя страх за него они пережили задним числом, когда страшиться уже было нечего.

Мать Вилфреда сияла. Она не хвасталась и вообще была немногословна, но призналась Кристине, что гордится сыном.

Кристина выслушала рассказ о происшествии, смущенно улыбаясь. Она как бы чувствовала себя не вправе присоединить свой голос к хору похвал. Беда ведь случилась не на ее глазах. Поэтому Кристина не принимала участия в разговорах о судорогах и искусственном дыхании. Но и она, казалось, лучится радостью, и радость эта обращена к Вилфреду, который понимал ее душевное состояние.

– Иными словами, ты вообще ни при чем? – сказала Кристина с иронией. – Ты просто случайно вошел в воду, вытащил Тома на берег и вернул его к жизни?

– Нет, именно не случайно. Я сначала

подумал. В этом вся разница. Я подумал, что Том стесняется купаться голым. И подумал, что у него нет купальных трусов.

– И тебе осталось только пойти и вытащить его на берег, – сказала мать.

– Да.

– Но как ты мог угадать, что у него нет купальных трусов?

– А я вовсе не угадывал. Я просто увидел это.

Мать и Кристина обменялись взглядом поверх ликерных рюмок. О чем подумали они обе – каждая на своем краю слишком обширного поля их общих догадок?

– Твое любимое словцо, – с легкой тревогой заметила мать. – Ты видел, ты видишь...

Вилфред смутился. Он чувствовал, что они пытаются его разгадать. А он всем своим нутром ощущал, что эта его способность

видеть была одним из путей, ведущих в царство тайны. Во всяком случае, для него, Вилфреда. У других, наверное, по-другому.

Видеть, знать – это очень важно. Видеть не только глазами, знать не только то, что тебе известно.

– По правде говоря, мне не хочется больше обсуждать эту тему, – сказал он. – Я очень рад, что Том жив и здоров, по-моему, он славный парень, хотя я почти совсем его не знаю.

Вилфред встал из-за стола и вышел в сад. Он знал, что сейчас обе женщины молча глядят друг на друга и думают, что понимают, в чем дело. А понимают они это так: Вилфред – скромный мальчик и не хочет, чтобы его хвалили за то, что сделал бы на его месте любой другой, сделал или мог бы сделать, если бы додумался до этого. Он видел, как они сидят, давая волю своей потребности кем-нибудь восхищаться, и знал, что они горько ошибаются. Горько для него самого. Потому что как раз такого рода фальшь не входила в его планы. Слово «банальность» мелькнуло в его мозгу. Он поморщился...

Но его грызла еще какая-то другая мысль, которая опять завладела им, как только он остался один. Она смутно мелькнула у него еще в те драгоценные секунды, когда на мысу он изо всех сил пытался сосредоточиться, но Вилфред до сих пор не разобрался в ней. Что-то вроде: «Только бы не загубить дело!» Нет, тут было еще и другое, что-то мучительное. В лучах спускающегося к горизонту солнца Вилфред брел к берегу, где началось короткое приключение. Да, вот в чем дело: хотел ли Вилфред, чтобы кто-нибудь пришел к нему на помощь, когда он брел по воде в поисках Тома?

Нет, Вилфред не хотел ничьей помощи.

Ну а если бы ему не удалось вытащить Тома в одиночку, неужели он предпочел бы, чтобы Том погиб, лишь бы не прибегнуть ни к чьей помощи?

Вилфред не знал. Но знал, что был рад, когда никого не оказалось поблизости.

А потом? Потом, когда он склонился над «трупом», делая ему искусственное дыхание по правилам, которые он помнил смутно и никогда не проверял на практике, – хотел он, чтобы кто-нибудь более сведущий пришел ему на помощь, подал совет?

Нет, он не хотел этого. Когда один из старших незнакомых ему мальчиков глухим голосом стал подавать советы, Вилфред выслушал их с раздражением, словно преодолевая в себе внутренний протест.

Впрочем, этот парень и сам ничего толком не знал и говорил, просто чтобы что-нибудь сказать.

Ну а если бы на берегу оказался кто-то и в самом деле более опытный, более уверенный, более сильный...

Но такого не оказалось.

Ну а если бы?..

Неужели Вилфред предпочел бы, чтобы Том умер, чем прибегнуть к чужой помощи?

Неужели он думал только о том, чтобы самоутвердиться?

Вилфред снова быстро зашагал по тропинке: эти быстрые шаги давали какую-то разрядку его душевному напряжению. Неужели же он и вправду был почти готов убить Тома – это он-то, который так героически его спас? Неужели в этом и состоит подлинная правда, и она настолько мучает Вилфреда, что ему невыносимы похвалы его сообразительности и решительному поведению?

А ведь в каком-то смысле теперь, после всего случившегося, он привязался к Тому, хотя, когда они шли купаться, ему и дела не было до веснушчатого парнишки с белой кожей. Когда Вилфред стоял на коленях над полумертвым телом, как бы загоняя его обратно в жизнь, не обращался ли он с Томом как со своей собственностью, не видел ли в нем просто ступеньку к славе?

Вилфред застонал, продолжая расхаживать по тропинке. Ведь если даже в ту минуту он не осознавал до конца мотивы своего поведения, все-таки он почти сознавал их. Теперь он все отчетливей понимал это, одно за другим отвергая все возможные оправдания и чувствуя незаслуженность всеобщих похвал. Оправдания и похвалы рядились в оболочку чужих слов; он вспоминал, как его одобрительно похлопывали по плечу, как восхищенно смотрела на него Эрна, как мать истолковывала его скромность. Все это было мучительно, неуместно и не имело к нему никакого отношения.

Отчего Вилфред отвергал все это?

Оттого ли, что хотел быть честным до конца?

Вилфред отшвырнул какой-то камень, вложив в удар всю силу своего презрения; описав дугу, камень упал в море.

В том-то и дело, что Вилфред мучил себя вовсе не для того, чтобы быть честным до мозга костей, а для того, чтобы разрушить нечто, что росло на его глазах, принимая искаженные формы, как раз подходящие для того, чтобы сойти за правду.

Вилфред дошел до мыса, где стоял маяк. Он почувствовал смутное удовлетворение, оттого что добрался как бы до последнего слоя истины. Вся радость угасла в нем. Зато он чувствовал в душе прочный и твердый камень, угловатый и острый, – надежная опора, на которую можно опираться вечно. Камень был таким же твердым, как скала, на которой Вилфред стоял, но он не имел неопределенных продолговатых очертаний мыса, который ласкало море, освещенное закатом. Это был маленький твердый камень с острыми краями, как раз такой, какой надо иметь внутри себя, – точка опоры и в то же время оружие...

С противоположного края мыса к Вилфреду протянулась мягкая тень лодки. И в ту же минуту он увидел, как белая лодочка мадам Фрисаксен быстро выскользнула из-за маяка. Сама мадам Фрисаксен, поджарая, загорелая, сидела вполборота к нему, бесшумно скользя к тому месту, где водились мерланы. Когда лодка огибала мыс, женщина увидела Вилфреда в красном свете заката. Она опустила весла.

– Никак наш спасатель ходит и ищет, где бы еще найти утопленника? – добродушно сказала она. А может, в ее голосе звучала ирония?

Вилфреда обдало жаркой волной. Что было в этой отверженной женщине, что доставляло ему такую радость?

– Добрый вечер, фру Фрисаксен! – крикнул он с холма, на котором стоял, и вежливо поклонился. – А вы, верно, вышли за мерланом, фру Фрисаксен?

Он чувствовал, что ей льстит, когда ее называют «фру». Взрослые, обращаясь к ней, всегда называли ее «мадам».

– Правду ли рассказывают, что ты вытащил из воды маленького Тома? – спросила она.

– Да, но я его волоком тащил, фру Фрисаксен, там было совсем неглубоко.

– Ну да, понятно, – тихо сказала она, и ее голос отчетливо разносился над водой. – Понятно, – повторила она и снова взялась за бесшумные весла, еле-еле пошевеливая ими, так, чтобы держаться на некотором расстоянии от мыса. – Пожалуй, Тому повезло, – заметила она.

– Пусть не будет тебе сегодня удачи, фру Фрисаксен, – крикнул Вилфред весело. – Ни одной рыбы за целый вечер!

Она ответила ему лукавым кивком. Она поняла его. Хорошего улова желать не полагается – это дурная примета.

– Тьфу, – крикнул Вилфред и сплюнул в море.

Лицо фру Фрисаксен расплылось в широкой улыбке, такой непривычной на нем, что, казалось, оно все пошло трещинами. Потом она еще раз кивнула и бесшумно поплыла к мерлановой впадине, на поверхности которой играли багряные блики.

И снова Вилфред стоял, глядя вслед одинокой женщине в лодке, женщине, которая жила в другом мире, не похожем на шумный мир дачников; да и вообще слово «мир» как-то не подходило к ней. Казалось, она плывет в мерцающую страну утрат, в страну, которая существует сама по себе, без всякой связи с окружающим. Она тихо плыла, освещенная холодным солнцем.

«Пожалуй, – сказала она, – пожалуй, Тому повезло».

Да и вообще она ни словом не высказала своего одобрения Вилфреду, взглянув на происшедшее с точки зрения Тома, а может, и его родителей. Садовник и его жена были единственными в этих краях, с кем она поддерживала отношения.

А что она на самом деле думала о великом событии, которое в течение недели, а может и дольше, будет предметом болтовни дачников?

Наверняка ничего не думала.

И вдруг у подростка, который как загипнотизированный смотрел на крошечную лодку, похожую на золотую каплю в вечерней синеве, мелькнула ликующая мысль: «Фру Фрисаксен наплевать на все». Наплевать, и точка. Ей вполне хватает собственного крошечного существования.

Вот в чем было дело. Она источала таинственную прелесть равнодушия, покоя. В этом смысле в ней было сходство с родным дядей Вилфреда, Мартином, хотя у того это выражалось по-иному. Круг, в котором существовал дядя Мартин, был широк, сюда входила и биржа, и иностранные торговые фирмы – огромное поле деятельности, приносящее радости и огорчения тебе и другим. Но на самом деле дядя окружал себя делами, просто чтобы его оставили в покое, да еще и потому, что на деловые темы принято говорить. А на самом деле ему было плевать на все с высокого дерева. Кстати, это было его любимое выражение. Музыка, изысканные произведения искусства, которые повергали других в трепет, которые действовали на дядю Рене так, что было видно, как он бледнеет под напором впечатлений... даже нищета и опасности, о которых дядя Мартин так любил пространно рассуждать... ему было плевать на все. Вилфред понимал это теперь, стоя на берегу, совершенно опустошенный и в то же время исполненный внутреннего ликования оттого, что на свете существуют такие люди. Наверное, они и есть подлинные эгоисты?

Взрослые очень часто рассуждали об эгоизме. Они произносили это слово с таким видом, точно им попало гнилое яблоко.

А они просто не понимают, что такое эгоизм!.. Они думают, это значит заботиться прежде всего о собственной выгоде. Они не подозревают, с какой страстью Вилфред мечтает замуроваться в одиночестве так, чтобы в святая святых своей души быть совсем одному и превратиться в твердый камень, покрытый лоском вежливости и предупредительности, которых они от него требуют. И вот, когда он станет независимым от них, превратится в камень, не думающий о других камнях, они будут видеть в нем только доброту, обаяние и геройство. И еще он хочет стать богатым, как дядя Мартин, потому что дядя, видно, и впрямь очень богат, но имеет самые неприятельные привычки, чтобы они говорили: «Ах, как он скромн, как много добра он делает втайне!» Быть богатым, уверенным в себе и никогда не задавать себе вопросов, что хорошо, что плохо. Да и вообще, зачем его так старательно учили всему тому, чему другие не учатся, – музыке, например (чего стоит хотя бы та весна, которую он провел с матерью во Франции еще до поступления в школу...), если не для того, чтобы он мог использовать свое раннее развитие, о котором они так любят говорить, и стать жестким, как камень?

Вилфред снова вышел на дорогу, и в эту минуту его окликнули из-за садовой ограды родители Эрны: они ужинали за крошечным столом под высоким каштаном, с которого вечно

что-нибудь падало в тарелки. Они ели блюдо под названием геркулес – хлопья, политые молоком. Вилфреду пришлось согласиться отведать этого геркулеса, который застревал у него в горле. Отец Эрны был директором какого-то учебного заведения и знал почти все, что касается вопросов воспитания, а то малое, чего он не знал, он изучал во время ежегодного пребывания в Англии, куда его посылали совершенствоваться, – там в некоем институте с 15 по 30 июня сообщались дополнительные сведения по вопросам воспитания.

Отец Эрны разглагольствовал о характере, о закалке и еще о чем-то, что он именовал чистотой духа. Единственный во всем поселке, он ходил голый по пояс, растирал себя песком и ел только сырую пищу. Он наставительно похвалил Вилфреда за его поведение. По-видимому, оно явилось результатом того бойскаутского спортивного духа, обладая которым человек всегда твердо знает, как ему следует поступать.

Девятилетний братишка Эрны, которого заставили полоть грядки с редиской, хитро наострил уши.

Вилфред осторожно покосился на Эрну. Впервые за все время их знакомства он уловил на ее лице выражение, в котором была не только искренность. Неужели она всегда так стыдится этого граммофонного оракула, над которым любят потешаться, потягивая на балконе виски, дяди Вилфреда и прочие самоуверенные господа, которые тоже знают все на свете, только на свой лад? Даже мать Эрны, которая, подчиняясь своему мужу, в дни, когда у них бывали гости, надевала нечто вроде национального костюма, рассеянно помешивала в тарелке свою порцию хлопьев. Все считают, что отец Эрны говорит глупости, а может, на самом деле это не так уж глупо? Если бы Вилфред не боялся, что его выдаст насмешливый голос, он вполне мог бы начать поддакивать ему, как он поддакивал домашним оракулам.

– Я совершенно согласен с вами, что нет оснований славословить того, кто пришел на выручку своему товарищу, – заявил Вилфред. В душе он сам посмеивался над тем, что употребил выражение дяди Мартина «славословить». Когда в разговоре со взрослыми он употреблял выражения других взрослых, в глазах его собеседников появлялась растерянность. Эрна бросила на него быстрый взгляд. Была ли в нем благодарность или страх, что он станет потешаться над ее отцом?..

Отец Эрны одобрительно хмыкнул и отправил себе в рот полную ложку хлопьев с молоком. Он напоминал Вилфреду корову, жующую жвачку. Воспользовавшись подходящей минутой, Вилфред добавил:

– Но английское движение бойскаутов вовсе не приводит меня в восторг.

На лице Эрниного отца появилась снисходительная улыбка, какой улыбаются педагоги, когда несведущие люди подвергают сомнению их идеи.

– Ах вот как, нашему юному другу не нравится движение бойскаутов! – Он оглядел членов своей семьи и поманил к себе младшего сына, сидевшего на грядке, чтобы и он мог извлечь пользу из поучения. Это был маленький лохматый разбойник, который жадно пялил глаза на вазу с черносморозинным вареньем. – Да позволено мне будет спросить нашего юного героя, знаком ли он с основными заповедями Бейден-Пауэрла? – И он ласково, но решительно положил руку на взъерошенную голову младшего сынишки.

– Я внимательно прочел их, – беззаботно ответил Вилфред. – Все, что там сказано о честности и чистоте, похоже на то, что говорится в других книгах. Но по-моему, для нормальных мальчишек это слишком скучно. Это похоже на обычные правила поведения.

Директор даже подпрыгнул на своем стуле. Забавно было подразнить его чуть-чуть, самую малость.

– По-моему, люди – и в особенности молодые – устроены более сложно и поступки их вызваны различными мотивами, поэтому прописные истины этого Бейден-Пауэлла оставляют их равнодушными.

Эрна опустила глаза в тарелку, ее младший брат переминался с ноги на ногу, то ли оттого, что его разбирал смех, то ли от нетерпения. Отец собирался уже осадить спорщика, но, должно быть, какая-то мысль остановила его, и он ограничился тем, что сказал:

– Как видно, дома ты слышишь суждения другого рода. А среда оказывает огромное влияние на взгляды молодежи.

– Вот именно, – примирительно поддакнул Вилфред.

Пора было откланяться. Он знал, что к родителям Эрны детей и подростков зазывают только для того, чтобы читать им наставления. Но когда он поднялся из-за стола, какой-то бесенок толкнул его под руку:

– На нас, детей, действительно влияет то, что мы слышим дома, но часто в противоположном направлении.

Он вежливо простился с матерью Эрны, поблагодарив за чудесное угощение. Хозяин дома смотрел на него снисходительно. Вилфред чувствовал себя как бабочка, насаженная на булавку. Останься он здесь еще минут десять, и он будет причислен к педагогическим «казусам», о которых столь часто рассуждает ежемесячный журнал «За здоровье духа и тела». Журнал весь этот год присылали к ним домой, на Драмменсвей. Вилфреду никогда прежде не приходило в голову, что посылал его, конечно, отец Эрны.

Вилфред шел домой между двумя рядами вязов, составлявших зеленую изгородь, давясь от смеха при воспоминании о бравом отце Эрны, который черпал свою патентованную мудрость из ежегодного июньского курса лекций при институте в Кенте. И вдруг листва зашуршала, и Эрна, раздвинув ветви вяза, оказалась перед ним на тропинке.

– Как тебе не стыдно смеяться над моим отцом! – сказала она. Ее щеки пылали от негодования. Она была прелестна.

– А я не смеялся. Я просто поспорил с ним немножко. – Вилфред тоже рассердился.

– А для отца это одно и то же. Как ты не понимаешь, ведь ему никто никогда не перечит.

– Тем более давно пора это сделать, – равнодушно возразил Вилфред. – Вам и самим, как видно, надоели его рассуждения о здоровье.

Теперь они стояли совсем близко друг от друга. Вид у Эрны был огорченный и покорный. Гнев ее уже улегся.

– Ты считаешь, что он очень глупый? – спросила она.

Вилфред посмотрел на нее примиренным взглядом. С такой преданностью ничего не поделаешь. Она готова была признать, что каждый по-своему прав.

– Не глупее других, которые из себя что-то строят, – ответил он. – Ты знаешь фру Фрисаксен?

– Эту гадкую женщину... – Эрна в ужасе смотрела на него.

– Она ничего из себя не строит, – сказал он. – Да и ты тоже, но ты еще не стала взрослой.

Она обрадовалась и в то же время смутилась.

– А ты, Вилфред, – спросила она, – разве ты что-нибудь из себя строишь?

– Конечно, – ответил он, притянув ее руками за шею. С минуту они постояли, сблизив головы. Ее позвали из дома. Она сразу же наполовину скрылась в листве. В этом доме послушание было не только теоретическим понятием.

– Передай привет твоему братцу, – шепнул Вилфред. – Этот маленький разбойник вряд ли станет бойскаутом.

Она обернулась к нему. Казалось, она составляет одно целое с листвой деревьев.

– Вилфред, – тихо сказала она. – А ты не дашь мне почитать эту твою историю искусства?..

На мгновение он оцепенел. Потом почувствовал, что растроган:

– Ох, да не читай ты, пожалуйста, таких книг, я и сам их читаю ради форса.

Голоса, окликавшие Эрну, зазвучали ближе. Она беспомощно покачала головой, потом мгновенно исчезла в зелени.

– Я искала котенка! – услышал он ее голос.

«Вот тебе и искренность!» – озорно подумал он. В теперешнем своем радужном настроении он наконец отважился додумать свою мысль до конца: «Когда я вытаскивал Тома из воды, я тоже строил из себя героя – ведь я знал, что Эрнэ вот-вот появится на берегу».

14

Тетя Кристина страдала мигренями. Мигрень разыгрывалась у нее от каждого пустяка. Мать едва заметно улыбалась, когда Кристина бродила по комнатам в поисках удобного местечка, чтобы прилечь. А Кристина смиренно говорила, что самое обидное – страдать одной из двух болезней, которые другим всегда кажутся притворными, – бессонницей и мигренью. Вечно находится кто-нибудь, кто слышал, как ты храпишь в пять часов утра.

Для Вилфреда наступила маленькая передышка. Его безудержное желание на время угасло, поскольку в дело вмешалась болезнь. Состояние Кристины было не настолько тяжелым, чтобы вызывать к рыцарской стороне его чувств. К тому же тетя слишком обстоятельно описывала симптомы своей болезни. Вилфред вообще никогда не понимал, что за охота людям излагать подробности своих недугов.

Но мир, в котором он жил этим летом на даче, мир, в котором он видел путь к отказу от своих прежних грехов и великому преображению, рухнул. Кристина принесла ему разочарование, потому что, избегая его теперь, она невольно напоминала ему о его неудачном посягательстве. Эрнэ принесла ему разочарование, потому что ее трогательная преданность обезоруживала его жажду насилия; Вилфреда преследовали греховные видения, а ему дали поиграть бабочкой. Мать принесла ему разочарование, потому что все время была настороже, подозревая его даже в том, в чем он не был повинен. А из тех детских игр, которые прежде доставляли удовольствие им обоим, Вилфред вырос.

Но по сути дела, источник всех разочарований был в нем самом. Вялые потуги воображения уже не рождали прежних видений. Сокровищница его детства потеряла былой ореол. Даже

старая игра с дарами моря приняла новый оборот. Прежде случайные предметы, принесенные со дна морского, с кораблей, из чужих стран, попадая на сушу, приобретали ореол таинственности, даже если это был какой-нибудь старый тюфяк. Все, что было связано с морем, манило и обещало. Теперь Вилфред опять возлагал все свои надежды на море, словно в облике предметов, какие он обычно с торжеством приволакивал домой – стеклянных шариков, домашней утвари, – к нему могло вернуться детство. Он понимал, что сам противоречит себе, когда, готовясь покорить новый мир, ожидает радостей от того, что кануло в прошлое. Да и попытка найти эти радости оказалась тщетной. Предметы, которые Вилфред приносил домой, оставались тем, чем они были, – прозаическим протестом против грезы, которой он хотел насладиться вопреки всему.

Однажды он принес домой поплавков от невода, и кто-то из взрослых спросил, стоит ли собирать всякий хлам. Почва ушла у Вилфреда из-под ног. Но в ту же минуту он вновь обрел свою победную уверенность – только взрослые с их плоской глупостью могут оказаться такими банкротами перед чудесами жизни. И однако, отныне, когда выброшенные морем сокровища начинали уже наполняться смыслом, преображаться в соответствии с его смутной мечтой, чей-то чужой голос, который в то же время был и его собственным голосом, нашепывал ему: «Стоит ли собирать всякий хлам?..» В Вилфреде сосуществовали две силы; одна предавала другую. А его влекло по очереди то к одной, то к другой: к той, что создавала волшебный ореол, и к той, что убивала его.

Оставался один выход – стремиться совсем к другому, к тому, что опустошало душу, оставляя в ней сухой темно-красный привкус, терзавший тело и мысли. Но это другое нельзя было коллекционировать, тут нельзя было ждать, пока оно преобразится в соответствии с твоими мечтами. Тут нужно было действовать.

Но тетя Кристина страдала мигренью, а Эрна была бабочкой.

Ничто не помогало Вилфреду убежать от того, от чего он хотел убежать. Газеты снова заговорили о дурацких весенних проделках, после того как целых три недели они пережевывали только визит британских кораблей. А теперь газетные колонки опять запестрели заметками о сбившейся с пути молодежи вперемежку с сообщениями о последнем побеге Элиаса Теннесена из тюрьмы в Ботсе. Газеты писали, что знаменитый вор стал идолом всех мальчишек, даже дети порядочных родителей теперь занимаются воровством и кое-чем похуже. Вся молодежь Христиании из спортивного интереса в большей или меньшей степени подражает французским бандитам...

Спортивный интерес!..

Дядя Мартин, ссылаясь на свою неизменную «Сосиал-демократен», заявил, что общественность не потерпит, чтобы выгораживали детей имущих классов. Бедные дети, вздохнула мать.

В один прекрасный день Маленькому Лорду пришло письмо. Он обнаружил его в желтом деревянном почтовом ящике у причала. Внутри ящика пахло разогретым на солнце деревом, почти как в купальне.

Письмо лежало на самом дне ящика, кроме него, здесь валялся только потрепанный номер «Городского миссионера», брошенный сюда по ошибке с месяц тому назад. Маленький Лорд несколько раз прочел адрес на конверте, прежде чем решился дотронуться до письма. Невидимая рука стиснула его сердце. Письмо – это обязательно какая-нибудь неприятность. Судя по крупным, округлым, неровным буквам, письмо написано детской рукой. Письмо от школьного товарища – все возможные варианты вихрем проносятся в голове Вилфреда. Но в глубине души он прекрасно знает, от кого письмо.

Он не сразу распечатал конверт, а осторожно держа письмо в руке, оглянулся по сторонам.

Южный ветерок легонько играл его волосами; на молу, где ему был знаком каждый камень и глубокие рытвины – следы троса – на сваях, все было прежним. Все было прежним и все стало другим из-за письма: возникло новое состояние, изменившее прежнее состояние, и без того насыщенное тревогой. Во времени произошел сдвиг. Маленький Лорд вновь возвращен к тому неприятному, что случилось весной, нераскрытое снова всплывает на поверхность, и от этого начинает сосать под ложечкой.

Он побрел вверх по первой попавшейся тропинке между двумя давно не крашенными оградами. Тропинка вывела его на площадку, откуда открывались широкие дали и где все дни, кроме воскресных, не было ни души. Это была небольшая утрамбованная впадина с вытоптанной, запыленной травой. И вдруг Вилфред бросил письмо на землю и быстро зашагал прочь. У него мелькнула мысль, что если сделать вид, будто ничего не произошло, то и в самом деле ничего не произойдет. Когда он обернется, письма уже не будет в помине, позади он увидит только темную пыльную площадку с реденькой травой. Но когда он обернулся, письмо как ни в чем не бывало лежало на прежнем месте, и он стремглав помчался назад за письмом, чтобы никто его не опередил. Вилфред вдруг понял, что никто не должен пронюхать, что ему пришло письмо. Письмо летом – это целое событие. Каждому хочется хоть краешком глаза увидеть, что в нем такое написано.

Вскрыв конверт, Вилфред сразу убедился, что письмо от Андреаса, и тут же понял, что речь в нем пойдет о велосипеде, который он одолжил Андреасу с условием, что тот возьмет его из тайника на Блосене, где он остался после злосчастной ночи, когда Вилфред пытался «совершить поджог и напасть на полицейского», как писали в газетах. Андреас сообщал, что к ним два раза приходила полиция и спрашивала насчет велосипеда. В первый раз это было уже давно, недели через две после экзамена в школе, в другой раз – когда Андреас вернулся в город, – они всей семьей гостили в деревне у теток в Тотене. Как видно, кто-то из полицейских приметил красивый английский велосипед и теперь узнал его. Андреас не скрывал от Вилфреда, что много ездил на нем.

Вначале Андреас все отрицал, а потом признался, что нашел его на Блосене и взял покататься, но в первые вечера возвращал на место. Полицейские ведь знали, что велосипед английской марки и не похож на обычные, норвежские. Отец Андреаса потребовал, чтобы сын рассказал всю правду полиции или хотя бы родному отцу. Но Андреас ни за что не скажет правду никому на свете, потому что он подумал – а вдруг Вилфред что-нибудь натворил? А он, Андреас, не из тех, кто предает друга...

И подпись – «твой друг Андреас».

Внутри у Вилфреда все дрожало мелкой дрожью. Только руки твердо держали письмо. «Друг», – подумал он с чувством вины и стыда. Но в следующую минуту он успокоился, к нему вернулось присутствие духа и ожесточение. Друг? А на что он нужен – друг? Вилфред одолжил Андреасу велосипед на неопределенный срок. Он доставил Андреасу удовольствие, у того ведь нет велосипеда. Теперь у Андреаса из-за велосипеда начались неприятности. Какое до этого дело Вилфреду? Разве он тогда нарочно хотел навлечь подозрения на Андреаса, в случае если полицейский заметил велосипед? Разве он хотел навлечь на Андреаса беду?

Нет, Вилфред этого не хотел. Сейчас, стоя на площадке наверху холма, он был твердо в этом уверен. И в то же время понимал, что ему недаром хотелось, чтобы Андреас взял велосипед с Блосена. У самого Вилфреда в ту пору было дел по горло. А вообще он не из тех, кто предает друга...

Это Вилфред не из тех, кто предает друга? Да, Вилфред. Он не из таких. И Андреас не из таких. Они друзья, они всегда выручают друг друга. Андреас выручил его. Теперь черед Вилфреда. А может, его черед еще не наступил? Андреас еще не отделался от этой истории.

Пусть выпутывается как знает. А потом уже настанет черед Вилфреда. Тогда будет выпутываться он. Так они и выручают друг друга.

Вилфред разорвал письмо на мелкие клочки, чтобы окончательно покончить с этим вопросом. В самом деле, чего ждет от него Андреас? Ничего. Впрочем, в письме нет ни слова о том, что он чего-то ждет. А может, там и написано об этом? Все равно уже поздно – письма нет. Да и вообще, что Вилфред может сделать? Скоро, очень скоро полиция перестанет копаться в этой истории. Ведь пожара не произошло, а дураку полицейскому за это время пришлось, наверное, пережить другие приключения. Да и по правде, все это уже давно никого не интересует. Мало ли что пишут газеты? Сам Вилфред давно с этим покончил. Его сейчас волнуют вещи поважнее.

И вдруг, обрушившись на него, точно девятый вал, которому не видно границ, перед Вилфредом встало все разом: Эрна, Кристина, мать, полиция... Чувства, слова, все, что он говорил, все, что он делал... Точно кто-то другой говорил и действовал за него, ввергнув его в какие-то чудовищные дебри. Он стоял, обеими руками сжимая клочки письма: «Что это со мной?»

Его охватил страх. Он упал на колени, в пыль, зарывшись пальцами в гравий и траву, словно желая похоронить в них обрывки истерзанного письма, похоронить самого себя со всеми своими горестями и угрызениями: «Что это, что это со мной!»

И вдруг, овладев собой, он встал, охваченный бессильным гневом против всех. Ему хотелось убить – да, да, убить всех по очереди, убить хитроумным и невероятным способом, а заодно положить конец соблазнам и нежностям, которыми его допекали, и остаться одному с ясной душой и чтобы поблизости не было родственников и самоотверженных друзей, которые готовы наложить в штаны из-за проделок Вилфреда. Он вырвет с корнем всякую преданность в самом себе и в других и останется один в этом идиотском мире, который опустошит по своему усмотрению.

Вилфред увидел маленький белый пароход в дали фьорда. Пароходик обогнул бакен в середине фьорда, и отсвет солнца на мгновение блеснул во всех его окнах. Потом повернулся в другую сторону и исчез. И Вилфред вдруг почувствовал себя усталым и покинутым. При виде мирного пароходика все его пылкие мстительные чувства развеялись. «Бедный Андреас сидит теперь в городе, – додумал он, – и не знает, что делать». И он увидел перед собой лицо оробевшего Андреаса, который читает «Нищего Уле». Увидел отца Андреаса под пальмой в столовой, где на буфете стоит нечищенная посуда из накладного серебра, – как он сидит, прикрывшись газетой, точно защищаясь ею от окружающего мира.

И вдруг мир, от которого этот человек пытался защититься, обрушился на него, и все потому, что какой-то мальчишка на другой улице, совсем в другом мире вытащил камешек из кладки фундамента, желая смутить покой, нарушить равновесие того устойчивого окружения, которое не находит отклика в мятущейся мальчишеской душе. Не удивительно, что отец Андреаса потребовал объяснений у сына. Он и без того хлебнул горя в жизни.

И все-таки Вилфреду казалось совершенно несправедливым, что он, вкусивший сладость превосходства над другими, должен попасть в беду во имя того, чтобы поддержать семейный мир в столовой на Фрогнервей. Какую ценность представлял собой его друг Андреас? Вилфред даже не помнит толком, как он выглядит.

Предать. Предать друга...

А может, все это пустые слова? Не созданы ли подобные слова, которые только затуманивают смысл понятий, именно для того, чтобы люди, подобные отцу Андреаса, могли спокойно дремать в качалке, заслонившись газетой от мух? «Каждый должен уметь постоять за себя, – говорит дядя Мартин. – Каждый должен крепко стоять на ногах». Вилфред окинул

взглядом свои худые загорелые ноги. Крепко ли он на них стоит? И верно ли, что это его собственные ноги?

Да, Вилфред крепко стоит на ногах. Все это неприятности временные, и, одолев их, он придет к великой независимости и одиночеству. Проклятое письмо. Даже его клочки не дают Вилфреду покоя. Хорошо бы побыстрее разделаться с ними. Он отшвырнул их в сторону, чтобы развеять по ветру. Но ветерок принес их обратно, точно облачко, и они расположились почти по кругу – белые клочки бумаги, исписанные глупым почерком, синими чернилами. Чудеса! Ветер будто нарочно вдруг переменял направление...

Снова подобрав клочки письма, Вилфред скомкал их, а потом сунул в карман, решив, что сожжет их дома. Нет ничего проще: поднес спичку, чирк – и с письмом покончено.

Покончено. Покончено. Но только не для Андреаса. Жизнь Андреаса состоит сейчас из страха и дурных предчувствий. Письмо было не угрозой, а воплем о помощи того, кто просит, чтобы его спасли. Правда, тут речь не о том, что кто-то немой и бледный лежит ничком на дне. И не о том, чтобы совершать героические поступки. Здесь речь идет о простой порядочности.

Порядочность? От кого Вилфред слышал это слово? Что за мука! Что за мука – вечно слышать под оболочкой слов какое-то жужжание. Чужие слова навязывали себя, требовали, чтоб он их употреблял, и отчасти даже подменяли собой смысл. Как он мог добраться до сути вещей, когда над нею громоздилась такая уйма слов, слов, которыми пользовались взрослые и которые Вилфред присвоил до того, как обзавелся собственными словами, потому что вечно торчал среди взрослых.

Дядя Мартин. Опять дядя Мартин. Это он говорил о порядочности. Но дядя Мартин богатый, уверенный в себе толстяк...

Может, в этом весь смысл – стать толстяком?

Толстяком, как дядя Мартин, или бедняком, как фру Фрисаксен, или и толстяком и бедняком. Но главное – несокрушимым. Вилфред все стоял в нерешительности, и ему казалось, что лучи солнца просвечивают его насквозь. Раки, меняющие панцирь, – где-то он читал о них? Они забиваются под скалы и камни, но они беззащитны даже перед мелкими рыбешками. А он-то думал, что сам он...

Да нет, он был прав! Его не увидишь насквозь. «Бог видит все», – твердила фрекен Воллквартс, впрочем, не утруждая себя доказательствами. А что, если бог, в которого не верит даже мать, в данный момент смотрит сквозь Вилфреда, но не замечает ни его, ни письма... О письме известно только самому Вилфреду. А тот трусишка в городе и его безвольный отец – что он, Вилфред, знает о них, кроме того, что написано в письме, которого вроде бы и не было? Какое ему дело до пальм и запаха супа, до этой смеси бедности и неряшливости, его влекло к ним одно только любопытство! Вдобавок у Андреаса на руках бородавки. Если бы тогда на дне моря лежал Андреас, Вилфред ни за что не дотронулся бы до его бородавок. Он постарался бы спасти его от смерти, но до бородавок не дотронулся бы.

«Нищий бездонный!» Вилфред увидел перед собой потерянное лицо Андреаса во время экзамена, снова представил себе, как земля разверзлась у Андреаса под ногами, когда он открыл свою сокровищницу – «Нищего Уле» – и увидел, что она пуста, это пережил когда-то сам Вилфред из-за Ника Картера. Что ж, Вилфред и в самом деле постарался в тот раз спасти приятеля от смерти, несмотря на всякие там бородавки.

Ах, злосчастный Уле! Окаянная, проклятая, мерзкая страсть соваться в чужие дела. А ведь Вилфред решил охранять свое одиночество. Вот и предоставил бы дураку самому распутываться с «бездонным нищим». Разве не так поступил бы дядя Мартин? Толстый,

благодушный, он предал бы всех встречных и поперечных, а потом, сидя в удобном кресле и покуривая сигару, принялся бы сокрушенно разглагольствовать о том, что народ беден и общество под угрозой, и о том, что вот-вот разразится война, о которой сейчас все так много говорят. А может, война не такое уж бедствие? Она камня на камне не оставит от того, во что люди ушли с головой, так что они волей-неволей выползут из своих нор и пойдут защищать родину...

И вдруг письмо приобрело в глазах Вилфреда новый смысл. Он вдруг понял, что стоит перед выбором. Чего тут только нет: мать, Эрна, Кристина, школа, консерватория; дядя Рене написал матери, что для Вилфреда в этом году в консерватории есть место. Но Вилфреду не хочется снова вступать в отношения с этим Моцартом – гениальным ребенком, о котором по их настоянию он прочел кучу книг и которого без конца муштровал папаша, вздумавший сотворить из него чудо. Письмо – Вилфред разорвал его в клочки. Каждый раз, когда он оказывался перед выбором, он все рвал в клочки, чтобы это все не наседало на него, не принуждало его делать выбор. Может быть, и остальные люди поступают так же и поэтому мечутся от одного решения к другому, всегда только

делая вид...

Не считая фру Фрисаксен. Или отца Андреаса. Эти не притворяются.

Но те, кто не притворяются, – неудачники. А остальные всегда что-то из себя строят, куда им это удастся. Но может, даже на это у них не хватает умения. Вот у них и бывают срывы. Наверное, именно в эти минуты лицо у них становится расстроенное, они отвечают невпопад или начинают злиться. Так бывало с матерью. И с тетей Кристиной. И с фрекен Воллквартс, которая изображала сплошную доброту и понимание, и вдруг от доброты не оставалось и следа, она становилась решительной, твердой, и за ее любезностью чувствовалась подавленная злость, такая, что ученики цепенели от страха...

Размышляя, Вилфред не заметил, как дошел до противоположной стороны узкого перешейка. Здесь над берегом нависали скалы и было темно даже днем. На этой стороне не строили дач, здесь были болота и камни, болота и камни, а дальше, по другую сторону равнины, тянулся длинный и мелкий рукав фьорда, где вода пузырилась и пахла тиной. Там, в глубине фьорда, жила фру Фрисаксен, а посреди равнины на клочке земли, расчищенном от камней и осушенном ценой тяжелого многолетнего труда, стоял домик садовника.

Вилфред сделал крюк, чтобы стороной обойти дом садовника. Мысль о Томе и его благодарных трудолюбивых родителях была для него невыносима. Он слышал лай садовникова щенка. Но когда он очутился перед красным домиком фру Фрисаксен, решимость вдруг покинула его. Он и сам не знал, что привело его на этот берег, куда не заглядывал ни один дачник. Теперь он заметил, что домик вовсе не красный, а серый и только на северной торцевой стене, куда почти не проникало солнце, сохранились следы красной краски. Значит, фру Фрисаксен так бедна, что не может даже покрасить дом. Или просто не хочет. «На мой век хватит», – верно, думает она. Она ведь не из тех, кто станет

делая вид.

Вот этого Вилфред и хотел. Хотел посмотреть на дом. Дом был серый. Серый цвет ему подходил, да и вообще это был красивый цвет, почти серебристо-серый. Одно окно было заколочено досками. Разбитое стекло другого заткнуто тряпками и газетами. Чуть подалее от берега, где было глубже, Вилфред заметил белую лодочку фру Фрисаксен, впрочем, она тоже была серая. Здесь, в тени скал, она уже не походила на золотую чашу. Далеко же приходилось плыть женщине каждый день до маяка и впадины, где водились мерланы!

Да, далеко. Дом был развалюха, лодка ветхая, а путь долгий. Вот как мыкала свою жизнь фру Фрисаксен. Теперь Вилфред знал ее невзгоды. Ничего примечательного. Здесь, на отшибе,

обрела она свое одиночество. Поскольку она не смогла одержать победу над жизнью, конкурируя с другими людьми, она одержала ее вне конкуренции. Одержать победу можно над чем угодно, лишь бы взяться за дело так, чтобы то, над чем ты хочешь одержать победу, стало достаточно маленьким и легко одолимым. А значит, победителем может быть каждый.

Теперь Вилфред это понял. Он повернулся, чтобы тем же круглым путем вернуться назад через равнину. Пушица кивала ему со всех маленьких кочек; с топкой трясины, тянувшейся среди них, напевая, взлетела красноножка. Он нащупал в кармане обрывки письма. И тут же почувствовал на себе чей-то взгляд.

Он так быстро обернулся, что успел увидеть, как морщинистое лицо фру Фрисаксен отстранилось от окна, где стекло было цело. Он тотчас решился, быстро шагнул к двери на южной стороне дома и громко постучал. Фру Фрисаксен сразу же открыла дверь.

– А-а, это вон кто! – сказала она, не выказав удивления.

– Он самый! – весело подтвердил он, передразнивая ее интонацию.

– Стало быть, твоей матери нужно пособить по хозяйству. Небось большую стирку затеяли?

– Я просто зашел к вам в гости, фру Фрисаксен, – ответил он после минутного колебания.

Кажется, она насторожилась? А может, была тронута?

– Коли так, заходи, – сказала она.

Вилфред неуверенно переступил порог. Он слишком привык угадывать задние мысли людей. Они любезностью прикрывали неприязнь или прятали радость под личиной равнодушия. Но ФРУ Фрисаксен даже не предложила ему сесть. Да и сесть было некуда. На столе лежали порванные сети, они свисали на пол и на прибитую к стене скамью. В комнате было чисто и прибрано, но сидеть было не на чем. Медный крюк над плитой был начищен до блеска. Пахло чем-то сладковатым, как у Андреаса на Фрогнервей.

– Вот мой дом, – сказала она. – Тебе небось любопытно было поглядеть, как живет фру Фрисаксен.

– Да, – признался он.

– А твоя мать знает, что ты здесь?

– Нет.

Он стоял посреди просторной кухни, и ему доставляло огромное удовольствие говорить правду.

– Вон что! – сказала фру Фрисаксен. – Ну, вот ты и поглядел.

А может, в ее голосе все-таки проскользнула недружелюбная нотка? Дверь в комнату была приотворена. Покосившись на нее, Вилфред увидел край постели, покрытой темно-серым шерстяным одеялом.

– Там я сплю. И больше там ничего нет, – сказала она.

– Я знаю, – ответил он,

– Знаешь? Откуда?

– Я просто сообразил.

Что-то сверкнуло в ее глазах – грубоватое дружелюбие, напомнившее ему выражение, какое было в ее взгляде, когда она плыла за мерланами в лучах заката.

– Вон что! – сказала она. – Стало быть, ты смотришь да наматываешь себе на ус!

– Да.

Вилфред растерял всю свою изворотливость. Впрочем, ему даже и не хотелось выдумывать, представляться. Он стоял точно в трансе.

– Так вы и живете, фру Фрисаксен? – наконец выговорил он.

– Как так? – Она постояла, вглядываясь в него. – Ты спрашиваешь, все ли тут мое хозяйство? Ну да, сынок, все, с тех пор как умер Фрисаксен.

Он подумал: «Вот тут бы ей самое время вздохнуть, уж мои бы обязательно вздохнули».

– А давно он умер? – спросил Вилфред.

– Осенью будет пятнадцать лет.

Вилфред наслаждался ее непритворной суровостью.

– И никто никогда не навещает вас, фру Фрисаксен? А вдруг вы заболаете?

– Хочешь сказать – а вдруг я помру? Пожалуй, пройдет недели четыре, а то и пять, пока кто-нибудь заметит.

Он подумал: «Я хочу, чтобы она предложила мне сесть. Я должен ей понравиться».

– Я замечу, фру Фрисаксен, – сказал он. – Я сразу замечу, если не увижу вашей лодки.

– Полно, – быстро сказала фру Фрисаксен. – Одно дело замечать, что ты здесь, а другое не замечать, когда тебя

нет.

Он рассердился, потому что она была права.

– А я замечу! – повторил он.

– Ну что ж, тебе видней.

Он вдруг сообразил, что они спорят на довольно неподходящую тему. Чего ради он привязался к бедной женщине?

– Извините, – сказал он и повернулся к двери, чтобы уйти. На стене прямо против окна висела фотография, прикрепленная кнопкой. Молодой человек, почти мальчик, в матросской форме на фоне вывески кафе, и на заднем плане по тротуару идут три женщины и мужчина. Вилфред демонстративно остановился, может, сейчас что-то объяснится.

– Это Португалия, – сказал он.

Она сняла фотографию со стены и поглядела на ее обратную сторону.

– Откуда ты узнал? – В ее прищуренных глазах теперь светилось откровенное добродушие.

– Я не узнал, а догадался, я видел женщин в таких головных уборах на картинках Опорто.

– О-пор-то, – медленно, по складам произнесла она, отстранив фотографию как можно дальше в вытянутой руке. – Правильно, угадал. Это мой сын, Биргер. Давненько оно было.

– Я вижу.

– Видишь? – Теперь она и вправду была удивлена. – Откуда ж ты это видишь?

– А тут написано: тысяча девятьсот десятый год, рядом с «Опорто». Значит, два года назад.

– Подумать только, два года... – сказала она, опустив руку, в которой держала фотографию. – Неужто так давно?

– А где он теперь?

– С тех пор я не имела о нем вестей. Тогда он плавал юнгой.

Два шага до двери казались Вилфреду огромным пространством. Он просто представить себе не мог, как одолеет их.

– Это для вас большое горе, фру Фрисаксен! – сказал он. Проклятые слезы! Они подступили к глазам по старой привычке, по привычке притворяться в тех случаях, когда он считал, что уместно прослезиться.

Она смотрела на него в упор – узкие губы вдруг ожили, чуть дрогнув, и слегка запали, «точно простроченный с изнанки шов», подумал Вилфред, чтобы подавить слезы.

– Ну что ж, до свидания, фру Фрисаксен, – сказал он, протянув ей руку. Она коротко ответила на его пожатие. Ее рука на ощупь была жесткой, как коряга. Он быстро вышел, бесшумно прикрыв за собою дверь. Потом медленно, точно в бреду, двинулся прочь. Низенький домик садовника плавал перед ним в какой-то дымке, оранжереи парили над равниной, точно мираж. Ему надо было куда-то скрыться, чтобы дать волю слезам. Но он не соображал, куда идет, и просто медленно плелся куда глаза глядят. С фьорда низко над землей пролетела морская птица. «К дождю», – подумал он.

Услышав шаги за спиной, он быстро обернулся – это была фру Фрисаксен. Она держала в руке какой-то предмет – стеклянное яйцо.

– Я подумала, может, тебе пригодится, – сказала она задыхаясь и протянула ему яйцо. – Он его очень любил, Биргер.

Проклятые слезы – скрывать их было поздно. Он стоял, сжимая в руке стеклянную игрушку, и не сдерживал слез. Женщина стояла прямо перед ним в колючей траве – только тут он заметил, что она ниже его ростом. И в то же мгновение он перестал стесняться своих слез, которых не должен был видеть ни один человек на свете. В присутствии фру Фрисаксен такие вещи вдруг теряли значение.

Все это продолжалось какую-нибудь минуту, потом она повернулась и пошла; глаза ее были сухи, и вся она была какая-то высохшая. Она затрусилась к своему дому, что-то бормоча себе под нос, именно не бежала, не шла, а трусила мелкими шажками. Он обратил внимание, что на ногах у нее не ботинки, а толстые носки, обмотанные бечевкой.

– Спасибо! – крикнул он как во сне. Голос ему изменил, звука не получилось. Он сделал несколько шагов ей вдогонку. Но она уже скрылась за дверью дома. Будто ее и не бывало.

Вилфред стоял, сжимая в руке стеклянное яйцо и все еще не смея взглянуть на него. Ему опять казалось, что какие-то существа вокруг него видят его насквозь. Рак без панциря. Равнодушный взгляд фру Фрисаксен сменился взглядом отовсюду, громадным зрачком, и

Вилфред оказался внутри этого огромного, всевидящего зрачка, которому он был открыт со всех сторон. Вилфред поднял руки над головой, чтобы заслониться от него. Но тот не исчезал. Так он и шел, подняв руки, но глаз глядел со всех сторон. Вилфред шел, все ускоряя шаг, потом пустился бегом, сжимая в поднятом кверху кулаке чудесное гладкое яйцо; он бежал по равнине, через болото, к скалам, где было темно и холодно. Рук он не опускал, спортивные тапочки мало-помалу промокли. Над равниной носились чайки, они описывали вокруг беглеца низкие круги, вились над его головой, следуя за ним, точно враждебная туча, но, впрочем, не трогали его, а просто не отставали ни на шаг, и они со своими пронзительными криками и гоготаньем тоже составляли как бы часть всевидящего ока, пока все окружающее пространство не превратилось в огромный белый глаз, уставившийся на него в упор.

Нырнув под скалистый навес, он бросился ничком на землю и перевел дух. Так он лежал долго. Здесь было что-то вроде пещеры, куда всевидящий глаз не мог заглянуть. Теперь Вилфред вытащил стеклянное яйцо, которое прикрывал своим телом, и поднес его к мутному свету, проникавшему из отверстия. Внутри яйца был маленький белый домик, домик из сказки. Вилфред встряхнул яйцо, и оно все заполнилось снегом. В сплошном снегопаде стоял домик внутри яйца – маленький самостоятельный мир, защищенный снегом и оболочкой яйца. Мир в снегу. Вилфред подождал, пока снегопад улегся, и снова легонько встряхнул яйцо. Снегопад начался снова. Точно загипнотизированный, смотрел Вилфред на яйцо. Погибший юнга Биргер... А может, он плавает себе по морям и у него просто нет открытки, чтобы послать матери? Может, он тоже укрылся в мире, который принадлежит ему одному и куда он не хочет впустить никого другого, а прежде таким принадлежащим ему одному миром было стеклянное яйцо с чудом снегопада, которым он любовался в долгие темные осенние вечера при свете керосиновой лампы в домике на берегу залива, когда смотритель маяка приводил в порядок запутавшиеся сети, в которые он под конец попал сам. Говорят ведь, что его тело нашли в сетях, в которых он запутался, точно рыба. Откуда-то издалека отсутствующая душа Биргера слышала материнский зов, голос всех матерей – они зовут и зовут сыновей в тоске, которая заставляет тех уходить все дальше. Разве сам Вилфред не слышит эти голоса? Даже сейчас. А может, это музыка: напевающий Моцарт, напевающий, напевающий, бесконечная филигрань звуков... Да нет, ведь это дождь. Это дождь шуршит у входа в пещеру, где притаился Вилфред. Наконец-то он начался, живительный летний дождь, слезы громадного глаза, окружившего Вилфреда со всех сторон.

Он опустил руку в карман и нащупал влажные обрывки письма Андреаса.

Стеклянное яйцо – казалось, оно все привело в ясность. Вилфред увидел перед собой другую пещеру, сложенную из досок, где он забавы ради пытался подбить мальчишек на преступление. Письмо от Андреаса. Муж фру Фрисаксен, запутавшийся в сетях. Биргер, который все глубже погружался в свой одинокий мир, настолько, что он ни разу даже мельком не вспомнил о своей морщинистой матери в сером домике, когда-то выкрашенном красной краской. Отец Андреаса, в одиночестве сидящий под пальмой. Вилфред еще раз повернул яйцо, на маленький домик снова посыпался снег. В этом замкнутом пространстве, заполненном падающим снегом, было какое-то захватывающее одиночество. Быть может, сейчас где-нибудь в Пенсаколе в пустынном баре сидит юнга Биргер и, вспоминая свое стеклянное яйцо, чувствует, что попал в такой же точно мир, и, зачарованный собственными бесчинствами, не решается подать о себе хоть маленькую весточку. Он тоже попался в собственные сети.

Теперь и Вилфред почувствовал, что вокруг него затягивается сеть. Затягивается все туже и туже и вот-вот закроет отверстие пещеры. Сжимая яйцо в руке, он, согнувшись, выполз наружу. Дождь все лил. Он давно уже смыл всевидящее око, преследовавшее Вилфреда. Чайки низко проносились над берегом, не обращая на него внимания, когда он шел назад, к перешейку в сторону островов.

Не успел он переступить порог дома, как почувствовал, что что-то случилось. Ни в прихожей, ни в гостиной, ни в столовой не было ни души, пусто было и на веранде. Тут он увидел мать, быстро спускавшуюся по лестнице со второго этажа. Лицо ее было сумрачно.

– Почему ты не пришел к обеду? – спросила она.

– Разве уже так поздно? Я не знал...

– Поздно? Мы пообедали четыре часа назад. Где ты был?

– У фру Фрисаксен, – вырвалось у него.

– У мадам Фрисаксен? С чего вдруг?

– Не знаю. Она дала мне вот это.

Мать, не глядя, взяла в руки стеклянное яйцо.

– Тетя Кристина уезжает завтра утром, – сказала она.

Он понимал, что должен спросить почему. Но вдруг почувствовал, что не в силах. Ему казалось, что он все еще стоит в кухне фру Фрисаксен, улавливая сладковатый запах тимьяна. Вот в чем дело. В доме Андреаса тоже пахло тимьяном. Они клали его в гороховый суп.

– Я тоже поеду завтра в город, – сказал он.

– В город? Это еще зачем?

– Я получил письмо от Андреаса. Я должен ему кое в чем помочь.

Он почувствовал, что мать вот-вот потребует, чтобы он показал письмо. Он вывернул карман, несколько клочков бумаги упало на пол. Он выудил из кармана остальные.

– Андреас просил меня приехать. У него неприятности в школе.

– Чепуха, – сказала она. – Во всяком случае, завтра ты не поедешь. Может быть, как-нибудь потом. Кристина собирается в горы к тете Валборг и дяде Мартину.

«Как она сказала? – быстро подумал он. – Может быть, поедешь, но не завтра, то есть когда Кристины не будет в городе». Ему пришлось очертя голову ринуться в пропасть.

– Почему Кристина уезжает? – спросил он.

Мать ответила с каким-то облегчением:

– Твоя тетя жалуется, что у нас скучно, а у нее очень короткие каникулы.

Неужели Кристина так и сказала? Так откровенно – или, наоборот, именно не откровенно? Может, она потому и решила быть просто невежливой, чтобы только не проговориться, что ей не по себе от того недосказанного, что висело в воздухе и ничем не завершилось, – ведь с того самого дня она избегала Вилфреда.

– Так или иначе, я должен съездить в город, – холодно сказал он, сжимая в руке обрывки письма.

– Ну и отлично, – ответила она. – Мне тоже надо съездить в город, мы поедем вместе. Ты зайдешь к Андреасу, пока я буду у парикмахера.

Мать по-прежнему сжимала в руке удивительное яйцо. Он сам не мог понять, почему не взял его обратно. Он протянул руку. Но она вдруг подняла яйцо, разглядывая его на свет. Потом встряхнула его, пошел снег.

– Боже мой, – сказала она. – Это яйцо...

– Отдай мне его, мама, – попросил он. – Оно мое. Раньше оно принадлежало Биргеру.

– Биргеру? – переспросила она, впившись взглядом в сына. Потом стала внимательно рассматривать яйцо, нащупывая пальцем тонкую линию, нацарапанную на стекле. Вилфред не заметил ее прежде. Это была буква «С».

– Это игрушка Биргера, – повторил Вилфред. Он рассердился. Мать хочет отнять у него все, чем он владеет в одиночку.

– Это яйцо, умирая, держал в руке твой отец, – сказала она.

15

С той минуты, как Вилфред расстался с матерью на площади Эгерторв, он почувствовал, что сегодня у него будет удачный день. Посещение кондитерской удовольствия им не доставило. Чем больше усилий прилагали оба, чтобы обрести прежний тон, тем меньше он им удавался. Дело облегчало только то, что оба это скоро поняли и отказались от своих попыток.

И вот теперь мать смотрела, как сын легкой, непринужденной походкой идет по улице – взрослый юноша!

Три дня, которые прошли с того вечера в Сковлю, оказались для нее менее тягостными, чем она предполагала раньше, если вообще она когда-нибудь отдавала себе ясный отчет, что в один прекрасный день ее маленький сынок так или иначе узнает правду об отце. Но мальчик проявил душевную зрелость, какая еще полгода назад привела бы ее в ужас. Его первый вопрос был не о смерти отца, а о Биргере и фру Фрисаксен. Казалось, у него из головы не идет эта женщина, о существовании которой сама она с годами принудила себя забыть. Он просто спросил, сколько ей лет. И когда она ответила ему правду, что смотрительша из домика у залива примерно одних лет с ней, он как бы сразу понял все остальное:

– Значит, Биргер – сын моего отца?

Потом она сама удивлялась, как это вышло, что смысл всей истории по-настоящему дошел до нее только с той минуты, как он задал этот вопрос. Именно «истории». Она всегда думала об этом как об «истории», а не о том, что живет на свете мальчик, на шесть лет старше ее любимого сына, который приходится ему сводным братом, если те предположения... И теперь, когда по прошествии долгих лет случившееся стало для нее куда более очевидным, чем в ту пору, когда оно случилось, не говоря уже о тех годах, когда оно превратилось просто в расплывчатое воспоминание, эта очевидность вдруг перестала причинять ей боль. Замурованное в глубине души оскорбление превратилось в смутное любопытство: ведь эти люди в каком-то смысле продолжали жить прежней жизнью. Отщепенка мадам Фрисаксен перестала вдруг быть неким отвлеченным понятием в лодке, зрелищем, с которым приходилось мириться как с нежелательным явлением природы, несколько портящим вечерний пейзаж, но имеющим самое смутное отношение к чему-то в далеком прошлом. Она вновь превратилась в ту самую женщину, которую в былые годы дачники приглашали для разных мелких услуг и которая привлекала к себе бесстыдные взгляды кое-кого из мужчин

своеобразной бесовской прелестью, которую так ненавидят другие женщины, но которая, к их утешению, быстро вянет. Она была пожизненной карой зрителя маяка Фрисаксена за его юношеское легкомыслие и истинной причиной того, – по крайней мере так утверждали злые языки, – что суровый фавн впадал во все более глубокую меланхолию, пока в один прекрасный день его не

нашли, – так всегда говорилось в ту осень. О подробностях умалчивали, они были слишком тягостными. Но так уж получилось, что это создание носило имя Фрисаксена, и так или иначе мадам Фрисаксен считалась вдовой уважаемого человека, государственного чиновника. Что же касается ее сына...

Но когда Маленький Лорд спросил: – Значит, по-настоящему его фамилия Саген? Почему же ему живется не так хорошо, как мне? – фру Сусанна вышла из себя. Боже праведный! Где он только набрался таких идей? Как он представляет себе заведенный в мире порядок? Правда, эти идеи проникли даже в стортинг, но порядочные люди чураются их, и, уж во всяком случае, ему, зеленому юнцу, не пристало вбивать их себе в голову»

Хотя, впрочем, что, собственно, он вбил себе в голову?.. Когда позже она спросила сына, с чего вдруг он стал размышлять над подобными вопросами, он ответил:

– А я вовсе не размышлял, мама. Наверное, я просто угадал все это, сам того не зная; мы же всегда все угадываем. Не спрашиваем, не отвечаем, а намекаем и угадываем, как полагается воспитанным людям.

На это ей нечего было возразить. Она понимала, что еще полгода назад она была бы потрясена не горем, но разочарованием от того, что сын живет в каком-то своем мире, по соседству с их общим миром, в мире, полном догадок и еще бог весть чего. Может, вообще этот его мир совершенно не похож на все то, что ей известно.

А теперь она уже подозревала, что дело обстоит именно так, хоть и не верила в это до конца, как вынуждена была бы поверить, если бы это открытие ошеломило ее своей внезапностью. А стало быть, и она со своей стороны, сама того не подозревая, смутно угадывала, что что-то изменилось в ее отношениях с сыном и вообще вокруг. Когда позже, немного успокоившись, они вдвоем сидели в гостиной, ей вдруг вспомнился ее брат, Мартин. Может, именно к этому он и хотел подготовить ее своими постоянными напоминаниями о том, что мальчик вырос и что вообще он необычайно рано развился. Фру Сусанна представляла его себе таким маленьким Моцартом за клавирами. Он, мол, и в самом деле рано развился, но на свой собственный лад, а вернее сказать, на ее собственный... Пустые мечты...

Насколько он взрослый, она по-настоящему поняла лишь тогда, когда с благодарностью почувствовала, что ей не придется отвечать на вопрос, который ей всегда казался самым мучительным. Меж тем вопрос даже не облекся в форму вопроса. Вилфред сказал ей, явно подчеркивая, что разговор окончен:

– Я понимаю, мама, что отец умер скоростижно. Но сегодня вечером мы об этом говорить не будем.

Все пролитые слезы – теперь ей хотелось их забыть, И все невысказанные вопросы. Ей было приятнее вспоминать, как сын подошел к ее креслу, сел на подлокотник, взял ее руки в свои и сказал:

– Бедняжка, тебе тоже пришлось нелегко.

Это «тоже» продолжало ее мучить. Кого он имел в виду? Это создание в лодке или ее пациентка, плавающего невесть где? А может, самого себя? Неужели ее Маленький Лорд не был счастлив? Неужели мир, в котором они жили, был обманом, был всего лишь

псевдосуществованием, которое изредка становилось подлинной жизнью, – ведь ей иногда казалось, что и ее собственная жизнь реальна лишь постольку, поскольку она сама верит в нее в своем ленивом отвращении ко всему неприятному.

Она глядела вслед сыну, пока он переходил площадь Эгерторв под лучами пыльного августовского солнца. Видела, какой он высокий, стройный, какая у него легкая и изящная походка. Она украдкой старалась уловить, замечают ли это прохожие. Но прохожие были озабочены тем, чтобы на перекрестке улиц Акерсгате и Карла Юхана не попасть под колеса телег и автомобилей, которые непрестанно мешали друг другу из-за разницы в скорости.

Очутившись возле стортинга, Маленький Лорд обернулся и кивнул. Она почувствовала прилив гордости – материнской и девичьей одновременно, – которая тут же сменилась чувством собственной заброшенности. Он быстро зашагал в сторону Атенеума, чтобы там сесть на трамвай, ведущий на Фрогнервей, где живет этот самый его друг, с которым ему почему-то приспичило увидеться.

Сойдя с трамвая на Фрогнервей, Вилфред неожиданно увидел Андреаса и его отца, выходящих из дома, в котором они жили. Вилфред растерянно остановился на противоположной стороне улицы. Он шел сюда с таким чувством, что сегодня ему будет везти во всем. Сегодня им владел победоносный дух, та обаятельная ребячливость, которая помогает ему осуществить любую ребячливую затею. Но при этом он твердо рассчитывал, что застанет Андреаса дома одного. Как глупо. У Вилфреда оставалось два часа до той минуты, когда он должен встретиться с матерью дома на Драмменсвей, то есть ровно столько времени, сколько ему нужно, чтобы привести к какому-то концу историю с Андреасом.

К какому концу? Об этом он не задумывался. Он вовсе не собирался приносить себя в жертву или проявлять благородство. Просто он придет к другу, а там будь что будет, он отдаст себя на волю судьбы. Но как видно, у судьбы были свои планы на его счет.

Отец с сыном зашагали в сторону площади Фрогнер. Вилфред перешел дорогу и побрел следом за ними на почтительном расстоянии. Был полдень, площадь была по-летнему безлюдна. Если один из них вздумает оглянуться, укрыться негде.

Но ни один из них не оглянулся. Они шли медленно, чуть понурившись, и так, точно направлялись к определенной цели. Во всяком случае, ясно было, что они не просто прогуливаются. Теперь они свернули на улицу Нобельсгате, и Вилфред ускорил шаги, чтобы не потерять их из виду.

Добежав до угла, он почти нагнал их, поэтому остановился и немного пропустил их вперед. Потом снова зашагал следом за ними, отставая метров на десять – пятнадцать. В конце улицы они свернули налево, туда, где начинались дачные домики. Он быстро свернул следом за ними. Но они исчезли. Зато Вилфред оказался перед невысоким домом со скромной вывеской: «Отделение полиции».

Вилфред похолодел. Вот оно что. Он явился в последнюю минуту, а может, уже опоздал. Но главное – он все-таки приехал. Как все изменилось по сравнению с прошлым! Теперь он ни на минуту не стал затевать свою прежнюю любимую игру, будто, если захочет, он может изменить решение и не идти дальше. Он знал, что выход у него один. И все время видел перед собой лицо фру Фрисаксен.

Вилфред вошел в коридор, где стояла урна и на стене было три деревянных крючка. Он постучал в дверь. Рослый полицейский в форме открыл ему. Вилфред через его плечо заглянул в комнату. Там на двух табуретах сидели Андреас и его отец. Вид у обоих был совершенно потерянный.

– Я видел, как эти люди вошли сюда, – сказал полицейскому Вилфред. – Владелец

велосипеда я. А это мой школьный товарищ, Андреас. Он написал мне письмо, это я одолжил ему велосипед.

А немного погодя все шло уже именно так, как Вилфред себе рисовал заранее. Коротышка постовой тоже оказался здесь. В штатской одежде он напоминал беспомощного гнома. Маленький Лорд, прямой, как струна, отвечал на все вопросы: как его зовут, почему его велосипед оказался там-то и там-то и что он делал в этом районе города. Спокойно, не задумываясь, он объяснил, что въехал на велосипеде на холм, чтобы осмотреться, но растянул себя связку на ноге, положил велосипед под кусты и запер на замок. Потом сел на трамвай у стадиона Бислет, доехал до центра, а там пересел на трамвай, идущий до дома. Из-за растянутой связки он попросил товарища взять велосипед и разрешил ему покататься на нем. Коротышку полицейского спросили, тот ли это мальчик, которого он ночью видел на улице. Полицейский, пытаясь напустить на себя грозный вид, щурился на Маленького Лорда из-под кустистых бровей. Вилфред сильно вытянулся с весны. Полицейский вглядывался в открытое, честное лицо, так непохожее на то, которое вспоминалось ему после ночного происшествия на Соргенфригате. Потом помотал головой.

– Это не он, – объявил коротышка.

Отец Андреаса предложил мальчикам угостить их сидром и пирожными, которые продавались в павильоне в парке Фрогнер. Он вытащил коричневый кожаный кошелек, из тех, где мелочь вытряхивают в крышку, и расплатился сразу после того, как им подали то, что они заказали.

– Пожалуйста, не стесняйся, – сказал он Вилфреду, когда тот отказался выпить целую бутылку сидра. Это было первое самостоятельное высказывание, которое Вилфред услышал из его уст. Даже пригласил он мальчиков только после того, как сын втихомолку подтолкнул его в бок. Лицо Андреаса за стеклами очков сияло, ему не терпелось излить душу другу. Он выпил так много воды, что ему сразу же понадобилось выйти в уборную, в маленьком сарайчике в глубине двора. Вилфред остался один на один с его отцом, устало потиравшим рукой бледный лоб.

– Значит, это тебя зовут Маленьким Лордом? – спросил отец Андреаса и тут же улыбнулся неловкой улыбкой, которая казалась какой-то неестественной, точно механизм, управлявший ею, многие годы не был в употреблении.

– Меня так прозвала мать. Да она и сейчас еще иногда меня так называет.

– Андреас часто рассказывает о тебе. Это хорошо, что вы дружите.

Вилфред сидел как на иголках. От слова «дружите» его чуть не вывернуло наизнанку. Он даже не ожидал, что его самоуверенная ложь в полиции увенчается таким успехом, вернее, он смутно предчувствовал это, как всегда в дни своих удач. Но зато он никак не рассчитывал, что влипнет в интимную беседу с этим жалким беднягой, к которому он испытывал глубокую неприязнь.

– Андреас – славный парень, – промямлил он. Он с ужасом думал, что славный парень сейчас вернется, удовлетворив свои естественные потребности, и с удвоенной энергией примется откровенничать заодно со своим папашей.

– А как мама Андреаса, ей лучше? – осторожно спросил он.

По лицу мужчины прошла тень.

– Она никогда не поправится, – ответил он. – Только не говори этого Андреасу.

Стало быть, и эти двое тоже притворялись, тоже играли в ту игру, которая была принята в

кругу Маленького Лорда. Но эта игра казалась ему особенно убогой при воспоминании о темной столовой на Фрогнервей. Не лучше ли этим людям быть, как фру Фрисаксен, равнодушными и нелюбезными?

– Да-а... – вздохнул мужчина, щурясь от августовского солнца, проникавшего сквозь деревья в парке. – Нам-то это не страшно, по соседству такой роскошный парк.

Мальчик мгновенно восстановил ход его мыслей: все уезжают на лето из города, а семья Андреаса только короткое время гостила в Тотене – хвастать нечем. Теперь они вернулись в свою хорошую городскую квартиру, им не страшно и в городе посидеть, ведь у них под боком роскошный парк, остановка трамвая у самого дома, а молочная лавка в том же дворе...

– Да, конечно, тому, кто живет в таком районе, вполне можно летом оставаться в городе, – сказал Вилфред.

Мужчина так и просиял.

– Вот и я говорю – парк роскошный, и вообще... – Он сделал неопределенное движение. – К тому же мы ездили в Тотен, – добавил он. – Андреас очень любит Тотен.

Неужели он вправду так думает? Вилфред украдкой покосился на него. Андреас всей душой ненавидел Тотен, а сестру матери называл «жирной врединой», она большую часть времени проводила на скотном дворе, а своих гостей заставляла день-деньской таскать воду. К тому же в доме кишели мухи...

– И потом в городе нет мух.

– Вот именно! Нет мух! – Отец Андреаса еще больше обрадовался. В эту минуту вернулся Андреас, готовый поглотить еще одну порцию пирожных и ситро. – А мы с твоим другом как раз говорим о том, как славно у нас в городе, – сказал отец. – Чего стоит хотя бы то, что мух нет!

Андреас бросил быстрый взгляд на друга. Неужели Вилфред проболтался, что в Тотене спасу нет от мух и на каникулах хоть беги оттуда? Вилфред сразу увидел, как лицо Андреаса подернулось тревогой. Значит, он тоже пытается щадить отца и скрывает от него правду?

– ...просто я говорю, что, хоть ты и любишь Тотен...

Снова этот благодарный блеск в глазах. Неужели Вилфред так и не отучится совать нос в чужие дела и помогать людям выпутываться из их собственной лжи? Почему эти два проигравшихся игрока не могут играть друг с другом в открытую? Почему бы Андреасу не узнать, что его мать безнадежно больна? Зачем им изо дня в день делать вид «будто бы», ведь эта игра не избавляет их от необходимости каждую минуту быть начеку, чтобы не причинить боль другому?

Отец Андреаса бросил взгляд на часы. Вилфред подумал: «Ах ты старая конторская крыса! Да ведь ты отлично знаешь, который час, в твоей башке сидит будильник, он жужжит и жужжит, как муха, и ты

всегда знаешь, который час. И все-таки ты скажешь: «Глядите-ка, а ведь время-то уже...»

– Глядите-ка, а ведь время-то уже...

Вилфред посмотрел на свои часы.

– Половина первого! – воскликнул он, сделав испуганное лицо. Кажется, этот папаша, которого так легко купить, снова бросил на него благодарный взгляд?

– Твоему отцу, наверное, пора в контору... А меня ждет мать, – сказал Вилфред. Он решил, что лучше всего избавить их от лишних объяснений, да и самому так проще убраться восвояси. Но на лице Андреаса появилось нескрываемое разочарование. Все чувства этих людей были перед Вилфредом как на ладони, настолько, что ему даже казалось, будто сам он играет фальшиво.

– Стало быть, с тем делом покончено, – сказал отец Андреаса, вставая.

Вилфред подумал: «Небось считает теперь: вот какой я ловкий, отпустил подходящее к случаю замечание и в то же время обошелся без объяснений, которые были бы неприятны и мне, и им».

– А наверное, неприятно чувствовать, что тебя подозревают, – сказал Вилфред, дерзко глядя прямо в глаза взрослому. – Я хочу сказать, когда внешние обстоятельства могут обернуться против тебя.

– Ты умный парень, – спокойно ответил тот, протянув Вилфреду руку. Вилфред пожал ее. Рука была вялая-вялая и чуть влажная.

Мальчики еще посидели за столом. Оса купалась в лужице пролитого сидра. Тихо шелестели старые деревья. Назойливое августовское солнце слепило глаза. Андреас доверительно улыбался из-за круглых стекол в металлической оправе.

– Здорово ты утер нос полицейскому! – сказал он.

Вилфред холодно посмотрел на него.

– Это проще простого, когда говоришь правду, – сказал он. У Андреаса сделался такой вид, точно на него вылили ушат холодной воды. Он хотел что-то сказать, но осекся. Вот так он выглядел тогда, когда, стоя посреди класса, читал стихи о «нищем бездонном».

– Я заработаю на собственный велосипед, – неожиданно сказал он. – Я поступлю на склад, где работает отец.

Наконец-то он заговорил как человек. Вилфред искренне обрадовался.

– Вот это здорово, – сказал он. – Просто замечательно. И отец твой молодчина.

– Молодчина? – Было совершенно очевидно, что Андреасу не приходило в голову смотреть на это под таким углом зрения.

– Конечно, молодчина. Не позволяет тебе слоняться без дела и жить на чужой счет, как... – Вилфред сделал гримасу. Он почувствовал, что увлекся, но отступить было поздно. – Мой дядя Мартин говорит, что близятся большие перемены, что трудящиеся классы... Словом, что настанут совсем другие порядки и таким, как мы, которые живут тем, что им досталось от старых времен, придется чертовски скверно, а народ потребует своих прав. Он говорит: Англия будет воевать с Германией. У Англии шестьдесят шесть военных кораблей, а у Германии всего тридцать семь. Он говорит, что Англия должна напасть теперь же, пока Германия не накопила силы и пока еще не открыт этот самый Кильский канал.

– Война? Неужели будет война? – Мальчики уставились друг на друга, взволнованные всем тем, что было связано в их представлении с войной и ее бедствиями.

– Будет, но не у нас, а у Англии с Германией, а может, в ней будут участвовать и другие страны, говорит дядя Мартин. У России пятнадцать кораблей, а у Австро-Венгрии тринадцать...

- Откуда ты все это знаешь?
- А разве у вас дома об этом не говорят?
- О войне не говорят. Отец считает, что политика...
- А об искусстве?
- И об искусстве не говорят.
- О чем же у вас тогда говорят?

Андреас задумался.

– Да мы вообще мало разговариваем дома, – наконец сказал он. – Понимаешь, отец... у него и так... Да и мать.

– Но ей ведь лучше?

– Это отец так думает. Брат слышал, как доктор... Она не выздоровеет... Только не говори отцу!

Вилфред смотрел в открытое лицо, для которого сохранение тайны было нелегкой задачей. Неприязнь, которую Вилфред испытывал к отцу Андреаса, исчезла. Очкарик Андреас тоже по мере сил играл свою маленькую роль. Игра была не из приятных. Но, видно, она удавалась в этой семье, и они принимали как должное взаимное притворство, вовсе не такое простое.

Потом мальчики шли по улице Томаса Хефту и болтали о будущей войне. Возбуждение Вилфреда спало. Он уже не так безоговорочно верил в пророчества дяди Мартина, да и, по правде сказать, они не слишком его волновали. Просто это была сенсация. Но Андреас продолжал фантазировать. Казалось, он смакует слово «война», словно она может принести какие-то благотворные перемены для мира и жителей Фрогнервей. На площади Элисенбергторв Вилфред хлопнул приятеля по плечу – дальше он хотел идти без провожатых, ему хотелось побыть одному, чтобы уяснить себе, доволен ли он тем, что произошло, или, наоборот, все изменилось к худшему.

– Ладно, только не вздумай бежать к отцу и объявлять ему, что завтра будет война! – шутливо сказал он.

– Отцу? Что ты! – сказал Андреас. – Он всего боится. Мы никогда ничего ему не говорим... – Андреасу не хотелось расставаться с приятелем. Расчувствовавшись и сгорая от любопытства, он старался продолжить разговор.

– А ты сам побоялся взять велосипед? – вдруг спросил он.

Прежде Вилфред был подготовлен к этому вопросу. Но в эту минуту – нет.

– Побоялся? – переспросил он. – Что ты имеешь в виду?

– Ну, раз ты просил меня...

В Вилфреде вспыхнула злость. Лучше уж сразу перейти к нападению, чтобы раз и навсегда осадить Андреаса.

– Хорошо, что у тебя будет свой собственный велосипед, – сказал он. – Тогда тебе не придется пользоваться чужим!

Он не принял протянутой руки, не хотел дотрагиваться до бородавок. Когда он обернулся,

Андреас стоял на том же самом месте с протянутой, как прежде, рукой. Вилфред быстро кивнул ему. Андреас поглядел на свою руку, потом рассеянно кивнул в ответ. Больше Вилфред не оборачивался. Он медленно шел вниз, в сторону Драмменсвей. Как и в прошлый раз, расставшись с Андреасом, он чувствовал спиной его враждебность, враждебность и восхищение, любопытство и готовность пожертвовать собой...

– А пошел он к черту! – буркнул он себе под нос голосом дяди Мартина.

16

Город притих, словно перед грозой. В новой школе, на Сковвей, мальчишки из разных районов как бы принохивались друг к другу, выжидали.

В Эттерстаде готовилось выступление французского летчика Пегу, который сделает мертвую петлю. Наметили выступление на одно из первых воскресений сентября. В новом классе было не до обычного завязывания знакомств, всех интересовало одно: удастся ли попасть в Эттерстад и взглянуть на Пегу. В газетах писали, что зрелище будет небезопасно для публики, организаторы отвечали, что летчики такого класса в воздухе прекрасно ориентируются и французский летчик будет держаться над фьордом и над пустошью, а место огорожат, так что каждый сможет, ничем не рискуя, приехать и поглядеть.

В школе Маленький Лорд ничего не говорил о планах своего семейства. В конце лета к дяде Мартину заехал французский адвокат, улаживавший какие-то его дела в Марселе. Выглядел адвокат в точности так, как принято представлять себе французов: у него были черные усики, остроносые ботинки и до обеда он ходил в визитке. Маленького Лорда отправили показывать гостю суда викингов, защищенные рифленым навесом Университетской гавани, и адвокат Майяр пришел в восторг от благовоспитанного молодого человека, сносно болтавшего по-французски и даже умевшего различать две-три марки красного вина. Это внесло некоторые поправки в те сведения о ледяной пустыне, где круглый год ходят в невыделанных шкурах, едят сырое мясо и пьют исключительно самогон, какими француза перед отъездом снабдили его соотечественники.

Французский адвокат пообещал Маленькому Лорду в день торжества представить его летчику Пегу и подвести к самому аэроплану. Поэтому на все расспросы в школе Вилфред только пожимал плечами:

– Аэроплан – подумаешь, невидаль.

– Но ведь он сделает мертвую петлю!

Вилфред леденел при мысли, что его могут пригласить в полет. Он уклончиво замечал, что, наверное, мертвая петля дает самые сильные ощущения. Кстати сказать, Вилфред по воскресеньям ездил на Бюгдэ в открытой машине дяди Мартина, а мало кто из его сверстников мог похвалиться, что катался в частном автомобиле. Мальчишки, правда, издали распознавали на улице машины с номерами 200 и выше – говорили, что по улицам Христиании ходит уже три десятка такси, – но ездить и в них почти никому из школьников не случалось.

Во время второй совместной вылазки в город адвокат Майяр и Вилфред в кондитерской Халворсена встретили тетю Кристину. – Боже! Маленький Лорд! – воскликнула она, всплеснув руками. Вилфред понял, что встреча неслучайна, Кристина уже давно не называла его Маленьким Лордом и никогда так не поражалась случайным встречам. К тому же она

чрезмерно суетилась, заказывая себе и адвокату по рюмке хереса. Вилфред получил ванильное мороженое за тридцать эре и два пирожных по десять эре, рожок и трубочку – «это же твои любимые пирожные, ведь правда?»

Все три раза, когда она встречалась с адвокатом – у дяди Мартина, у дяди Рене и однажды у них дома на Драмменсвей, – тетя Кристина садилась за кофе рядом с Майяром и неизменно смешила его, с нарочитой ребячливостью коверкая французский язык: дядя Рене утверждал, что Кристина отлично говорит по-французски. И вот теперь у Халворсена она снова вытягивала губы трубочкой над рюмкой хереса, делая вид, будто ей никак не совладать с французскими гласными, которым дома у Вилфреда «во французские дни» всегда придавалось такое значение. А адвокат чертил по воздуху никотинно-желтыми пальцами, словно придавая звукам должную форму. Мало того, он несколько раз дотронулся до губ Кристины, как бы подправляя непослушные гласные. Вся кондитерская пялила на них глаза. Вилфреду сделалось противно. Он стал разглядывать роспись потолка, стараясь думать о другом. Но прежнее желание вновь вспыхнуло в нем. Снова невозможно было представить, что Кристина – его тетка. Впрочем, и всю ее детскую беспомощность тоже как рукой сняло, когда, приподняв над кончиком носа жесткую вуаль, она сидела и потягивала херес, который, казалось, вовек не кончится.

В яркий сентябрьский день вся воскресная Христиания устремилась к Эттерстаду. Вилфред с матерью, тетей Кристиной и французом-адвокатом сидели в автомобиле дяди Мартина. Однако у холма вблизи Волеренг они наткнулись на блистающих касками полицейских, которые направили их в объезд. Это была необходимая мера: грязную дорогу забили пешеходы, так что по ней было трудно не только проехать, но и пройти.

Весь Эттерстад оцепили канатами, и зрители бестолково протискивались вперед, забыв, что зрелище будет происходить высоко в небе, а потому совершенно не важно, где стоять. Но на самом верху холма, у какого-то бокового входа, француз-адвокат показал визитную карточку, и всю компанию провели через особую дверь. Вилфред не успел еще оглядеть шумную, взволнованную ожиданием толпу, усеявшую склоны, как очутился рядом с аэропланом. В деревянном ангаре стоял низенький человечек весь в кожаном, с головы до пят, и распекал трех французских механиков, метавшихся от ангара к аэроплану. Но когда Вилфреда, представляя, подтолкнули к летчику, из-под кожаных одежд протянулась темная жилистая рука и суровое лицо под шлемом осветилось улыбкой. С адвокатом летчик был уже знаком, и мсье Майяр представил Вилфреда как своего юного друга из студеных стран, владеющего французским и жаждущего увидеть поднебесье.

Вилфред похолодел от ужаса. Но к счастью, летчик развел руками и, вздернув брови, проговорил что-то непонятное, что у французов вызвало взрыв хохота. Но вот на площадке раздались взволнованные голоса. Механики подтолкнули самолет вперед и стали вертеть пропеллер под невнятные всхлипы мотора. Кто-то сунул Вилфреду кулек теплых земляных орехов – он таких еще не видывал, – но во рту у него пересохло и орехи вязли в зубах. Когда он опомнился, летчик уже выходил из ангара, а когда Вилфред и его спутники тоже вышли из-под навеса – в нескольких стах метрах за канатами волновалась толпа, – бог в кожаных одеждах, в перчатках и очках сидел, плотно прикрепленный к сиденью хрупкой машины; столько у нее было засовов и ребер, что казалось, будто человека посадили в клетку. А вместе человек и машина с четырех крыльях являли собой нечто вроде огромного кузнечика.

Залитый солнцем аэроплан разбежался по летному полю. Он подпрыгивал на бугорках, набирая скорость. Только теперь стало заметно, как много тут бугорков и кочек: хрупкому сооружению в любую секунду грозила гибель. Но вот два долгих прыжка – и аэроплан почти оторвался от земли. Еще разок стукнулся он оземь тонкими колесами. И вот он уже свободно парит над склоном, скользя к скверу. Восторженный рев взлетел к небесам, и Вилфред скорее почувствовал, чем услышал, свой собственный счастливый вопль, когда кузнечик поднялся в воздух; Вилфред спохватился, что стоит на цыпочках и весь вытянулся, будто

желая помочь аэроплану. Но тому уже не требовалась помощь. Победно, уверенно прочертил он долгую дугу над заливом Бьервик и фьордом. Когда он пропал в солнечном сиянии, тысячи рук, словно по команде, козырьками прикрыли глаза. Показывали: «Вон там... вон там!..» Другие смеялись: «Да вон уже он где! Но он снова летит сюда». Какой-то господин произнес: «Сто пятьдесят километров в час, да вы представляете, что это такое?..» Дама, стоявшая рядом, ответила: «Молчите, молитесь, чтоб он вернулся живым».

Тут Вилфред почувствовал, что кто-то крепко стискивает его правую руку, и, вероятно, уже давно. Он опустил глаза на голубой цветник – целый сад тюля и цветов на бледно-желтой соломенной шляпке. Ладонь тети Кристины плотно прижималась к его ладони, руки их тесно сплелись.

– Тебе страшно, Кристина? – спросил он, отдаваясь нахлынувшей нежности.

В поднятом к нему лице было что-то такое – такое откровенное, – никогда прежде Вилфред не видел у нее такого лица. Рот приоткрылся, губы были влажны. Она дышала тяжело и неровно, и он слышал ее дыхание в напряженной тишине. Аэроплан все еще набирал высоту, почти неразличимый в синей дали. Многие смотрели на часы. Все тот же господин сказал: «Он уже десять минут пробыл в воздухе». – «Десять минут! – подхватила пугливая дама. – Значит, ему никогда не вернуться на землю». Когда машина показалась над холмом, ее встретил настороженный вой. Все пригнули головы, но тут же, снова задрав их кверху, стали смотреть в другую сторону. Теперь аэроплан летел на восток – над Эстре Акер. Кто-то сказал: «Сейчас сделает мертвую петлю».

Машина забрала чуть к северу, и теперь, когда она двигалась со стороны Грефсена, ее легче было рассмотреть. Аэроплан летел теперь против солнца, и сентябрьские лучи играли на матовой желтизне крыльев; казалось, тоненькие, хрупкие крылья вот-вот сломаются. Вопль блаженного ужаса вновь взлетел над толпой, навстречу аэроплану. Уже никто не наклонял голову. Все знали, что сейчас свершится чудо, несравнимое даже с только что пережитым. Вилфред быстрым взглядом окинул лица вокруг себя и одинаковые, неразличимые лица в толпе подале. На всех была написана ненасытная жажда сенсации, все напряглись в предчувствии невероятного; глухой рев взмывал над холмом.

И вдруг все стихло. Вилфред поднял глаза и тут же увидел как аэроплан накренился и стал боком падать вниз. Он находился теперь как раз над головами зрителей, и толпа, не смеявшая оторвать глаз от жуткого зрелища, ахнула и всколыхнулась. В следующее мгновение машина уже не падала, но, лежа на спине, скользила над холмами в сторону Экеберга. Можно было разглядеть летчика, висящего вниз головой за решетками аэроплана. Потом аэроплан снова исчез в солнечном сиянии, и, когда Вилфред увидел его опять, он уже летел в обычном положении. Возгласы «ура» заполнили воздух и, точно купол, повисли над толпой. Пальцам Вилфреда вдруг стало больно, будто их сломали. Рука Кристины змеей обвилась вокруг его руки. Они оказались чуть позади всех прочих – те в волнении подались вперед. Вилфред с Кристиной стояли, прижавшись друг к другу, и ее лицо было поднято кверху, потерянное, восторженное и измученное.

Вилфред не понял, как это случилось, и длилось все не больше мгновения. Но он так остро ощутил близость ее тела, что ему вдруг показалось, будто с той злополучной встречи в ольшанике не прошло и дня. Он словно сам взмыл в воздух и потом приземлился в целостности и сохранности. Не смятенный, дрожащий, но полный блаженного восторга, самодовлеющего и в то же время чреватого сладостной катастрофой.

Он знал, что она чувствует то же, что это молчаливый сговор равных. И она тоже будто приземлилась наконец и ощутила под ногами твердую почву, по которой можно было безопасно двигаться дальше.

В те же секунды, как видно, приземлилась и машина. Скоро летчик уже стоял у входа в ангар с букетом в руках, а его соотечественники, дамы и господа, теснились вокруг и лобызали его в щеки и куда попало. Вилфред с Кристиной тоже подошли, но она не стала целовать летчика, лишь дружески пожала ему руку и не очень внятно поблагодарила за доставленное удовольствие.

Вилфред подошел к машине, которую уже осматривали механики. В ту же минуту толпа издала ликующий вопль. Прорвав ограждения, люди бросились на летное поле. Вилфред стоял возле аэроплана и смотрел, как несется людская лавина – словно огромный темный зверь, одержимый жаждой поживы. Но тут со всех сторон набежали полицейские и сторожа в форменных фуражках и преградили путь толпе, пуская в ход кулаки. Вилфред, слегка наклонясь к машине, наблюдал происходящее, и его вдруг словно осенило, что он всегда среди немногих, избранных, тех, кому улыбаются, кого не гонят, кому дозволено.

Быть может, в этом и состоит смысл одиночества – вожденного одиночества?

Два-три мальчишеских возгласа прозвенели над толпой. Вилфред увидел стайку своих одноклассников, отчаянно пытавшихся прокрасться мимо неумолимых полицейских спин в рай, где приземлился представитель небесного воинства. Как видно, они возлагали надежды на Вилфреда, святым Петром стоявшего у врат в сияющих отблесках божества.

Но взгляд полицейского упал на мальчишек, и они были тотчас отброшены за цепь служителей закона, которые так грубо толкали непосвященных, что многие спотыкались, падали, а на них валились другие. Завороженные зрители вдруг превратились в озлобленную, крикливую толпу.

Тогда летчик выступил вперед от ангара, где спасался от натиска почитателей, усталым взглядом окинул толпу и отвесил ей нечто вроде иронического поклона. Возмущение улеглось. Раздалось новое «ура», радостный смех, и восторженные взвизги, точно стайка голубей, вспорхнули к ясному сентябрьскому небу.

Прикосновение Кристины все еще жгло руку Вилфреда. Как это было непохоже на летнюю встречу, когда неловкий мальчуган задыхался от желания подле пренебрегшей им взрослой дамы. Перемена вызрела незаметно. Их толкали друг к другу силы, неподвластные им, уже не управляемые ими.

Объявили, что француз снова поднимется, на сей раз с пассажиром. Адвокат и летчик подошли к аэроплану. По толпе прошелестел взволнованный шепоток. Адвокат в сопровождении небольшой группки двинулся прямо на Вилфреда, стоявшего рядом с чудесной машиной. Вилфред хотел было вежливо посторониться, когда взгляд адвоката упал на него.

– Вот тот юный друг, о котором я говорил, – сказал он, оживленно жестикулируя. Летчик Пегу приблизился к Вилфреду и спросил по-французски:

– Это вы, молодой человек, мечтаете подняться в небо?

У Вилфреда подкосились ноги. Поодаль он видел мать и Кристину. В руках у них были бокалы – дипломатов и гостей угощали шампанским. Он видел, что Кристина смотрит на него через головы подошедших к нему господ. Адвокат улыбнулся:

– Разве тебе не хочется?

– Oui, monsieur [[5]], – едва выговорил Вилфред. Он и правда высказался в этом духе однажды в шальную минуту, когда они с адвокатом обсуждали предстоящее событие. Взрослые закивали друг другу и поспешили к его матери и прочим дамам. Вилфреда обжег

взгляд Кристины, глядевшей прямо ему в глаза. Поняла ли она, о чем беседовали с Вилфредом эти чудачки, обращавшиеся с ним как со взрослым и словно принявшие его в свой круг? Внезапно страх и надежда увильнуть сменились неподдельным острым желанием лететь.

– А мама?.. – тихо произнес он.

– Ну, разумеется, мы спросим у твоей мамы! – Адвокат направился было к ней. Но Вилфред остановил его: – Я хочу сказать, что мама... ну, в общем, это неважно.

Мужчины переглянулись, с трудом удерживая улыбки, и стали совещаться. А дальше все развивалось так стремительно, что Вилфред не понимал, что происходит, пока не оказался внутри машины, на сиденье, несколько сбоку и позади сиденья летчика. Его запихнули в слишком для него просторный кожаный костюм, такой же, как на летчике, а на голову надели шлем. И он увидел мир сквозь огромные очки, отделившие от него окружающее и сделавшие все близкое необычным и далеким. Повернувшись на сиденье, насколько позволяли ремни, Вилфред разглядел мать среди господ в цилиндрах и дам под зонтиками, а далеко-далеко за канатами, где-то в ином мире, стояла густая, темная, безразличная ему толпа.

Механики возились у машины; один уже заводил пропеллер, он с трудом повернул его в обратную сторону, мотор кашлянул и принялся за работу.

Вилфред изо всех сил зажмурился, когда машина, подпрыгивая, разогналась по бугристому летному полю. Только раз он открыл глаза и увидел, как тяжелые стволы деревьев на окраине Эттерстада несутся навстречу с невыносимой скоростью, но тотчас опять зажмурился и только потому, что прекратились толчки, понял, что машина оторвалась от земли. Ища опоры, Вилфред шарил перед собой руками в тугих перчатках. Он застыл от леденящего ужаса и совсем нового ощущения, какого-то странного восторга, все тело свело судорогой. Мелькнула гордая мысль, что он не стал молиться богу, но тут же пришлось сознаться самому себе, что он попросту об этом забыл. А теперь поздно было, они уже летели. Вилфред знал это, хотя ощущал полет только по силе ветра. Но никакой силой, земной или нездешней, не заставили бы его открыть глаза. Лучше умереть.

И тут он услышал голос. Человеческий голос пробивался сквозь вой ветра. Повинуясь усвоенным с детства правилам хорошего тона, Вилфред на мгновение приоткрыл глаза и увидел под собой и впереди землю. Кажется, в поле зрения ему попал зеленый купол церкви св. Троицы, он не разглядел точно – сразу же зажмурился. Но тотчас он опять услышал голос, на этот раз совсем рядом. Он открыл глаза и увидел кашу темно-зеленых крон.

Теперь глаза уже не зажмурились сами собой. За несколько секунд Вилфред успел увидеть, как фьорд поворачивается вниз, словно на блюде. Потом разглядел какие-то черточки и красные пятнышки на синей воде. Верно, парусники стояли у красных буйков в бухте Бьервик. Потом он заметил пароход у пристани, как две капли воды похожий на модель парохода, которой он так часто любовался в витрине Бенетта на улице Карла Юхана. А вот и город, улицы протянулись, как на чертеже. Дворец – он отодвинулся к краю блюда и пропал из виду. И вот почти прямо под ними красная крыша порохового склада на Большом острове!

Вилфред взглянул себе под ноги. И только тут не на шутку испугался. Он увидел нечто совсем непохожее на далекую, сказочную панораму. Он увидел тонкий пол и решетку, поддерживающую крылья биплана. Тут он впервые до конца осознал, что летит высоко в небе и лишь жалкие жердочки отделяют его от мирового пространства.

Вилфред подался вперед, ему хотелось, чтобы летчик обратил на него внимание, понял, что он тоже смотрит, видит. Несколько раз он вскрикнул от сладкого ужаса, восторга, торжества, которому нет имени в бедном человеческом языке.

Но летчик его не замечал. Он слегка наклонился к рычагу, а другая рука его словно приросла к аппарату чуть пониже, с другой стороны. Тут под ними показалось посадочное поле Эттерстада, и Вилфред понял, что Пегу напрягся, готовясь к посадке.

Вилфреда снова пронзил ужас. Это самое опасное, он читал. Полет вдруг представился ему беспечной прогулкой. О, если бы она никогда не кончалась! Холм летел навстречу, Вилфред хотел было зажмуриться, но увидел людей за канатами, запрокинутые белые лица, темную массу тел – они мчались навстречу, ненавидистные, страшные. Вот оно, неизбежное. Смерть.

Но мука длилась меньше, чем он ожидал. Первые сильные толчки потрясли машину, и тотчас скорость резко снизилась, и вот машина уже подпрыгивает по твердой земле. Очевидно, он вновь зажмурился, потому что, оглядевшись, заметил, что все вокруг опять выглядит так, как было, когда его вели к аэроплану. Он, качаясь, вышел из машины, все качалось, вертелось перед глазами, земля уходила из-под ног. Охваченный какой-то счастливой усталостью, он опустился на колени. Но вот он услышал выкрики «ура» – это кричала огромная толпа за канатами. Усилием воли он заставил себя приподняться. Навстречу бежали мать, Кристина, адвокат... Вилфред распрямился, его высвободили из кожаного костюма. Потом опять все куда-то провалилось, и он пришел в себя в объятиях матери, изливавшей поток норвежских и французских слов на всех, кто стоял рядом: на Кристину, адвоката, летчика. Глаза ее горели от гнева, гордости и шампанского.

– Мальчик мой! – истерически всхлипывала она. – Мой любимый мальчик!

Вилфред решительно высвободился из ее объятий и протянул руку летчику Пегу.

– Merci, – выдохнул он. – Merci beaucoup [[6]].

Тут он заметил, что в шагу ему мокро и холодно. Наверное, это случилось с ним, еще когда самолет поднимался.

– Когда мы поедем домой, мама? – невесело спросил он. Он испугался, что происшедший с ним конфуз обнаружится именно теперь, когда на него устремлены восторженные взгляды толпы.

– Ну, как это было?

– Страшно было?..

– Да, мне было страшно, – вдруг сказал он. Французам перевели его ответ. Дамы радостно заворковали. Но летчик Пегу протиснулся к Вилфреду и вновь пожал ему руку.

– Этот юноша – самый храбрый из всех дебютантов, с какими мне приходилось иметь дело, – спокойно проговорил он. – Он почти все время сидел с открытыми глазами.

Фру Саген и Вилфреда пригласили в посольство, где в честь летчика устраивался прием.

– Как ты думаешь, можно мне улизнуть? – шепнул Вилфред матери.

– Улизнуть?

– Да, мне что-то... – Он поморщился. – Это же рядом с нами, так что я могу сойти, когда мы подъедем.

Мгновение она пристально и озабоченно разглядывала его. Сколько уже раз видела она это выражение, словно туча, омрачавшее юное лицо, – лицо, все больше похожее на то, другое, с которого не сходила мрачная угрюмость.

– Тебе хочется побыть одному? – спросила она.

– Да, вот именно одному. – Он видел, как она разочарована. Точно ребенок!

– Мамочка, я очень огорчен. Из-за тебя.

– Из-за меня? Ну так в чем же дело?

Вновь испытующе озабоченный взгляд, попытка прочесть его мысли. И вдруг Вилфред понял, что не мокрые штаны причиной тому, что ему не хочется в посольство. В небе с ним случилось нечто – какое-то озарение, прояснение.

Тем легче стало посвятить мать в маленькую постыдную тайну, ибо настоящая-то тайна была совсем другая.

– Дай я скажу тебе на ушко.

Фру Саген залилась веселым смехом и украдкой огляделась. Очаровательное простосердечие сына так пленило ее, что ей захотелось с кем-нибудь поделиться. Но она овладела собой и посмотрела сыну в глаза с той же проказливой серьезностью, как в тот раз, когда весенним вечером они забрели в Тиволи.

– Тогда беги, как только мы подъедем, – сияя, шепнула она и потрепала его по щеке. Он глядел на нее недоверчиво и удивленно. Неужели эту взрослую женщину, которую он так любит, ничего не стоит обвести вокруг пальца? Неужели все и всегда так охотно попадают на удочку?

– Вот только девушек я обеих отпустила поглядеть на представление, – сказала фру Саген. Эта реплика, нарушив ход мыслей Вилфреда, вдруг рассмешила его.

– Ты права, мама, – произнес он с нарочитой серьезностью. – Жаль, если юноша-герой погибнет, всеми заброшенный, покуда мать его принимает почести в посольстве.

Она опять легонько потрепала сына по щеке, обрадованная, что отмечено и это возражение. В последние годы она так редко бывала на людях, у нее столько огорчений, все неотвратимо меняется на ее глазах... И сегодня ей снова захотелось окунуться в гущу событий, как прежде, когда любое, самое незначительное происшествие в жизни Христиании составляло часть ее собственной жизни.

Один в пустой квартире, Вилфред радостно упивался собственным тревожным возбуждением. Он долго лежал в ванне и вернулся в комнату, ловко и по-взрослому запахнув на голом теле халат. Наслаждаясь ощущением своей взрослости, он встал у большого окна, выходящего на Фрогнеркиль, и загляделся на небо, подернутое светлыми тучками. Сентябрьский день еще не остыл. По глади залива пробежала темная рябь. Все было словно па иной планете. Вилфред намеренно вновь вызвал в себе чувство сладкого ужаса, охватившего его в ту секунду, когда он увидел под ногами хрупкий пол аэроплана. Он снова поднялся на цыпочки, и к нему опять вернулась жажда воспарить, разорвать все связующие, поработающие узы, а потом рухнуть и погибнуть в одиночестве, вдали от стеснительной близости других.

Вилфред подошел к шкафу, налил себе из графина рюмку хереса и выпил ее с наслаждением и брезгливостью. Это помогло: приятное возбуждение и ощущение взлета, которые он так боялся потерять, не проходили. Вилфреду хотелось довести эту вибрирующую тревогу во всем теле до такого предела, чтобы – да, чтобы самому почувствовать себя аэропланом, взмывающим в пустое пространство под грохот мотора.

В дверь позвонили. Вилфред спокойно, по-взрослому, выругался, небрежным шагом, как был

в халате, пошел отворять. Он играл какую-то роль и сознавал это, но какую именно, сам не решил. Знал только, что сейчас ему все нипочем.

– Кристина!

Он почувствовал, что возглас прозвучал чуть-чуть наигранно и была в нем не столько изумленная, сколько утвердительная интонация, словно приход ее – результат действия его воли. Задыхаясь, Кристина вошла в прихожую, ступила на заглушающий шаги ковер.

– Ты как будто ждал меня?

– В некотором роде. Дома никого нет.

– Я знала.

Все было сказано. Ничего уже не изменить. Прежние страхи и сомнения всплыли в памяти. Но они уже ничему не могли помешать. Он притянул ее к себе.

– Мы с ума сошли, – сказала она тоном ребенка, который знает, что провинился.

– Ты думаешь?

Уверенно, как взрослый, он повел ее к своей комнате. На ней была та же соломенная шляпка с голубыми цветами, на плечах – светлая накидка. Он не предложил ей раздеться; мягко, многоопытно, он вел ее по лестнице. Но когда они поднялись к нему, он сдернул с нее шляпку, сбросил накидку на стул.

– Не так рьяно! – прикрикнула она на него, стараясь стать хозяйкой положения.

– Отчего же? – возразил он иронически. Он ощущал в себе какую-то чуждую силу. Кто был этот иной, дававший ему власть наблюдать себя со стороны?

Они безудержно целовались. Разница в возрасте вдруг исчезла. Все было совсем не так, как тогда, в ольшанике, теперь Вилфреду не приходилось стыдиться своей неопытности.

– Что с тобой, мальчик? – вдруг жалобно и неуверенно произнесла она. Ему вдруг подумалось, что она, может быть, и сейчас еще сама не знает, чего хочет. Даже сейчас ей хочется только поиграть.

– Что со мной? – жестко сказал он. Он был полон решимости, знания. – Ты прекрасно понимаешь, Кристина, что со мной! – шепнул он в самый шелк ее платья.

И она перестала притворяться. Перестала разыгрывать беспомощную, удивленную. Почти материнская нежность была в ее руках, успокаивавших его торопливые руки. Косые лучи солнца проникали сквозь гардины, осеняя белое тело, в которое он погружался. Вот она шепнула: – А вдруг кто-нибудь войдет!

Он холодно отметил про себя, что теперь сопротивление сломлено. Да и было ли сопротивление? – Никто не войдет! – выдохнул он в ответ. Слова без смысла. Ритуал. Он мог бы сказать и другое, что угодно, слова были чьи-то, не его, да и действовал не он, а кто-то другой. Действовал медленно, постепенно, обдуманно, и сам Вилфред поражался этому. Словно опыт поколений открывал ему путь к решающей минуте, совсем не так, как виделось в лихорадочных, сбивчивых, смятенных мечтах. Чужая воля управляла им, освобождая от торопливости и губительной робости новичка. Он был уже не подросток, растерявшийся перед лицом пугающей женской прелести. Кто-то чужой вселился в него и нашептывал мудрые советы о том, что спешить не надо, что надо давать, не только брать. Он наслаждался ее телом и своим и, покоясь на синих волнах блаженства, не терял сладостного

контроля над их телами, слившимися в одно.

Медленно, медленно расслабились их объятия. Они вместе возвращались с небес на землю, совершая парящий полет сквозь сферы и избежав грубого перехода от блаженства к стыду. Переживание оказалось намного сильнее, чем Вилфред ожидал. Его охватило чувство непомерного счастья. Она лежала и, не стыдясь, открывала ему все тайны своего тела. Переход к нежной близости без лихорадки сделал их равными. Он это понял. Все время он знал, что ей с ним хорошо, не стыдно. Тот, чужой, все еще был в нем, нашептывал многовековой опыт страсти. И восторг победителя, властелина охватил его...

Победителя – но над кем? Мысли вернулись к тому, что только что свершилось. Ни тени разочарования. Было лишь слабое удивление, что то огромное и вправду было так огромно, но вовсе не трудно, не унижительно. Он не пережил ожидаемой катастрофы, низвержения с недоступных высот.

Но когда он вновь ощутил прилив страсти, она мягко высвободилась и села рядом на постели, пристально глядя ему в лицо.

– Вилфред, – сказала она. – Я поступила очень дурно. Но благодаря тебе у меня нет такого чувства!

Он встал перед ней на колени, утопил ее в нежных ласках, не жадных, настойчивых, как прежде, но робко восхищенных, благодарных. Ему это было необходимо – высказать ей свою благодарность, но и тут была тень расчета: так надо, так правильно. Тот же чужой по-прежнему обучал его науке страсти. И он подчинялся мягким приказаниям этого чужого. Он не чувствовал ущемления своей воли – чужак знал, что нужно Вилфреду, и желал ему добра.

– Ты посвятила меня в таинство, – сказал он серьезно. Она улыбнулась было, слишком уж торжественно это прозвучало, и он поспешно добавил: – Нет, правда, это не ребячий порыв, ты сама знаешь. Ты посвятила меня в таинство.

Она взяла его голову в свои ладони и посмотрела на него долгим взглядом.

– Может быть, ты и прав, – тихо сказала она. – Я даже думаю, что мне не в чем раскаиваться. Ты освобождаешь меня от угрызений совести.

– Конечно, тебе не в чем раскаиваться! – воскликнул он с неожиданным пылом. – То, что почти всегда страшно и стыдно для молодого мужчины, ты сделала для меня чудесным и прекрасным. Думаешь, я не знаю?

– Вилфред, – сказала она, – ты прелесть, только не уверяй, будто любишь меня, раз ты меня не любишь. Но ты самый взрослый ребенок и самый ребячливый взрослый из всех, кого я знаю.

Она говорила таким тоном, что его не мог задеть намек на возраст.

– Ты похож на

него, – прибавила она и, улыбаясь, отстранила его лицо.

– На кого?

И снова она улыбнулась, на этот раз над его смешной ревностью, уж совсем детской.

– Да нет же, ты не то подумал, – торопливо объяснила она. – Тот человек... Ах, зачем я это говорю...

В глазах ее всколыхнулся испуг. Она смотрела перед собой – куда-то в глубину комнаты, пронизанной последними отблесками осеннего солнца. Он невольно проследил за ее взглядом; казалось, она видит кого-то, неизвестного и незаметного ему.

Косые лучи падали на портрет отца, стоявший на стуле у самой стены. Красные отсветы играли на бородке и придавали мазкам особую, красками недостижимую жизненность. Казалось, будто это лицо – слабое и вместе властное – выступило из рамы и, храня пойманное художником выражение, готово заговорить с ними и даже что-то уже говорит им обоим своим живым и горестным взглядом.

И тут Вилфред вдруг понял его. Впервые понял своего отца. Впервые в жизни ощутил темные узы родства между собой и этим запечатленным образом, некогда его пугавшим, будто исчез возраст, исчезли время и расстояние. И понял, кто был тот мудрый советчик, одаривший его опытом в новом, неиспытанном; гениальный любовник, наполнявший близких стыдом и счастьем и оставшийся для них вечной загадкой.

Вилфред медленно встал. Кристина последовала его примеру, торопливо собирая разбросанную одежду. Она проворно управилась со своим сложным туалетом, он же, совершенно голый, каким вышел из рук создателя, подошел к портрету отца, подставляя свою наготу его грешному, пронзающему взору. Но в этом взоре не было иронии, которая всегда наготове у взрослых. И уж во всяком случае, в нем не было осуждения и невысказанных попреков.

Радостно обернулся он к Кристине и ощутил нежность, впервые вытеснившую его горькую потребность самоутвердиться. Хлопнула входная дверь. Это вернулась Лилли. Вилфред тотчас узнал ее шаги и хотел было успокоить Кристину, но она подняла руку в знак того, что сама все поняла.

– Твоя мама может вернуться в любую минуту, – беззвучно произнесла она.

Он взглянул на часы. Прошел час. Впервые открылась ему головокружительная загадка времени – оно внутри человека, в крови, и только там.

– Да нет, вряд ли, – беспечно ответил он. – Мама просто упоена праздником, одно удовольствие было на нее смотреть.

Он без всякого стеснения одевался, продолжая разговаривать. Во всех его движениях было спокойствие многоопытности. Они поцеловались, стоя перед портретом отца, и оба одновременно оглянулись на него. Лучи солнца уже ушли с полотна. Теперь оно было погружено во тьму, еще более подчеркнутую соседством яркого блика на стене. Словно человек на портрете в нужную минуту сказал свое слово и удалился. Вилфред схватил холст и повесил его на стену, где он висел всегда.

– Я пойду, – шепнула она. – Одна.

– Я буду ждать тебя на углу, у кондитерской.

– Нет. Я хочу пройтись. Далеко-далеко. И одна.

– Далеко-далеко. И со мной.

– Одна – слышишь? До свиданья, Вилфред, милый.

Он стоял возле узкого окна прихожей и смотрел, как она идет по аллее. Теперь она уже не казалась обездоленной и одинокой; она шла легкой, быстрой походкой. Вот она свернула за угол. Вилфред ощущал сладость бытия. Долго еще стоял он и глядел на пустую аллею, удерживая в памяти образ Кристины, такой, какой он ее видел: в шляпке с незабудками, в

накидке, ступающую легкими шагами, хранившими его тайну. Так он и стоял возле узкого окна, глядя, как спустились сумерки, как вспыхнули фонари. Так он и стоял, пока на аллее не показалась его мать.

– Ничего не случилось? – спросила она, когда он помогал ей раздеться.

– Почему ты спрашиваешь? Я все время был дома. Ну, как ты провела время с французами? Приятно было?

– Я так волновалась. Наверное, приятно, сама не знаю. Боюсь, что я уже стара для таких развлечений.

– Чепуха, мама! Ты говоришь это только для того, чтоб я сказал, что ты еще не старая.

– Ну так скажи это, скажи поскорее!

Они стояли друг против друга, мать и сын, как много раз, как всегда, и играли в старую игру: великосветская дама и ее эрзац-кавалер, как выражался дядя Мартин.

– Ты была самой красивой из всех дам в Эттерстаде, – сказал он и, обняв ее за талию, повел в комнату. – Шампанское лилось рекой?

– Глупости! – сказала она. – Кристина была красивее. Все были красивее меня. Нет, они пьют мало. Летчик вообще трезвенник. Зато говорили, говорили без конца, я за ними не попевала, совсем отвыкла от французского.

Счастливые, умеющие забывать, стояли они друг против друга. Опять ловкие слова, которые так легко приходят на язык и так легко забываются, опять эта спокойная, тихая вода, скрывающая опасные омуты. Как тяготила его в последнее время эта игра! И вдруг он заметил, что больше его ничто не тяготит. Притворяться было удивительно просто. Может, это и не притворство? Вилфред уже не ощущал себя одиноким защитником бастиона, на который посягают объединенные силы матери, дядей и школьных учителей.

– Тети Кристины не было на приеме, – сказала она. – Ее забыли пригласить, они спохватились, им стало неудобно, ей дважды звонили.

Он окинул ее быстрым взглядом. Неужто опять этот проклятый инстинкт? Ведь она же сказала, что волновалась.

– Но у Кристины нет телефона, – сказал он резко.

– Они звонили в кондитерскую. Она часто туда заходит по воскресеньям навести порядок.

– Значит, ее сегодня там не было, – сказал он. Он сам отметил излишнюю запальчивость своего тона.

– Ну, разумеется, – легко согласилась мать.

Но теперь ему захотелось выяснить, в самом ли деле существуют эти таинственные силы, передающие от человека к человеку все тайные помыслы.

– Можно было за ней послать, если уж ее присутствие было так необходимо.

Но она опять уклонилась.

– Да, конечно, – ответила она устало. – Я об этом как-то не подумала.

Что это? Ирония? В нем опять шевельнулось недоверие.

– Впрочем, может, ее и дома не было! – с вызовом заявил он.

– Не понимаю, Маленький Лорд, – сказала она, и он отметил, что она нарочно назвала его этим именем, – почему ты так горячишься...

Спокойно, спокойно, подумал он. Не искушать судьбу, ничем себя не выдать, ведь не хочет же он, чтобы она догадалась. Ведь не хочет? Ну разумеется, нет!

– Прости, – ответил он, – видишь ли, я все еще парю в небесах.

Она бросила на него беглый взгляд, словно догадываясь о двойном смысле его ответа. Ах, и зачем только придумали это слово «инстинкт», зачем его так часто повторяют. Этот «инстинкт» только все запутывает, громоздит догадку на догадку, вносит смуту в жизнь. О, если б все люди были просты и неразговорчивы, как фру Фрисаксен, как... да, хотя бы как Эрна...

– Кстати, знаешь, кто был сегодня в Эттерстаде? Эрна! Я видела ее в толпе за канатами. Все семейство явилось.

– И отец ее, конечно, объявил, что благодаря скорости аэроплана перестал действовать закон всемирного тяготения.

– Как не стыдно, Вилфред, – сказала она. – Я убеждена, что Эрна страшно тобой гордилась.

– Ну а ты, мама?

– Страшно гордилась. Но ведь ты мне еще ни слова не сказал о том, что ты чувствовал...

Опасность миновала. О Кристине больше не было речи. И Вилфреду захотелось еще чуть-чуть походить по краю пропасти.

– Что я чувствовал? – спросил он.

– Ну да, когда летал.

– А, ты об этом!

Мысли вновь потянулись к тому, о чем невозможно было забыть, и казалось, он властен своей волей вновь призвать все только что происшедшее в потемневшую комнату. Последние отблески мерцающих вод отражались в зеркале, оправленном в тусклую золоченую раму.

– Чувство это – изумительное...

– Изумительное? Но ведь тебе же было страшно!

Он глянул в зеркало. Серебристо мерцающая, переливалась в нем вода залива.

– Страшно? Да, страшно. Конечно, мне было страшно. Особенно подъем...

– Ну да... Подъем. А голова не кружилась?

Залив в зеркале стал серым. Значит, ушли последние лучи.

Собственное отражение в зеркале глядело на него выжидательно. И тут он увидел другое отражение – того, кто висел на стене в углу.

– Мамочка, – сказал он, – ты только не сердись, что я тебя спрашиваю. Скажи, отец, он...

пользовался успехом?

Она тотчас встала и подошла к окну.

– Что ты имеешь в виду? Как это – успехом?..

– Ну, он... в общем, он нравился?

– Кому? – Голос был сух и отрывист. Она смотрела на Фрогнеркиль.

– Ну, дамам, и вообще...

Она повернулась к нему, но не двинулась с места. Белая, тонкая, стояла она в черном квадрате окна. Он не мог разглядеть, какое у нее выражение лица.

– Почему ты спрашиваешь? – сказала она.

Ему нужно было увидеть, какое у нее лицо. Он не хотел делать ей больно. Но остановиться он не мог.

– Что же в этом странного? Ты никогда ничего не рассказывала.

Она сделала было движение к нему, но осталась на месте. Казалось, будто во тьме за окном она ищет опоры, союзника. Тогда он подошел к ней.

– Я напугал тебя, мама?

– Чем же? Вовсе нет. Конечно, тебе хочется знать. Вполне понятно... Послушай, мой мальчик... – Она вдруг обняла его за шею; теперь они оба стояли лицом к окну. – Тебе кто-то говорил об отце?

– Вот именно, что нет. Ты, например, ни разу.

Они оба глядели на темную воду в последних отсветах уходящего дня. И говорили, словно стоя перед зеркалом. От этого им было не так одиноко.

– Отец твой очень нравился, – сказала она. – Людям. Дамам в том числе.

Как легко она увернулась от точного ответа. Вилфреда это задело. Она говорит с ним как с ребенком, да к тому же, конечно, втайне сердится.

– Можешь ничего не рассказывать, – сказал он обиженно и отошел от окна. Часы на камине грустно тикали, наполняя комнату тишиной. Он понимал, что ей больно. Но он не обязан об этом знать.

– Зачем же ты тогда сказала мне о стеклянном яйце? – вырвалось у него. Ему хотелось уйти. Ему не хотелось покидать поднебесье, где еще парила его душа, его тело. Ему хотелось побыть одному – больше ему ничего не нужно.

– История с мадам Фрисаксен тебе ведь известна, – сказала она.

– Ты права, мама, – ответил он. – Конечно, все это глупо с моей стороны. Да и не так уж я любопытен.

Ему хотелось покончить со всем этим, от всего отделаться. К нему вновь возвращалось приятное безразличие.

– Кстати, я забыл сделать уроки, – сказал он.

Вот и предлог, теперь она вполне может сказать: – Боже мой, как же так! – Она может отыграться и напомнить сыну, что долг прежде всего, а потом уж развлечения и сенсации.

Но она отмахнулась: – Подумаешь, уроки! – Она словно приготовилась к бою. А ему хотелось все сгладить и остаться одному. Она подошла к камину, зажгла сигарету; это случалось редко...

– История эта не единственная, – сказала она. – Да и какая там «история»! Это было правило.

Вилфред сел покорно и устало, слушая почти без всякого любопытства. Она тоже села, не отрывая глаз от огонька сигареты.

– Люди так и льнули к нему. И он к ним тоже. В каком-то смысле. То есть, может, он их и презирал, не знаю, а может, просто ему никто не был нужен, он и сам-то себе не был нужен. В каком-то смысле люди заполняли его жизнь. А в каком-то смысле – наоборот. Но ты не поймешь.

Он сел поближе, вежливо пододвинув к ней пепельницу.

– Может быть,

ты не понимала? – осторожно спросил он.

– Да. Я не понимала. Я и теперь не понимаю. Впрочем, я больше не думаю об этом. Почти не думаю.

– А я нарушил твое спокойствие?

– Да! – Она улыбнулась. – Ты нарушил мое спокойствие. Всегда кто-нибудь нарушает спокойствие в самый неподходящий момент.

– Мама, но это ведь было так давно!

– Да, давно. Теперь это прошлое. Этого нет. И все же иногда оно возвращается.

– О, я понимаю, мама. Зря ты считаешь, что я глуповат.

– Нет, мой мальчик, я не считаю, что ты глуп, вовсе нет! – вздохнула она грустно. – Дело просто в том, что ты ребенок... И у меня никого нет, кроме тебя... Ах, я знаю, что ты скажешь... ты не ребенок. Может быть, ты прав, не знаю, я ничего не знаю! В том-то и беда, что я ничего не знаю.

Он подсел к ней на диван. Он чувствовал, что она чуть не плачет, но сдерживает слезы, не хочет расплакаться.

– Плевать я хотел на отца, – сказал он и добавил примирительно: – Как говорит дядя Мартин.

– Ах, дядя Мартин! Он столько раз меня убеждал рассказать тебе все. – И она грустно вздохнула.

Он сказал:

– Мама, сделай одолжение, не проводи со мной этой беседы, которую взрослые считают обязательной, когда их ребеночек подрастет.

Неужели она смеется! Возможно ли? Рядом с ним во тьме раздался приглушенный

беспечный смешок. Он же говорит совершенно серьезно! А ей смешно! Вот так мама! Честное слово, она неподражаема!..

– Понимаешь, в твоём отце что-то такое было, – вдруг с жаром сказала она. – Ему просто покоя не давали.

– Кто покоя не давал?

– Люди.

– Бабы?

– Да, бабы! – Она словно смаковала вульгарное слово. – Ты ведь знаешь, он был морской офицер, – добавила она так, будто это все объясняло.

– Да, на портрете он в форме.

– Ну, конечно... Но он недолго пробыл во флоте. Он ушел.

– Надоело?

– Да. То есть... Ну да, ему надоело. И он пошел в торговый флот и заработал кучу денег. Все просто поражаюсь. Он был такой ловкий.

– И вы разбогатели?

– Мы и тратили много. Очень много. Я тоже виновата. Вокруг нас всегда вились люди.

Теперь он сидел как на иголках. Когда-то он многое подозревал. А потом мысли его заняло совсем другое.

– Мы всюду попевали, без нас нигде не могли обойтись. Уж не знаю почему. Мы и сами считали своим долгом попевать повсюду. И путешествия. И современная живопись – в Норвегии ни у кого ведь нет таких картин. А ты знаешь, что твой отец выступал в концертах?

Вилфред не ответил. Да, он это знал, но его это никогда не занимало.

– На все руки мастер? – вяло спросил он.

– На все. Он все умел. Все ему удавалось.

Она запнулась, будто переводя дыхание. Он вдруг испугался, что она замолчит совсем.

– Но ведь это хорошо, мама? – спросил он.

– Нет, ничего в этом хорошего не было.

Правда приоткрывалась частями. Вилфред думал – ведь она давно ждала этого разговора. К чему же скрытничать?

– Ну вот, теперь ты знаешь все про своего отца, – сказала она по-детски и, по-детски довольная, добавила: – Хорошо, что ты спросил.

– Ничего я не знаю, – сказал он. – Стеклообразное яйцо...

Она резко встала и снова подошла к окну.

– Мы о нем уже говорили.

– Но не о том, какая связь между ним и... и всем прочим.

– Мы говорили обо всем. Кто-то, верно, взял яйцо... Украл...

Он подошел к ней, встал рядом. Он все еще парил где-то высоко над землей. Он и сам не знал, зачем задает эти вопросы. Может быть, ему просто хотелось помочь ей отвести душу, а может быть, так нашептывал ему добрый мудрец с портрета на стене.

– А потом вы все потеряли, мама? – спросил он.

– Все потеряли? Нет. На что же мы, по-твоему, живем?

Оба глядели в темень за окном. Одинокий фонарь со стороны Бюгдэ вонзал огненную иглу в черный бархат залива. Глядя прямо в темноту, Вилфред спросил:

– Из-за чего отец застрелился?

– Он не застрелился. – Она и не старалась выдать ответ за правду. Они не смотрели друг на друга, оба разглядывали огненную иглу, дрожащую в черной воде. Прогрохотал поезд, оставив за собой сноп искр; искры скоро погасли.

– Ну, спокойной ночи, мама. Уже поздно. Представляешь, я все еще парю.

Уже почти у самой двери он услышал:

– Я же не виновата.

Оглянувшись, он снова увидел ее – белым пятном в черном прямоугольнике окна. Она подошла к нему и в темноте сжала обе его ладони.

– Нам было так хорошо с тобой. Ты был ребенком.

– Да, мамочка. Но теперь я уже не ребенок.

Она испытующе разглядывала в темноте его лицо, словно ощупывала пальцами.

– Не ребенок?

– Нет, мама. Ты ведь сама знаешь. Но что с того. Нам и так хорошо с тобой...

– Нет, – сказала она.

– Мама! Ну почему ты так говоришь?

– Нам уже не может быть так хорошо, как прежде. Моя беда в том, что я не умею применяться к обстоятельствам. Дядя Мартин всегда об этом твердит. Он говорит, что я не умею делать выводы.

– Выводы из того, что отец умер?

– Для меня он продолжал жить. Я не верила, что он умер. Пока не забыла его. Почти забыла. И тогда он совсем умер для меня, будто его и на свете не было.

– Кажется, я понимаю тебя, мама. Ты принимаешь только то, что тебя устраивает, а о прочем ты знать не желаешь. И когда что-то меняется, ты не можешь примириться.

– И давно ты это понял?

– Не знаю. Зато ты о многом догадываешься, но долго гонишь от себя уверенность, а когда

уж сомневаться больше нельзя, либо закрываешь на все глаза, либо оскорбляешься.

Он ступил на зыбкую почву. На почву догадок. Он догадывался, как всегда, как догадывалась она, – неизлечимая семейная болезнь. Но если даже он угадал, она ни за что не признается.

– Знаешь, по-моему, ты не в меру проникателен! – заметила она, пытаясь обрести прежний беспечный тон.

– Зачем ты сказала мне об Эрне? Что видела ее в Эттерстаде?

– Но, голубчик, раз я ее видела...

Вот какой оборот принял их разговор. А ведь он не хотел говорить на эти темы сегодня, сейчас, пока еще не ушло чувство парения. Но что бы она теперь ни сказала, он уступит и больше ни о чем не станет расспрашивать.

– Собственно, я совсем о другом хотела с тобой поговорить, – вдруг объявила она. – О конфирмации.

– Мама!

– В чем дело, мальчик? – спросила она раздраженно. – Мы ведь уже это обсуждали.

– Мне очень не хочется огорчать тебя, мама, я бы все отдал, чтоб тебя не огорчать. Но как ты справедливо заметила, мы уже это обсуждали.

– Ну и почему же, мой мальчик, почему ты не хочешь?

– Если уж тебе непременно угодно знать – я не верю в бога.

Против воли Вилфреда это прозвучало слишком торжественно. Ему хотелось пощадить ее чувства. А он заговорил как в исповедальне. Это только подлило масла в огонь.

– Что за чепуха, а кто верит?

– Не знаю, не представляю, мама. Только не я.

– Дело вовсе не в вере. Твой дядя Мартин, мой брат, – думаешь, он хоть во что-нибудь верит?

– В курс акций, я полагаю. Но при чем тут дядя Мартин?

– Он твой опекун, мальчик. Он тебе вместо отца. И он считает...

Она еще посидела немного, потом беспокойно встала и подошла к камину.

– Есть еще и другое. Уж говорить, так обо всем разом: ведь ты не крещен.

Вилфред не мог удержаться от смеха. Но она не улыбнулась, и он смеялся чуть дольше, чем ему хотелось.

– Можно подумать, будто это большое несчастье.

– Конечно, несчастье. А все твой отец. В некоторых вопросах он был ужасно упрям. А я...

– Что ты, мама? – Он подошел к ней; у него как-то сразу отлегло от сердца.

– Я такая безвольная. А потом я просто забыла. Но неужели ты не понимаешь, что некрещеному нельзя конфирмоваться?

Она заломила руки. Да, в самом буквальном смысле слова – встала к зеркалу спиной и заломила руки.

У Вилфреда было одно желание – помочь ей, и он сказал:

– И вы решили потихоньку окрестить меня, так что ли? Она не отвечала.

– Мама, ты уже договорилась с пастором?

– А что мне оставалось? – сердито откликнулась она. – Пастор сказал, что это вовсе не единственный случай в его практике.

Но теперь пришла его очередь вспыхнуть.

– Значит, решили отвезти меня в колясочке в церковь и сунуть в купель? Нет, серьезно, мама, я во многом согласен тебе потакать, но...

– Ты мне – потакать? Не я ли делаю для тебя все! Угождаю тебе во всем! Вплоть до немой клавиатуры, потому что тебя, видите ли, утомляет музыка!

Что-то шевельнулось в нем. Нежность? Настороженность?

– Все так неожиданно, мама. И это же не к спеху.

Он парил. Он ощущал свое превосходство. Он мог себе позволить снисходительность, мог пойти на уступки. То, что с ним случилось, разом возвысило его над сверстниками, перевело в мир взрослых.

– Это же не к спеху, – сказал он. – Давай отложим, мне надо привыкнуть к этой мысли, ладно?

Он почти победил ее. Он видел. Почти.

– А зато я тебе кое-что пообещаю, – сказал он. – Во всем, за что бы я ни принялся, обещаю тебе быть первым. В школе, в консерватории – всюду буду лучше всех. Во всем.

Она поежилась, как бы кутаясь в невидимую шаль.

Он видел, что напугал ее. Но решение было принято.

17

Вилфред стал первым учеником.

Он теперь иначе распределял время. Готовил уроки полчаса до обеда и час после обеда. Потом он гулял, потом два часа играл, сначала – внизу, на рояле, потом на немой клавиатуре. Лишь раз в неделю, когда ходил в консерваторию, он не играл – так посоветовал ему учитель. Вечерами он занимался французским или читал по истории искусства, кроме одного дня в неделю, когда ходил заниматься гимнастикой. Там добиться первенства было трудновато – своего ужаса перед трамплином он так и не мог преодолеть.

В консерватории Вилфред познакомился с девочкой по имени Мириам, она занималась по классу скрипки, ее отец держал магазин трикотажных изделий. Провожая Мириам домой, на улицу Оскара, Вилфред обычно нес легкий футляр со скрипкой, и осенними темными

вечерами они нередко бродили по улице Мельцера и дальше, вокруг Ураниенбургской церкви. Октябрь выдался холодный, температура опускалась ниже нуля. Иногда они забирались на каменную церковную ограду и смотрели на северное сияние над Трюваннским холмом. Обычно по дороге домой они рассуждали о музыке, но, когда северное сияние озаряло северо-восточный край неба над холмами, какой-то таинственный ток передавался от одного к другому, они брались за руки, и обоих словно омывали струи холодного света. И оба тогда не знали, о чем говорить.

Кристина уехала в Копенгаген вскоре после того знаменательного сентябрьского дня. Она заходила к Сагенам один-единственный раз, заглянула всего на минутку и ни словом не обмолвилась об отъезде. Вилфреду эту новость уже после отъезда Кристины сообщила мать как-то раз, когда он сидел над французским. Сообщила мимоходом, болтая о пустяках. Ему даже показалось, что чересчур уж мимоходом. Отъезд Кристины не произвел на него особого впечатления. В тот единственный раз, когда она к ним заходила, она выглядела усталой и даже постаревшей. Он испытывал к ней благодарность, но не любовь.

Всякий раз, когда он думал о том, что произошло, он испытывал к ней благодарность, а думал он об этом часто. Мальчишки в новой школе только и говорили, что об «этом самом», а один считал даже, что стоит сделать «это», и у тебя так и пойдут рождаться дети. Мальчишки рисовали половые органы на клочках бумаги и передавали рисунки по классу. Когда Вилфред получил такой листок, он усмехнулся, разгладил бумажку, потом разорвал и сунул в парту. Больше ему таких рисунков не посылали.

Он благодарил Кристину еще за то, что случившееся помогло ему воздвигнуть вокруг себя непроницаемую укрепленную стену, как он решил в тот вечер, когда мать заговорила о конфирмации. К пастору он не ходил, он добился отсрочки крещения. Он по опыту знал, что в их семействе, где не любят сложностей, отсрочка означает забвение.

Он благодарил ее за свое постоянное теперь ощущение физического покоя и довольства. Вечерами мать иной раз украдкой недоверчиво поглядывала на сына – словно ее даже беспокоило его усердие и послушание. Случалось, она при его появлении резко обрывала телефонный разговор. Это бывало в тех случаях, когда, повинувшись чувству долга, об успехах племянника справлялся дядя Мартин, а иногда тетя Валборг; тетю Валборг смущало благоразумие Вилфреда. Она утверждала, что молодому человеку следует иногда выкинуть какую-нибудь глупость, это необходимо. Когда мать так поглядывала на него, Вилфреду казалось, что и она разделяет опасения тетки. Бывало, она даже говорила: «Ну стоит ли так уж корпеть над французским?» Или соблазняла его синемаграфом, звала в космораму. И он не возражал, не отказывался. Он ничем себя не выдавал. Он потакал ей во всем, соглашался и немного развеваться ей в угоду. Он рассказал ей про Мириам, о том, что они гуляют по улицам. Он всячески подчеркивал, что у него нет от нее тайн. И тем достигалось, что решительно все – от начала и до конца – было притворством. В результате мать ничего о нем не знала. И она тоже. Вообще никто.

Однажды, возвращаясь домой, он встретил Эрну. Она ходила в школу по улице Профессора Даля, а жила на улице Людера Сагена. Как она очутилась здесь, на Драмменсвей, как раз после окончания школьных занятий? Вилфред насторожился, как только ее завидел.

– Решила пройтись, – сказала она, словно извиняясь.

У нее еще не сошел летний загар. Этот здоровый матовый загар напомнил Вилфреду об опасности. Они немножко прошли вниз по улице, по дороге к его дому. Вот совпадение – Эрне тоже сегодня нужно на эту улицу. Она к портнихе. А Вилфреду надо к зубному врачу, на улице Обсерватории, он только сейчас вспомнил.

Пожалуй, Эрне и это как раз по пути.

Они шли, все замедляя и замедляя шаг. Впрочем, зубной врач подождет – это не к спеху. Вилфреду пора домой. У них сегодня гости.

Они остановились, глядя друг на друга. На Эрне было светло-синее пальто, отороченное узкой полоской меха, и вся она была воплощением благоразумия. Засучив левый рукав, она подняла кверху руку.

Тот самый шнурок, который Вилфред подарил ей летом! Вылинявший от постоянных умываний, он все еще обвивал ее запястье. Вилфреда охватила ярость. Он стиснул руку Эрны, одним рывком развязал морской узел, который завязал тогда, в лодке, и потянул к себе тонкий крученный шнурок.

– Отдай! – крикнула она. Он отшвырнул шнурок в сторону, на рельсы, и по нему тут же проехал трамвай.

– Незачем его хранить, – сказал Вилфред жестко. Он уже отошел на несколько шагов, но оглянулся и захохотал. – погоди, я тебе еще подарю кольцо с брильянтом! – крикнул он, повернулся на каблуках и быстро зашагал прочь. На какую-то секунду она совершенно растерялась. Он это заметил. Заметил, как в глазах у нее сверкнул огонек. Вилфред снова расхохотался и пошел дальше. Он останавливался и громко смеялся, зная, что она смотрит ему вслед.

У дяди Рене опять устраивались музыкальные вечера, по четвергам, раз в три недели. Профессионалов приглашали теперь редко, и дядя Рене уже не стеснялся знакомить публику со своими собственными произведениями. Как-то одну из его пьес даже исполняли в концерте сверх программы. Он все больше входил в роль служителя муз и уже не робел перед знаменитостями. Вилфреда тоже попросили выступить. В консерватории в октябре он играл Шопена и Дебюсси. В ноябре пришлось разучивать Баха – этюды и маленькие прелюдии. Моцарта он теперь никогда не играл и, если его упрашивали, отвечал, что все позабыл. На музыкальных вечерах он играл Букстехуде и по собственной инициативе прочел несколько лекций о полифонии. Дядя Рене был недоволен, но мать вся сияла и украдкой оглядывала слушателей.

На семейных сборищах Вилфред умел угодить всем. Он рассказывал дяде Мартину, как много дал ему дядя Рене, рассказывал достаточно громко, чтоб дядя Рене мог уловить, о чем идет речь. Он выживал в газетах биржевые новости и угощал ими тетю Валборг, она всплескивала руками и кричала мужу через стол:

– Мартин, ты слышал, что говорит Вилфред? Чего он только не знает! Я и не представляла!

А Вилфред, делая вид, что пытается умирить ее пыл, в наступившей тишине объявлял:

– Как я завидую дяде! Какой интересной жизнью он живет. Ведь я, собственно, ничего не знаю, сужу только по его рассказам.

Тете Шарлотте он говорил:

– Как жаль, что ты переменяла духи. Нет, эти мне тоже нравятся, они прелестны, но тот запах тебе как-то больше шел...

Когда входила Лилли с подносом, Вилфред проворно собирал чашки и бокалы, помогал ей вытряхивать пепельницы. В Лилли он обрел союзницу, хотя одно время дружба их висела на волоске – это было осенью, когда мать раздражалась по пустякам и ко всему придиралась. В газетах тогда много писали об испорченности молодежи, а Вилфред знал, что Лилли с ее простонародной смекалкой провести нелегко. Раза два она уже готова была ответить на замечание хозяйки какой-нибудь дерзостью о маменькиных сынках, и только взгляд

Вилфреда, брошенный на нее, заставлял ее умолкнуть.

Теперь Вилфред имел в ней союзника. Только союзника, дружбы он ни с кем не заводил. Он не позволял одноклассникам лезть к себе в душу. Держался он со всеми ровно и приветливо, и в спорах его часто выбирали третейским судьей, ведь он ни к кому не питал особого пристрастия. Это Андреас ходил с умным видом, словно ему открыты какие-то тайны. Но не от хорошей жизни он напускал на себя важность. К тому же бедняга никак не мог вывести бородавки. Он травил их уксусной эссенцией, а они от этого только чернели.

Иной раз, провожая Мириам из консерватории на улице Нурдала Бруна, Вилфред готов был разоткровенничаться, сказать правдивое слово. Маленькая кареглазая девочка с пушистыми ресницами излучала странное спокойствие, передававшееся и ему. Она рассказывала о житье-бытье у них дома, об отце, правоверном еврее, который ходит в синагогу. Музыка переполняла все ее существо, звучала в ее голосе, в ее движениях. Мириам играла на благотворительных концертах в бедных кварталах и рассказывала Вилфреду, как блестят глаза у ее слушателей. Рассказывала, как соблюдается дома суббота, как затихают в этот день родители и братья. Вилфреду передавалось ее благоговейное чувство. Хотелось понять, пережить его вместе с нею, получать и давать. Но он заставлял себя вспомнить принятое решение и, оглядев пыльные улицы, стряхивал с себя непрошеную нежность, а потом говорил Мириам:

– Да зачем она вообще нужна, эта музыка?

Но тихая девочка как будто понимала, отчего он задает этот вопрос. Она не оскорблялась, не обращала на него взоров, полных слез. Она только смеялась, совсем тихонько. Она над всем тихонько смеялась. А когда что-нибудь говорила, то не категорически, как другие, а будто случайно и ненароком. И если он возражал, она не спорила, не настаивала на своем, но казалось, что она понимает очень-очень многое. Однажды в редком лесочке позади Ураниенбургской церкви Вилфред обнял ее и поцеловал. Она не противилась, она ответила на его поцелуй. Они долго стояли обнявшись. Было холодно. Мешал футляр со скрипкой. Наконец Вилфред положил футляр на землю. Она засмеялась, но встала так, чтоб ему было удобней ее обнимать. Она отвечала ему радостно, без смущения, его охватили нежность и желание, какого он не знал прежде. Потом она отстранилась и погладила его по щеке. Сняла перчатку, еще раз погладила. Он нагнулся за футляром и увидел, что землю покрыл снег. Снег заपोрошил все, их головы, плечи. Мириам опять засмеялась.

– Вот и зима наступила, – сказала она.

Он рассказал матери о Мириам. Не потому, что он в нее влюбился. Он рассказал, чтобы не влюбиться. Он рассказывал матери о школе, о толстом учителе гимнастики, казавшемся самому себе чудом ловкости, о том, что, когдаходишь к консерватории, на тебя из окон льется музыка, она льется отовсюду, на что попало. Вилфред все время ловил себя на том, что, говоря правду, никогда не говорит правды. И как это легко! Ему даже хотелось приврать, как бывало, чтоб внести в свои рассказы больше правдоподобия. Он знал, что она будет в восторге – ах, он проговорился!

Но он не врал. Он ловил себя на этом желании и не уступал ему. Он берегся. Нет, ей не удастся снова склонить его к уютной лжи, которая сразу превращается в понятный обоим шифр.

Зима наступила рано, снег все валил и валил. Часто, вместо того чтобы идти в театр, как собирались, они вдруг, глянув друг на друга, решали, что лучше посидеть дома. Решали без слов, только однажды Вилфред сказал:

– К тому же мне надо готовить математику.

Она ответила:

– Что значит «к тому же»?

– Мы ведь решили не идти в театр? Снег, ветер.

– Решили? Но об этом ни звука не было сказано.

Они поглядели друг на друга. Он рассмеялся.

– Разве?

Ему это было безразлично. Просто хотелось потешить ее немного доказательством их близости.

– Вилфред, – сказала она, – знаешь, это ужасно.

Отлично. Все отлично. Все идет как по маслу. Ему удалось внушить ей, что они понимают друг друга без слов, думают всегда об одном. Она рада, очень рада, «ужасное» доставляет ей удовольствие.

– Ты права, – сказал он. – Это очень интересно!

Клюнет или нет? Клюнула. Она клюет на все. Все клюют на все, когда им самим хочется. Может, и у рыбки, которая мечется по морю в поисках съестного, мелькает мгновенное сомнение при виде наивной приманки? А ведь она клюет. Очевидно, надеется на лучшее. Но не вспыхивает ли в ее жалком мозгу досада в ту самую секунду, когда она попадает на крючок, – ведь заметно же, заметно было, что тут что-то неладно...

Она сказала:

– Знаешь, тетя Кристина... Мне давно бы надо тебе сказать.

Он встрепенулся. А вдруг он сам – глупая рыбешка?

– Что такое? – Он открыл готовальню, вынул циркуль.

– Ты ведь помнишь, она ездила в Копенгаген...

Он раскрыл циркуль. Рука не дрожала.

– Так вот, она вернулась...

Он разглядывал линейку. Надо провести гипотенузу! Его занимала гипотенуза.

– Кондитерскую она оставляла на своих двух помощниц, – сказала мать. – Хочешь кофе?

– Спасибо. – Он взялся за чашку. Обычно кофе разливал он. Он встал было, но она жестом усадила его на место.

– А как же «домашние конфеты»? – спросил он.

– Ах, ты ведь сам знаешь, что домашние конфеты по большей части поставлялись фабрикой. Обман. И тут обман.

Он проводил линию по линейке. Проводил старательно, аккуратно, подперев щеку языком. Он знал, что мать на него смотрит.

– Ну, а где еще обман? – спросил он.

– Она туда ездила с французом-адвокатом.

Так. Гипотенуза. Радиус. Диаметр, окружность...

– Ездила?.. Куда она ездила?

– Милый, я же тебе рассказывала. Сразу после того, как здесь был тот летчик. Она и адвокат Майяр уехали в Копенгаген вместе.

Линейка. Циркуль. Окружность – это кольцо. Нет, это замкнутая линия. А линия – это продолжение точки. А точка – это ничто.

– Ну и что же? – спросил он.

– Ты, верно, не поймешь. Ты... ты еще молод. Но это неприятно.

– Мама! – Он поднял глаза от геометрии. – Что неприятно?

– Тебе этого не понять. Но нам ведь придется принимать ее, разговаривать с ней так, словно ничего не случилось. Ну, как же ты не чувствуешь? Конечно, это не очень приятно.

– Ну и не рассказывала бы мне, – сказал он. – И я бы ничего не знал.

Он снова погрузился в задачу. Но не вполне. Инстинкт нашептывал ему, что не следует

выказывать
излишнее безразличие.

– Я же ни разу в жизни не видел твоего брата, ее мужа, – сказал он, вставая со стула. – Может быть, ты зря так огорчаешься, мама?

Победа за ним. Не так легко она ему досталась. Где-то внутри боль, что-то кровоточит. Надолго ли у него хватит выдержки? Но сейчас – сейчас победа за ним. Погасить вулкан – как это легко и просто!

Он сжал руку матери, усадил ее на стул, пододвинул сахарницу. Подошел к полке над камином, взял оттуда египетские сигареты. Победа за ним. Она считает, что сейчас в поддержке нуждается не он, а

она. Он зажег ей сигарету. Подошел к окну и сказал:

– Ну и снег. Даже Оскарсхалла не видно. – Потом тотчас вернулся на свое место. Только не переиграть. Зажег лампу, осветив чертеж, чтоб яснее разглядеть окружность – замкнутую линию.

– Копенгаген, – произнес он и как бы в рассеянности поднял глаза от задачки. – Наверное, они там ходили по Хюскенстредде.

– С чего ты это взял?

– А ты помнишь Хюскенстредде? Помнишь Овергаде? А Виольстредде? Ты еще купила Бодлера...

Да, да. Победа за ним. Он чуть было не переиграл. Но теперь удалось вернуть ее к воспоминаниям о его детстве.

– Если бы я могла тебя понять! – вздохнула она, отхлебывая кофе.

Снова сети. Ловко расставленные сети.

– Прости, – сказал он. – Это все геометрия...

– А знаешь, эта твоя Мириам... – снова начала она. – Говорят, ее часто видят с учителем-скрипачом...

Гипотенуза. Радиус. Круг. Рука потянулась за циркулем. Циркуль выскользнул. Она сказала:

– Кстати, звонила мать Эрны. У них будут гости, взрослые, конечно, она спрашивала, может быть, и ты...

Сети. Повсюду сети. Круг. Круг проводят циркулем. А в гладком круге тысяча мелких петель. С виду он пустой, математическая абстракция. А на самом деле в нем полно петель, он весь состоит из петель. Уж сейчас-то она наверняка думает, что накинула на эту окружность сеть и что он, бедняжка, в нее попался.

– Хотел бы я знать, к чему ты мне все это рассказываешь? – спросил он.

Она ответила:

– Я тебя не понимаю!

Будто он виноват. Будто он виноват, что она вечно роется в его маленьком мирке, его собственном, неприкосновенном, хочет выкурить его оттуда, чтоб поймать в капкан. Каждый сидит в таком капкане, откуда не выйти. Сидят и подмигивают друг дружке – мне, мол, тут неплохо...

– Ты хочешь сказать, что все на свете – обман?

– Ты с ума сошел, – встрепелась она. – Ничуть. Просто я считаю, что надо смотреть правде в глаза... Скажи, ты действительно не можешь оторваться от математики?

Он встал. А что, если выложить ей все как есть: эту ее «правду»? И сразу рухнет здание, которое он так заботливо возводил в течение осени, – здание притворства. Показать ей кое-что в истинном свете. Она бы рот раскрыла. В его власти несколькими фразами превратить ее в старуху.

Он сказал:

– Мне обязательно надо решить эту задачу по математике. Пойду-ка я к себе, там еще позанимаюсь.

Но каждый шаг по устланной ковром лестнице мог его выдать. Не так быстро. Не отдавая себе в том отчета, она прислушивается, как он поднимается по лестнице, ждет, когда хлопнет наконец его дверь. Даже в своей комнате он словно еще ощущал на себе ее взгляд. Или еще чей-то. Его хотят поймать на удочку, он, может быть, даже сам хочет попасться. Но его второе «я» бдительно следит за тем, чтоб все шло добропорядочно и фальшиво. Смертельно усталый, он сел к письменному столу и, не ослабляя над собой контроля, стал перебирать все, о чем только что говорилось... Кристина... Всего через несколько дней, может быть, на другой же день, а может, уже

тогда она строила эти планы. Мириам. И это бы ничего, но только слишком уж все сразу. Скрипач. Взрослый. Эрна, с которой во что бы то ни стало его хотят связать, чтобы продлить его детство, из страха перед тем, что они чувствуют в воздухе, не зная, что оно

уже наступило. Ему хотят добра, его хотят поймать. Если человеку хотят добра – его ловят, а

потом, когда он барахтается в сетях, ему говорят: «Вот видишь, как тебе хорошо, ты в сетях, как и мы...»

Из аптечки в ванной комнате он взял две таблетки снотворного, которое принимала мать. Он впервые принял снотворное, и после короткого искусственного возбуждения навалившаяся на него страшная усталость тучей заволокла все. Он даже не смог раздеться. Мгновение спустя он проснулся и посмотрел на часы. Прошло десять часов.

Взяв деньги из копилки, Вилфред пошел в школу, но после первого же урока сказался больным и отпросился домой. Добравшись пешком до Западного вокзала, он целый час ждал поезда. Зимой пароходы в Хюрумланн не шли. Талый грязный снег лежал комьями на полу вокзала и в вагоне.

Вокруг пригородной станции все занесло снегом, но на дороге виднелась свежая колея. По этой дороге Вилфред как-то летним вечером ездил на велосипеде, когда не попал на катер. Теперь дорога выглядела иначе. Трудно было представить себе, что она ведет к Сковлю.

Дорожка разветвлялась, пошли тропинки к домам в глубине побережья. Та, по которой шел Вилфред, делалась все уже и уже и наконец превратилась в неверную цепочку глубоких следов. Снег повалил снова, следы запорошило. Когда Вилфред дошел до поворота направо, к дачам, следы и вовсе пропали. Дачники зимой сюда не ездили.

Он и не заметил, где оборвалась летняя тропка. Кажется, у кривой сосны. И сосну не узнать под снеговой шапкой. Да и все равно ему не туда. Правда, вначале он хотел взглянуть на дом в Сковлю, каков он зимой; в это время года Вилфред здесь никогда не бывал. Даже трудно было себе представить, что дом продолжает стоять и зимой. Снег повалил гуще, но Вилфред знал, что двигается в сторону перешейка между дачами и полуостровом. К твердо намеченной цели. Он идет к фру Фрисаксен, навестить ее. Войдет и скажет: «Вот и я». Он перекрасит ей дом, будет удить для нее рыбу, да и деньги у него есть, не так уж мало. Можно проникнуть в Сковлю, там полно консервов и прочего добра, им надолго хватит. Она обрадуется, когда он войдет, не станет притворяться изумленной. Не важно, правда это про Мириам или нет, важно, что ему это сказали. Не важно, замышляла ли Кристина свою копенгагенскую поездку в день, когда посвящала Вилфреда в таинство. Что ему, жалко, что ли, пусть развлекается. Ему все равно – пусть их заманивают его в капкан, заставляют плясать под свою дудку. Уж такие они все. Такая у них жизнь. Какими бы стенами он ни обнес свой маленький мир, они будут бомбардировать их, постараются вторгнуться в его крепость, захватить его достояние и объединить со своим.

Он постучится к фру Фрисаксен. Конечно, она еще не старая, хотя ее почему-то называют мадам. Вилфред видел ее лодку на закате, чашу в золотом потоке. Видел ее красный домик, который давно уже стал серым, знал, какой этот домик внутри; он видел фотографию Биргера; в эту низенькую дверь входил когда-то отец, пригнув шею в тугом воротничке. А может быть, здесь он не носил воротничка, да и вообще не напускал на себя излишней важности.

Когда Вилфред вышел на перешеек, пурга засвистела ему в лицо. Раньше он шел под прикрытием холмов, а здесь ветер дул изо всей силы. На каждом шагу Вилфред глубоко проваливался в снег и долго вытаскивал ногу, прежде чем ступить дальше. И смех и грех, он почти не продвигался вперед.

Он остановился перевести дух. Наверное, это вчерашнее снотворное – голова какая-то дурная, трудно дышать, и от резких движений делается еще хуже. Мысли кружились по тому же кругу, что и вчера. Точка разрослась в окружности, и он кружит по этой замкнутой кривой. Он не нашел тропинки на перешейке и пошел наугад. Скоро он увидел впереди низенький домик садовника. Из труб не шел дым, к дверям не вели следы. Не было слышно и собачьего

лая. Может быть, садовники, как медведи, на зиму забираются в берлогу? Все семейство ложится на широкую кровать и проводит зиму в спячке. Как цветы, которые распускаются весной, а осенью, свернув лепестки, зимуют глубоко под снегом, не зная ни дня, ни ночи...

На всякий случай он обошел дом стороной. А вдруг благодарное семейство все-таки увидит его, станет зазывать к себе, угощать кофе! Вилфред поморщился и тут заметил, что все лицо его запорошило снегом. Снег покрыл его с ног до головы, словно Вилфред сам был частью белой равнины. Остановись он – и сольется с нею.

Он не остановился. Он шел. Он забрел в сторону всего на несколько метров. Дом оказался только чуть левее, чем он предполагал. Дорожка была не расчищена. Дом до половины занесен снегом. Не так-то просто сюда пробраться.

Он постучал. Постучал снова. Потом принялся барабанить в дверь. Счистил снег со ступенек, отгреб его в сторону, потом осторожно взялся за скобу. Не заперто. Он снова постучал и прислушался. Потом толкнул дверь и вошел. Все пусто. Сеть аккуратно развешана на рогатом сучке, воткнутом в трещину на стене. Крюк над плитой потускнел по сравнению с прошлым разом. Дверь в комнату приоткрыта. Вилфред отворил ее и увидел фру Фрисаксен. Она лежала на кровати под серым шерстяным одеялом. Он узнал ее не столько по лицу, сколько по свесившейся до пола руке. Она, очевидно, умерла уже давно.

Он попятился в кухню, прикрыл за собой дверь. А когда оказался у выхода, увидел фотографию Биргера на улице Опорто. Немного похож на отца, формой лба, что ли...

Снег валил теперь еще гуще. Дом садовника пропал из виду. Но Вилфред пошел напрямик сквозь белую мглу и прибрел к нему. Странные люди! Как это так? Человек умирает прямо у них под боком, без всякой помощи, а они даже не замечают, что труба не дымит?..

Но, подойдя вплотную к занесенным парникам, Вилфред вспомнил, что садовник зимою тут не живет. Он служит сторожем при какой-то больнице. Ведь Том ходит в школу... Как это он забыл! В городе он никогда не думал о взморье. Оно существовало только как воспоминание о лете и предчувствие его.

Нельзя уступать страху. Он доберется до Сковлю, дозвонится ленсману. От дома садовника он пошел в сторону перешейка, к самой узкой его части. Надо идти прямо через холмы, тогда скоро покажутся дачи; каждая дача стоит в своей котловине.

До садовника Вилфред добрался быстро: со стороны болота снег был не такой глубокий. А сейчас он проваливался, почти не мог сдвинуться с места. Пришлось возвращаться назад, но не к самому дому фру Фрисаксен, дом он обошел, не мог его видеть.

Своих следов он не обнаружил, их, видно, уже занесло. Снег валил теперь не так плотно, зато ветер стал сильнее. Похолодало, щеки у Вилфреда горели, а ноги и руки совсем застыли. Над берегом клочьями повис сырой туман. Если идти так, чтобы ветер дул слева, выйдешь прямо к перешейку, а оттуда через холмы до Сковлю рукой подать.

От проклятого снотворного его клонило в сон. Словно при каждом движении по телу распространялась отравка. Чтоб успокоиться, он замедлил было шаг, но так и вовсе невозможно стало продвигаться вперед; тогда он пустился бегом, но снег лежал слишком глубоко, бежать было невозможно. Лучше всего идти ровным шагом, спокойно, словно гуляешь. Спокойно, спокойно. Он же помнит здесь каждую пядь.

Ну да, он решил навестить фру Фрисаксен... Это пришло ему в голову вчера вечером, когда начала затягиваться расставленная ему сеть. Мать перегнула палку, совсем загнала его в угол. Не важно, если он и выдал себя. Зато у него созрело твердое решение. Он понял, что есть выход, есть где-то прибежище, хоть ненадолго, только оглядеться, а там – как знать,

может, он проберется на борт судна. Мальчишки с пристани вечерами перешептывались о тех, кто уплыл в дальние края. Те, как видно, тоже попались в сети, выкинули что-то, а потом испугались, что их сцапают, – наверно, их держали на подозрении.

Вилфред не из тех, кого держат на подозрении. За его выходки приходится расплачиваться другим. Но это ему безразлично. Зато его вечно заманивают в капкан. Он надеялся было притворством добиться, чтобы его оставили в покое, но они и в притворстве усмотрели преступление. Преступление быть милым, ловким, обходительным – величайшее преступление. Вилфред выработал для себя целую систему мучений, чтобы стать образцом послушания, но они все равно бьют тревогу, как только чувствуют, что он старается отыскать в сетях дыру.

Ему просто хотелось повидать фру Фрисаксен, он соскучился по ней, по ее лицу, то старому, то совсем молодому, соскучился по матери Биргера. По-своему он даже любит ее. Он стоял тогда голый на мысу, а она гребла мимо... Она не удивилась. Грубоватая, может быть, злая. Но зато такая, какая есть. Вот он и открыл дверь в комнату. Он никогда еще не видел покойников. А она, верно, умерла уже давно.

Там, где он рассчитывал, перешейка не оказалось. Вода, затянутая тоненькой пленкой, впитывала мокрый снег. Тут не пройти. И он пошел вдоль берега, но увидел только сырой туман над заливом. Значит, надо идти в другую сторону.

Он пошел вдоль берега в другую сторону. Надо найти пещеру под обрывом. Там можно передохнуть и даже выжать носки. Если б садовник был дома, можно было бы выпить чашку кофе, конечно, его бы угостили и хлеба бы дали. Но в доме садовника никого нет, зимой они тут не живут.

Поскорей бы найти пещеру, выжать носки.

Пещеры не было. Не было и перехода на ту сторону. Куда подевалась вся до мелочей знакомая летняя земля? Словно она ему просто приснилась. Весь Скоблю. Где холмы, через которые он собирался идти? Плоская равнина, заваленная снегом, а с другой стороны – вода, вода, вода и сырой туман.

Уж не идет ли он в обратном направлении? Он попытался мысленно перевернуть ландшафт, но ничего не вышло. Главное – собраться с мыслями, это он читал в «Карманном справочнике для юношей», главное – не терять присутствия духа. Однажды, не потеряв присутствия духа, он спас одного парнишку. Но тогда на Вилфреда смотрели. Он был на виду. А теперь вокруг никого. Он крикнул в белую пургу, но даже не остановился, чтобы услышать ответ. Если б вспомнить очертания полуострова. Он треугольником вдаётся в залив, и вдоль одного из берегов тянется длинный рукав фьорда. Там и стояла лодка фру Фрисаксен. А на другой стороне перешейка высились холмы, образуя границу летних владений Вилфреда.

Холмов Вилфред не нашел. Он брел туда, где, по его расчетам, тянулись холмы, но их там не было. Снег опять повалил гуще. Вилфред еле держался на ногах. Он повернул в уверенности, что сейчас выйдет к обрыву и там увидит пещеру. Ничего. Снег валил густыми хлопьями, все застилал. Вилфред с трудом передвигал промокшие ноги. Пещеры нигде не было.

Хорошо, что он занимается гимнастикой. Устал он ужасно, но все же хорошо, что он такой тренированный. Он поворачивал то туда, то сюда, но нигде не видел ни холмов, ни залива. Он метался в каком-то замкнутом пространстве. И вдруг понял, где он: в стеклянном яйце. Потому-то его и клонит в дрему – не хватает воздуха. И все стало понятно. Из стеклянного яйца не выбраться. Чем больше мечешься, тем плотнее валит снег. В стеклянном яйце валит и валит снег. Только вот маленького домика что-то нет. Маленького домика, на который

падают и падают белые хлопья. А вот и домик! Теперь все сходится. Вон он, там, в просвете. Вот снова пропал в снежном мареве и вынырнул опять. Это он, тот самый дом, а в стеклянном яйце все падает и падает снег.

Это жилье фру Фрисаксен. Он и это знал. Он это понял. Стемнело. Значит, он уже давно в пути. Поезд отходит в половине второго. Он отогнул рукав, посмотрел на швейцарские часы, привезенные дядей Мартином из Берлина. Шесть часов. Не мудрено, что уже темнеет.

А что, если снова постучать? Дверь закрыта. А вдруг ему все только померещилось? От снотворного такая странная голова. Вдруг все только привиделось, приснилось? Спотыкаясь, он добрел до облезлой двери. На крыльце почти не было снега. Это он сам счистил его. Ему сделалось так дурно, что пришлось лечь прямо в снег под крыльцом. Его стошнило. Потом охватила страшная слабость. Надо отползти отсюда, хоть немного, только бы не видеть этого дома. Но тьма сгустилась. И он подполз ближе к крыльцу. Он так устал. Надо попытаться проникнуть в дом: приснилось ему все или нет – теперь уже не важно.

Не так-то просто было добраться до дверной скобы. Она вдруг оказалась очень высоко. Пришлось ухватиться за нее обеими руками. Но вот он открыл дверь и вполз в жилище фру Фрисаксен. Он хотел погостить у нее, навестить хозяйку, покрасить ей дом, удить для нее рыбу. А теперь вот переползает через порог. В квадрате двери за его спиной бушевала снежная буря. Он на четвереньках повернулся лицом к двери и руками отгреб снег, но снегу в один миг навалило еще больше. Тогда он лег навзничь и устался в потолок.

Когда он очнулся, было темно. Он так дрожал, что никак не мог затворить дверь, не слушались руки. Потом он вспомнил о снеге, который сыпался на пол. Его почти не прибавилось. Верно, перестало снежить. Наконец ему удалось справиться с дверью. Он уже мог держаться на ногах, но его облепила мокрая одежда. Он громко стучал зубами – будто нарочно, будто это помогало согреться. Потом он стал обшаривать темную комнатушку дюйм за дюймом, покуда не обнаружил на полке коробок спичек. Потом снова лег на пол и стал ползком искать дрова. И почти сразу же нашел сухую вязанку в закутке возле печи. Он берег спички, их было всего несколько штук. Ему еще не приходилось разжигать печь.

Ему не приходилось разжигать огонь в печи. Но костер он разжигал. Засовывая в печь тонкие лучинки, он подумал, что разжигать огонь он мастер. Прежде чем поджечь дрова, он сложил их по всем правилам. Вспыхнула первая спичка. Зашумел, затрещал огонь. У фру Фрисаксен сухие дрова, она была хозяйственная, да иначе ей бы не прожить.

Когда от печи потянуло теплом, он сообразил, что в мокром никогда не согреешься. Он аккуратно разделся и развесил одежду над плитой на веревке, которую нашарил в темноте. Фру Фрисаксен хозяйственная женщина. Жила одна-одинешенька и была готова ко всему. Он все время тихонько стонал, это отвлекало. Зубы лязгали, выстукивая мелодию – та-та-та-там, та-та-та-там... «Симфония судьбы»... Последнюю спичку он приберег. Вынул из печи лучину и посветил – нет ли где свечи, но рука слишком сильно дрожала и свечи он не нашел. В отсвете горячей лучины он разглядел сети, висящие на стене, потом бросил лучину в печь.

Голому ему стало теплей. С мокрой одежды капало на плиту. Шипение плиты давало ощущение уюта. В Париже они как-то жарили баранину на вертеле, и она шипела. Одно из самых милых воспоминаний...

Но в темноте тепло не держалось. Теперь Вилфред просох, но от стен тянуло холодом, а мысли окутывала неодолимая сонливость. Он приглядывался, не найдется ли чего-нибудь, во что можно завернуться. Напрягшись изо всех сил, чтоб не впасть в забытие, он чувствовал, что в эти минуты происходит что-то важное, решающее. Отсветы огня играли на сети, она казалась густой, плотной, даже как будто теплой. И больше нигде ничего, только вот лоскут, которым, он знал, заткнуто разбитое окно в соседней комнате. Но он гнал от себя эту мысль.

Не надо думать о той комнате.

Он потянул к себе сеть, выдернул из щели в стене сук, на котором она висела, попытался расстелить ее, закутаться в нее. Но она только путалась, цеплялась за пальцы. Руки у него так дрожали, что все из них валилось. Он дергал и дергал плотную сеть, но без толку. Наконец сумел накинуть ее на себя, и стало как будто теплее, все-таки не голышом.

Потом опять накатила дрема, и пришлось напрячь все силы, чтобы помнить о тепле. Стоя на коленях, он нашаривал дрова. Сеть мешала, руки запутывались, но он подбирал щепку за щепкой, не высвобождая рук, и нес их от вязанки к печке – длинный, мучительный путь.

Когда он опять проснулся, уже светало. Он лежал на полу возле печи. В ней еще тлел огонек. Было мучительно холодно. Путаясь в сети, он встал и поплелся за растопкой. Щепку за щепкой он еще раз сложил костер, разжег, и его вновь охватило тупое сладкое бессилие.

Он проснулся опять, когда снова стемнело. Огонь погас. Его так трясло от холода, что и подумать страшно было о том, чтобы снова разводить огонь. Путаясь в сети, он пополз, ища, во что бы закутаться. Руки он сжал, грея одну о другую, – они совсем заоченели. И вот из глубины подсознания всплыла соседняя комната. Он вполз туда, дернул за край одеяла. Оно не поддавалось. Что-то тяжелое не пускало, словно кто-то держится за одеяло с другой стороны, а кто – не видно.

Он подполз к изножию, поднатужился из последних сил и забрался на кровать. Кромешная тьма; запутанными в сети руками он нащупал неподдающееся одеяло. Часть одеяла свисала свободно. Он легонько потянул, потянул еще. Он стонал от напряжения. Лоб покрылся холодным потом, и все время в ушах звучала мелодия из Бетховена – та-та-та-там... та-та-та-там...

Один раз словно воробей зачирикал или еще кто-то. Стало светлей, не так холодно. Пискнула мышь, но это когда опять было темно. Он спал чутким сном, все помня во сне, а иногда просыпался и ничего не помнил. В сознании лихорадочно сменялись мучительные обрывки картин. Но все сразу он удержать в памяти не мог, точно решал задачку на сложение, и когда появлялось одно слагаемое, другое тотчас же исчезало. Несколько раз ему казалось, что ноги упираются во что-то твердое, деревянное, будто он сует ноги в печь, а огонь давно погас и дрова остыли.

Вот залаяла собака. Лаяла и лаяла. Он подумал, что это, верно, Кора, так она лаяла, когда он был еще маленький, она подходила к нему и терлась об него холодной мордой. Нельзя, Кора, нельзя. Нельзя целовать Кору. Она умерла давным-давно. И вот он ее нашел, и никто ему не запретит целовать Кору в холодную морду.

Собака лаяла далеко-далеко, потом ближе, опять далеко и потом еще ближе. Совсем близко. Да, он в стеклянном яйце, и идет снег; снег без конца, со всех сторон. И домик, маленький домик в снегах, а в домике – хозяйка. Как уютно!

Часть третья

ВИЛФРЕД

Неправда, он не сумасшедший.

Впрочем, они и не произносят этого слова. Но почему в той больнице весь персонал ходил неслышными шагами – в мягкой обуви?

И еще они засыпали его вопросами. Вилфред догадывался: сначала они расспрашивали взрослых – мать, дядю Мартина. Но им хотелось услышать его собственную версию.

Однако услышать им не пришлось – он не отвечал. Ни им, ни кому другому. Он онемел.

В тот день, когда мать пришла его навестить, его горло в первый раз свела судорога. Значит, он не притворялся? Был сочельник, это он помнил. Предстояла трогательная сцена. Но Вилфред только мотал головой. В тот вечер и потом. Значит, он не притворялся.

Какое уж тут притворство! Разве в больнице было хоть что-нибудь притворное? И с тех самых пор он перестал отвечать. Он онемел. Случилось несчастье.

Они считали, что он симулирует. Особенно доктор Даниелсен. Человек с недобрим взглядом за выпуклыми стеклами очков – от них глаза казались огромными. Доктор Даниелсен расставлял Вилфреду всевозможные ловушки, соблазняя его заговорить. Вилфред улыбается, вспоминая об этом. Бедняга доктор не знал, с кем имеет дело...

Но Вилфред и в самом деле нем. Он заперт, заперт в стеклянном яйце. А там не разговаривают.

Андреас – вот неожиданность! Он пришел в больницу навестить Вилфреда. И Вилфред не стал мотать головой. Ему захотелось узнать новости. Андреас рассказывал, а Вилфред писал на клочках бумаги вопросы и ответы. Андреас учится на вечерних торговых курсах, хочет выйти в люди. У Андреаса были новые очки, и в них он вовсе не казался таким глупым. Ему сделали операцию – удалили бородавки. Руки у него были перевязаны чистым бинтом – это куда приятнее, чем бородавки.

Потом Андреас стал приходить к Вилфреду домой. Приходил и рассказывал. Он научился говорить гораздо более связно, чем прежде. Теперь слово получил он – Вилфред был нем. Казалось, Андреас вырос от этого сознания. Он вообще как-то вырос за эту зиму. Вилфреда и нашли только благодаря Андреасу.

Оказалось, что Андреас был знаком с Томом, сыном садовника. Том тоже ходил на курсы. Он учился на счетовода. Также хотел выйти в люди. Том был в гостях у Андреаса, как раз когда позвонила фру Саген. Последняя надежда... И Том, благодарная душа, верная душа, всегда питавшая к кому-нибудь благодарность, вспомнил. Это было давно. Как-то летом. Очень давно. Том кое-что заметил в то лето. Он заметил, как Вилфред бродит в одиночестве по «дикой» стороне поселка. Из окна своего дома он видел, как Вилфред делает большой крюк, обходя стороной дом садовника.

Мальчики не раз говорили между собой о Вилфреде.

И когда они узнали, что родные поставили на ноги всех, в том числе и полицию (полиция! полиция!), Тому вдруг пришло в голову: а может, он там... там...

Они сговорились с отцом Тома. Взяли с собой собачонку Белку, которая вечно лаяла в саду у садовника. Отец хотел войти в дом, но собачонка стала волноваться. И вообще дом фру Фрисаксен казался таким заброшенным и опустевшим...

Когда Андреас назвал имя фру Фрисаксен, губы Вилфреда дрогнули. Какое-то слово

подступило к губам, он открыл рот. Он мог заговорить, но не захотел. То есть в какую-то минуту хотел, а потом снова оказался в стеклянном яйце. И уже не мог.

На улице было морозно и солнечно. Снега не было.

А больница?

Больница была самая настоящая. Обыкновенная больница, честное слово, говорит Андреас. Где-то в Аскере. Где-то очень близко. Но самая обыкновенная больница. Только не такая большая, как та, в которой лежала мать Андреаса.

Андреас продолжал говорить. Они сидели в детской. Вилфред писал записки, задавал вопросы.

Как поживает твоя мама? – написал Вилфред.

– Спасибо, мать уже дома, правда, она не выздоровела. Только не надо говорить это при... Нет, это правда...

На открытом лице Андреаса появилась смущенная улыбка. У него был совсем не такой глупый вид. А Вилфреду больше не доставляло удовольствия его мучить.

А отец?

В лице Андреаса что-то дрогнуло. Почему Вилфреда так занимает его отец? Отец Андреаса ничуть не хуже многих других. Ему просто не везло. Несколько раз в жизни даже очень не повезло.

А каково это – видеть его дома каждый день?

Ха! Вот чудак! Все люди видят своих отцов дома каждый день. На то они и отцы. Им положено быть дома. Каждый день. Большую часть времени они работают. А потом они дома. И так каждый день.

Вилфред задумался. Такая простая мысль не приходила ему в голову. Он сидел в большом кресле в своей комнате на Драмменсвей, и в гостях у него был Андреас. И он думал о том, каково это – видеть дома каждый день такого вот отца.

Они сидели вдвоем и болтали. За окном было солнечно и морозно. Новый год.

Андреас болтал. Вилфред писал записки. Андреасу казалось, что его друг ни разу не говорил так много прежде, когда еще не лишился дара речи. Не то чтобы Вилфред приблизил к себе Андреаса. Но казалось, что ему приятно, когда Андреас приходит. Андреас приходил раз в неделю.

А о матери Вилфреда и говорить нечего. Андреас больше не боялся ее. Бывало, он дважды проглотит слюну, прежде чем заговорит с этой дамой. И не то чтобы она раньше не была любезной и все такое прочее, но просто она была какая-то непонятная.

Она и сейчас была непонятная, но как-то по-другому. В разговоре с ней Андреас изо всех сил старался найти слова за себя и за Вилфреда. Было даже приятно, что не один Вилфред говорит теперь за всех.

– Хочешь, Вилфред, я тебе еще расскажу о твоей матери?

Вилфред помотал головой. Но теперь у Андреаса появилась собственная воля. Недаром он учится на курсах и намерен выйти в люди.

– Вилфред, это жестоко. Почему ты не пускаешь к себе мать? Почему не хочешь сойти вниз? Нехорошо сидеть и трясти головой, когда тебе говорят о матери. У меня вот дома мать тоже трясет головой. Но она трясет, потому что она больна. Можно, я скажу твоей матери, чтобы она поднялась к тебе?

Вилфред решительно помотал головой.

Андреас покупал для Вилфреда сигареты. Вилфред давал ему деньги, и Андреас покупал сигареты «Соссиди» по два эре штука. Сидя в комнате Вилфреда, мальчики безбоязненно курили. До сих пор Андреас никогда не курил.

От этих посещений Андреас вырастал в собственных глазах. Он стал доверенным лицом. А что скажет Вилфред, если его навестит Том? Вилфред решительно помотал головой. А кто-нибудь другой? Кто-нибудь из класса? Вилфред мотал головой.

Исключение делалось только для Андреаса. Но Андреаса начинало разбирать любопытство. Мальчики долго сидели молча, пуская густые клубы дыма.

– Вилфред, а ты

взаправду не можешь говорить?

Вилфред сразу же насторожился. Видно, он подпустил приятеля слишком близко, как в тот раз, когда Андреас задал вопрос о велосипеде, правда ли, мол, что Вилфред

побоялся его взять. Пожав плечами, Вилфред презрительно усмехнулся. Потом подошел к немой клавиатуре и стал играть Баха.

Андреас следил, как Вилфред беззвучно ударяет по клавишам. Ему стало не по себе.

Андреас принес новость о заграничном враче. Он однажды подслушал ее, проходя через холл. У фру Сусанны были дядя Мартин и домашний врач, доктор Мунсен, он как раз собирался уходить. Доктор Мунсен выражал сомнения по поводу чудодея-доктора, о котором рассказывал дядя Мартин. Мунсен говорил что-то о скандальной славе и очковтирательстве. Говорил о хорошей порции березовой каши.

Вилфред с улыбкой кивнул.

Но дядя Мартин продолжал расхваливать заграничного врача. Он живет в Вене, в Австрии. Андреас не запомнил, как его зовут, какая-то странная фамилия. Андреасу вообще не так легко было понять разговоры родственников Вилфреда: в этом доме было много такого, чего он не мог понять.

Вилфред рассеянно кивнул. Ему наплевать, как зовут врача. Доктор Мунсен раза два вел себя весьма назойливо. Он говорил с Вилфредом, как с отбившимся от рук мальчишкой, так что рассуждения о березовой каше звучали вполне правдоподобно. Мунсен однажды сказал ему: – Ты не имеешь права поступать так со своей матерью. Ты ее видел?

Вилфред ее видел. И слова Лекарсена – так у них в семье прозвали домашнего врача – были для него самым тяжким испытанием. У доктора были маленькие седые усики, и вообще он смахивал на англичанина. У него был пористый нос, и, когда он заговорил о матери Вилфреда, широкие поры, казалось, стали еще шире. – Ты ее видел? – спросил доктор.

Вилфред видел свою мать. В ее девическом облике впервые проступило что-то бабье: па ней была шерстяная шаль, и казалось, она все время зябнет. Округлые щеки впали, весь мягкий облик женщины, которая была его матерью, изменился – заострился, стал угловатым. В ней не осталось ничего от той дамы, которая пила шампанское в Эттерстаде и с утра до вечера

играла с сыном в игру «сделаем вид, будто бы». Он больше не был ее маленьким рыцарем. Он не был ничьим рыцарем. Он был нем.

Вилфреда навестила Эрна, это было в день его рождения. Он решительно помотал головой. Как-то раз зашла Мириам. Он помотал головой. Однажды он как начал с утра трясти головой, так и продолжал целый день, даже когда на него не смотрели. Он думал: захочу и перестану трясти. Но не мог.

Он написал в записке Андреасу:

По-твоему, я могу говорить?

Андреас поднял руки, точно пытаюсь заслониться от удара. Он тоже стал мотать головой. Может, теперь вообще все люди трясут головой – такая пошла мода?

– Я и в мыслях не имел ничего подобного, – оправдывался Андреас. – Я просто спросил, мне тебя очень жалко.

Вилфред был удовлетворен, но во взгляде его оставался вопрос, он хотел услышать еще объяснения...

Да нет, просто Андреас удивлен. Удивлен, что это случилось именно с Вилфредом. У Вилфреда всегда был так здорово подвешен язык, он за словом в карман не лез, не то что другие. А теперь так странно – Вилфред сидит и не может вымолвить ни слова, а прежде слова так и сыпались у него изо рта. Андреасу очень хочется помочь Вилфреду.

Вот оно что! Вилфред в ответ написал записку:

А может, в глубине души ты рад – наконец-то ты без помех можешь высказывать все, что у тебя на душе?

Андреас сразу сник. Перед ним снова был Вилфред, с которым надо держать ухо востро. Андреас вырос было в своих глазах – он выведывал новости для своего друга, выполнял его тайные поручения. И вот безмолвный повелитель сразу осадил его одним движением бровей.

– А отец говорит, что скоро будет война, – сказал Андреас.

Ага, Андреас решил взять реванш! Он и его отец! Андреас ходит на вечерние курсы, изучает делопроизводство и иностранные слова, он научился говорить «сиф», «фоб», «фактура», он уже пытался в разговоре с Вилфредом вернуть некоторые термины – он думает, что это тайный язык, понятный только посвященным.

Вилфред безмолвно рассмеялся. Ему больше не доставляло удовольствия издеваться над приятелем, тот был слишком легкой добычей. Но Вилфред выжал из Андреаса все что мог. Сигаретами он запасся. Андреас – человек исполнительный. Он ходит на курсы, хочет выбиться в люди. Андреас – это будущее! В следующий раз, когда Андреас явится, Вилфред будет мотать головой.

После ухода Андреаса Вилфред долго сидел, злорадно улыбаясь. От этой улыбки становилось легче на душе. Потом он подошел к зеркалу и стал разглядывать свое улыбающееся отражение. Потом слегка пошевелил губами, безмолвно выговаривая слова. Если при этом пропустить воздух через гортань – получатся звуки, слова. Вилфред сможет распахнуть дверь, подбежать к перилам и позвать их снизу – и все в мире изменится.

Но он не станет пропускать воздух через гортань. Во всяком случае, так, чтобы получились слова, звуки. В стеклянном яйце, в котором он замкнут, снег больше не идет, но Вилфред

по-прежнему находится внутри яйца. Это случилось сразу после того, как Вилфред очнулся, очевидно, в больнице, если только это была больница. Ему тогда пришло в голову, что он может просто не отвечать на вопросы. А потом эта мысль стала нравиться ему все больше. Если бы они в ту пору энергичнее насели на него, пожалуй, он... а впрочем, кто знает. Шли дни, а может, и недели, и теперь, замечая молчаливый вопрос во взгляде матери или кого-нибудь из врачей, присаживающихся к нему на край постели, Вилфред чувствовал, что не может выдать из себя ни слова, ни звука. Пока он не отвечал, он держал окружающих на расстоянии. То, что не было сказано, как бы не существовало. Не существовало.

Молчание отгоняло и видения. Плиты. Сети. Сети опутывали его, окружали со всех сторон, особенно в навязчивых сновидениях...

Доктор Даниелсен спросил, знал ли Вилфред, что фру Фрисаксен умерла. Да, знал. Вилфред кивнул. Может, доктор ждал, что он заплачет? Он с удовольствием поплакал бы, но только не в присутствии врача.

Любил ли он фру Фрисаксен?

Вилфред скорчил гримасу. Эти люди задавали вопросы изнутри своего мира, а ответа ждали с другой планеты. Ну можно ли ответить на подобный вопрос? Или, например, почему Вилфред пошел туда в тот день? Он мог бы, наверное, ответить по-арабски, и то еще неизвестно. Он мог бы поступить как в детстве, когда в отместку взрослым, говорившим на недоступном им языке, мальчишки изобрели свой собственный язык, почти сплошь состоящий из согласных. По мере того как они болтали между собой на этом языке, он начинал приобретать смысл. Это был язык отверженных, тайный язык, в котором отдельные слова не имели значения, но общий смысл которого был понятен и служил для того, чтобы они могли держаться друг за дружку против – да, против кого угодно...

Вот на таком языке Вилфред мог бы отвечать. В простейшем варианте имя Даниелсен звучало бы как Доданониелолсосенон. В прежние времена такой язык назывался тарабарским, он был в ходу у малышей. Мальчишки постарше придумали язык более сложный, такой сложный, что сами не понимали друг друга. А интереснее всего было сочинять язык для себя одного, такой язык, что ты сам его не понимал. Этот язык был совершеннейшим выражением твоей отчужденности, свободы от окружающего мира, в нем был подчеркнутый вызов, но иногда он приобретал конкретный смысл. Однажды Вилфред шутки ради начал изъясняться этим языком во дворе школы сестер Воллквартс. Мальчишки были в отчаянии – у них даже лица вытянулись от напряжения, они пытались догадаться, что Вилфред хочет сказать.

А он ничего не хотел сказать. И все-таки в этом языке таился протест.

Вот на таком языке Вилфред мог бы ответить Даниелсену. Вдобавок доктор как-то странно подмигивал левым глазом за толстыми стеклами. Да нет, он попросту косил. Не поймешь, смотрит он на тебя или нет. Он предатель.

Все они предатели, на жалованье у матери. Может, они этого и не знают, но она сумела завлечь их в свои сети, их тоже. В сети, в которых должен барахтаться каждый. И вовсе не потому, что ей нужно всеми командовать, но все-таки каждый должен сидеть в капкане. И все сидят. И тогда все становится на свое место.

Но когда пришел дядя Рене и принес папку цветных репродукций, напечатанных во Франции новым методом, всякая охота сопротивляться у Вилфреда пропала. Он расплакался. Дядя Рене совершенно растерялся. Он вынул носовой платок, надушенный тонким одеколоном тети Шарлотты, и обмахивался этим платочком в надежде, что Вилфред вытрет им слезы. Но Вилфред проглотил слезы, высморкался в краешек простыни, кивнул в знак того, что просит прощения, а потом они весь вечер просидели вдвоем, рассматривая удивительные

репродукции.

Дядя Рене был славный человек. После того как они некоторое время просидели так, обмениваясь безмолвными знаками, он тоже онемел. Сам он, конечно, этого не замечал. Но он кивал, жестикулировал и безмолвно шевелил губами, как делают глухонемые. Он был очень восприимчив к чужому состоянию. А уходя, он вопросительно приподнял папку, осведомляясь таким образом, не хочет ли Вилфред оставить ее у себя.

У Вилфреда так сжалось сердце, что он сделал вид, будто не понял, он считал, что не может принять такой щедрый дар. Тогда дядя Рене повторил свой вопрос уже громко, и Вилфред губами произнес «спасибо» почти вслух. У дяди Рене на глазах выступили слезы, и он стал делать своими прозрачными руками какие-то знаки, как бы желая выразить ими множество надежд и пожеланий, совсем непохожих на те навязчивые утешительные слова, какие Вилфреду твердили все. Те слова были чем-то средним между упреком и внушением: мол, стоит тебе заговорить – и тебе станет лучше. Каждый из них верил в это. А дядя Рене – нет.

Вилфред услышал шаги на лестнице. Это мать. Сегодня Вилфред не станет трясти головой. Пожалуй, он сойдет вниз, он даже не прочь пройтись. За окном под шагами прохожих и колесами телег поскрипывал февральский морозец.

Она постучала в дверь. Чуть-чуть просунула голову в щелку, готовая к отказу. Ему стало противно. Но он энергично закивал.

Она уже собиралась уйти. Но теперь с удивлением чуть подалась вперед.

Вилфред все кивал и кивал. Отвращение колом стояло в горле. Но он улыбался и кивал – этаким счастливчик Маленький Лорд. Он сделал знак, что она может войти, он встал и хотел броситься ей на шею, но «тарабарский язык» удерживал его.

Она прикрыла за собой дверь, лицо ее чуть порозовело. К ней вдруг сразу вернулось что-то от бывшей фру Сусанны Саген, щеки и тело приобрели былую округлость. Он указал ей на свой любимый стул. А сам стал нервно расхаживать между зеркалом и окном. Ему все сильнее хотелось вернуться к прежнему притворству, настолько, что он прервал ее, когда она попыталась заговорить.

Вырвав листок из блокнота, он написал:

Я читал об одном враче из Вены, может, он мне поможет.

Казалось, она вот-вот упадет в обморок. Она хватала ртом воздух – теперь и она лишилась дара речи. Потом она извлекла обшитый кружевом платочек, ежегодный рождественский подарок тети Клары...

– Боже мой, но это невозможно... – задыхаясь, выговорила она. – Ведь я с этим пришла к тебе, хотела спросить, согласишься ли ты. Дядя Мартин где-то слышал о нем, говорят, он делает чудеса. Вилфред, откуда ты узнал о враче?

Он пожал плечами. Все эти годы они так часто переговаривались без слов. У него даже не было нужды писать ответ. С тех пор как случилась эта беда, она тоже начала понимать, как виртуозно они выслеживали друг друга...

Прочитал где-то, – написал он и протянул ей записку.

Она прочитала записку. И у нее мелькнула мысль, что все еще может наладиться, если каждый проявит готовность быть снисходительным, готовность забыть.

Вилфред хотел было предложить спуститься вместе вниз, хотел написать это. Потом сделал

гримасу, этого оказалось достаточно. Право, они оба вполне могли обходиться без слов.

Вся сияя, она пошла следом за ним. В дверях она сказала:

– Там, внизу, твой дядя.

Он отступил на шаг, потом сделал движение рукой, очертив в воздухе некое подобие окружности.

– Да, да, Мартин, – подтвердила она. – Это он нашел для тебя австрийского врача, он утверждает, будто врач творит чудеса.

Теперь она взяла сына под руку. Он вздрогнул, но не отстранился. Когда они вошли в гостиную, дядя Мартин встал с места. Вот то-то и оно. Все ведут себя неестественно. Дядя Мартин вставал только в самых редких случаях. Он был по-своему учтив, но не имел привычки вставать.

– А-а! Вот и наш юный мужчина!

Вилфред сделал гримасу, предостерегая дядю. Дядя Мартин говорил, подчеркивая каждое слово энергичным движением губ. Уж не воображают ли они, что он глухой? Он немой. А вот в это они как раз не очень-то верят. Но, не веря, делают из этого дальнейшие выводы – забавно!

– Ты представляешь, наш Вилфред знал об этом венском враче – он сам предложил к нему обратиться...

Мать тоже держалась неестественно. Дядя Мартин был уязвлен.

– Тем лучше, – сказал он, – хотя вообще это имя у нас совсем неизвестно. А вот за границей... – И он сделал красноречивое движение.

Вилфред подошел к дяде, напрягая шею. Мать тотчас подала ему листок бумаги. Он написал:

Большое спасибо, дядя! Мартин бросил на него растерянный взгляд. Дядя и племянник улыбнулись друг другу. Ну что за прекрасная улыбка! Неужели вот этак улыбаются в конторах, где с утра до вечера втирают друг другу очки? Кстати, что такое «фактура»?

Вилфред подошел к книжному шкафу, вынул словарь Салмонсена, нашел слово «фактура». Кажется, Андреас не совсем правильно понимает его смысл, впрочем, он вечно все путает. Вилфред написал записку, протянул ее матери.

Помнишь – «нищий бездонный»?

Мать рассказала Мартину историю о нищем. Дядя ее уже слышал. Но он рассмеялся, причем слишком громко – стало быть, хочет показать, что слышит впервые. Вилфред тоже растянул губы в улыбку. Больному должно быть весело, у него должно быть хорошее настроение. Теперь Вилфреду с ними легко – они его побаиваются. Это вам не какой-нибудь насморк. Вдруг мальчик сошел с ума?

А ты не можешь поехать со мной, дядя?

Таков и был их план. Вилфред это знал. Ему Андреас рассказал. Но сейчас он хотел изобразить это как прилив внезапного доверия. Дядя Мартин смутился. Мать налила ему виски. Мать и дядя вечно манипулировали этим виски. Мартин закричал, точно обращаясь к глухонемому:

– Я как раз собираюсь в Австрию. Мы чудесно проведем с тобой время в Вене!

Вилфреду хотелось заткнуть уши руками. Андреас – тот по крайней мере говорил тихо. Дядя Рене изъяснялся одними губами, как глухонемые. Он вживался в чужое состояние. Мартин кричал во все горло.

Но Вилфред не зажал себе уши, а благодарно слушал дядю.

Когда мы поедem?

Мартин вынул маленький карманный календарик и стал тыкать в него пальцем, точно объясняя подслеповатому: «17 февраля. Через три дня». Вилфред несколько раз кивнул, показывая, что он понял. Он продолжал кивать, пока не почувствовал, что хватил через край. И все-таки продолжал кивать. Взрослые обменялись взглядом. Он продолжал кивать. Про себя он думал: «Может, я притворяюсь?» Он и сам не знал. Но остановиться не мог. Он сделал матери знак, означавший: «Пожалуй, я поднимусь к себе...» Обратил к ним обоим взгляд, выражающий сожаление, слегка кивнул дяде, подтверждая: идиотик не забыл про Вену.

Его вдруг страстно потянуло к немому инструменту. Немая клавиатура стала его собеседником на тайном языке. Медленно в старательно заиграл Вилфред начало одной из фуг Баха. Но он помнил ее не совсем твердо, и, когда ошибался, лицо его передергивалось. При этом он все время думал о тех двоих, что сидели внизу, наверняка глубоко удрученные. Здравомыслящий и недалекий дядя Мартин в простоте душевной представляет себе нервное переутомление как некий хаос импульсов. Больные нервы вызывают у него мистический ужас. Его отутюженные костюмы отражают его стремление видеть повсюду безупречный порядок – именно такой идеальный порядок царит в душе этого превосходного и ограниченного человека, который твердо знает все, что касается прогресса и того факта, что мир стоит перед лицом перемен. Мартин целый год потихоньку был занят тем, что старался повыгодней поместить семейные капиталы. Мать как-то намекнула на это с многозначительным выражением лица. Слово «альпари» было для нее все равно что китайская грамота и своей загадочностью повергало в полубморочное состояние.

Звуки Баха замерли под пальцами Вилфреда на немой клавиатуре. Он знал про этих людей все. Откуда? Ведь они ему почти ничего не рассказывали.

Может быть, как раз поэтому и знал. Может, если тебе не приходится догадываться самому, ты никогда ничего не узнаешь о людях. Может, тогда знание достается слишком легко и ты ему не доверяешь. А то, что ты угадал, ты знаешь наверняка. Перед немым открыты все возможности. От него не ждут никакого подвоха. А он может наблюдать.

Он может видеть мир, который от него заботливо прячут из самых добрых побуждений. Повинуясь голосу инстинкта, они старались утаить от Вилфреда как можно больше. Он не должен был знать. И именно потому, что он должен был знать как можно меньше, ему было так легко узнать о своих близких гораздо больше того, что знают дети в семьях, где все наружу и ничто не будоражит любопытства.

В этом все дело. Он и прежде это подозревал, но не был уверен до конца. Немой инструмент, полный невысказанных чувств, обострял его способность к угадыванию, потому что голос этого инструмента был тайной. Инструмент говорил запретным языком, языком, который не дано слышать тем, кто слышит только слышимое. Между Вилфредом и немой клавиатурой было некое родство, братство, они были посвященными в мире, который для других был лишен смысла. Никогда, никогда в жизни Вилфред больше не прикоснется к обычному фортепиано, которое своим шумом только глушит звуки, льющиеся из потайных источников, – эти источники бьют только для посвященных. Никогда он не допустит больше, чтобы его заповедные чувства выражались способом, который понятен всем. Теперь он знал, что нашел

путь в мир, населенный образами и предметами, которые не насилуют органов чувств.

Портрет отца на стене. Как он изменился!

Где суровость, которую Вилфред когда-то угадывал в нем? Это он сам вообразил ее в своем наивном страхе перед отцами. Казалось, отцы несут на себе бремя какого-то проклятья и безмолвно перекалывают его на детей в виде чувства вины.

Отец Вилфреда был другим. «Ему не давали покоя», – сказала мать. Ну да, но и он тоже не давал им покоя. Он не любил их. В самом деле – ведь не любил? Нет, не любил, но и не презирал – тут мать неправа. Она этого не знает. Она сама сказала, что не знает. В том, как он утверждал свое «я», сказались его незащищенность – он был пленительным, тем, кто соглашается пленять. Почему? Да потому. Что ему еще оставалось делать? Они так легко сдавались на милость победителя. А он был вежливый человек. Слишком вежливый, чтобы долго отстаивать свои права. И как видно, он сохранил свою молодость, потому что знал: в любую минуту можно уйти от всего, умерев со стеклянным яйцом в руке, с яйцом, где снег перестал идти, когда замерла рука, державшая игрушку...

Да, теперь Вилфред знал своего отца. Уж не говорили ли они и отцу, что, мол, стоит ему только

захотеть... А может, отец говорил это себе сам, как доктор Мунсен говорил это Вилфреду, впиваясь в него взглядом, который сам доктор считал гипнотическим, чтобы заставить Вилфреда разжать губы. И может, отец отвечал им или самому себе: «Я не хочу хотеть, не хочу хотеть так много! Захотите сами! Захотите изо всех сил!» Не говорил ли он им чего-нибудь в этом роде?

Не доводил ли его до отчаяния шурином Мартин своей активностью и своими многообразными добродетелями? Может быть, безукоризненные свойства этих людей так действовали отцу на нервы, что за частностями он начал улавливать целое, а это приводит к роковым последствиям для того, кто увидел целое. Может, потому отец и ушел в свое стеклянное яйцо, к фру Фрисаксен, в эту бесхитростную любовь, которая была еще опаснее, чем соответствующий всем правилам цивилизации брак с неотделимыми от него изменами и родственниками.

Теперь Вилфред знал своего отца! Человек оказался на перепутье, человек растерялся от обилия возможностей, человек не видел выхода и закрыл глаза, как сам Вилфред, когда летел с Пегу, потому что мы теряем сознание, если видим больше, чем взгляд может охватить зараз: будущее свое и своих близких...

И оттого, что теперь Вилфред знал отца, он подошел к портрету, который был больше похож на отца, чем сам отец при жизни, и медленно, ласково провел рукой по лицу и короткой бородке. Незнакомый художник только в одном проявил незаурядное мастерство: он сумел передать на портрете взгляд, который, должно быть, отвечал потаенным чувствам самого живописца, взгляд, который поблескивал, точно – да, точно стеклянное яйцо, но в котором все пламя угасло, успокоилось, точно снег, который уже осел на землю.

И, глядя на этот портрет, Вилфред вдруг многое понял. Портрет жил здесь, в детской, жил и глядел. Он видел все, что может увидеть такой портрет в такой детской. Он глядел на все с тайной улыбкой, которая, вероятно, становилась все мягче. Он узнавал в сыне самого себя и с ужасом и горечью заглядывал в будущее. Но и с улыбкой. Потому что была в этом взгляде скрытая улыбка, которую художник привнес то ли по недосмотру, то ли в неосознанном порыве гениальности. А в повороте головы чувствовалась не только улыбка и покорность судьбе, но и понимание неизбежного.

Отец – человек. Каким он был по отношению к своим? Нет, они не были «его», они не

принадлежали ему, это он принадлежал им. Он был пойман. Но он не захотел дать себя поймать, как смотритель маяка, которого поймали сетью в море. Отец проверил сети, в которых его держали. Без злобы. У него не было намерения поймать в них кого-нибудь другого. Он просто увидел, как сети стягиваются все туже. И улыбнулся. Весело и безропотно. Такой он был человек. Но продолжаться так не могло. Нет, не могло. Нельзя жить, когда мир стал стеклянным яйцом, в котором идет снег.

Конечно, Вилфред знал отца. Узнавал все больше и больше. Почему он ни разу не доверился ему? Портрет на стене – всего только портрет. Да, но при этом в нем было больше человеческого, чем в людях, потому что эта картина была написана с тайным пониманием тех потаенных вещей, которые люди прикрывают маской, а эта маска становится второй натурой и все больше удаляет человека от того, что скрыто под ней. Вот почему такому портрету довериться легче, чем отцу, сидящему под висячей лампой и цветисто о чем-то рассуждающему.

И все-таки знал ли его Вилфред? Верно ли, что отец неустанно, с тревогой следил за каждым его шагом в этом мире, где надо во что бы то ни стало защищать свою душу? Вилфред многое мог прочесть на портрете, но только не ответ на этот вопрос. Мальчиком он однажды попытался нарисовать своего отца. Взрослые вскрикнули от изумления – он нарисовал мать.

Неужели? Но ведь он рисовал отца. Сигара – разве мама курит сигары?

То-то и смешно. Чего только этот мальчик не придумает. «Сусанна в преисподней» – назвал эту картинку дядя Мартин. Вокруг головы Сусанны клубы дыма образовали множество зловещих фигур.

Вилфред стоял перед портретом отца, шевеля губами, точно на молитве. Он уступил матери, обошелся с ней приветливо, приветливо из милости. Он скривил лицо в гримасу. Отец в ответ тоже соорудил гримасу. Чуть-чуть. Еле заметно. Наверное, выражение его лица всегда было таким – чуть заметный намек, легкая ирония.

Он просил у матери прощения. Не за свое поведение: в этом повинна она сама. Она внесла смятение в душевный мир сына, потому что знала слишком много, при том что их души не совпадали. Как в математике, когда две фигуры должны совпасть, а они не совпадают, они только делают вид, будто они подобны. Оба вели себя безрассудно. Один вел себя безрассудно по отношению к другому. Вот другой и лишился рассудка.

А бывает ли так, что две фигуры притираются друг к другу? Так долго делают вид, будто они подобны, что становятся подобны? Все равно гибнут они не вместе. Они гибнут порознь. И это еще мучительней, чем если бы между ними никогда не было и тени подобия...

Вилфред просил прощения – стоя перед портретом, просил прощения у того, кто пустил на воду кораблик и сказал: «Плыви, ты можешь плыть, а я пойду ко дну».

Все дело было в том, что в стеклянном яйце вдруг перестал идти снег, сколько его ни встряхивай, ни взбалтывай. На этом яйце отец случайно нацарапал букву «С». Нацарапал бриллиантом. Эта буква начинается и кончается одинаково. Ее можно читать вверх ногами. Никто не заметит разницы. Странно, когда играешь Баха, ты не можешь сказать, скоро ли конец. Ты подпадаешь под власть закона бесконечности, одно звено тянет за собой другое, и только власть ритма делает какое-то из звеньев последним – если ты не прибежешь к насилию.

Отец нацарапал это «С» в рассеянности, от скуки. Имя Сусанна тоже начинается с этой буквы. Когда Вилфред был маленький, ему нравилось читать слова задом наперед и он прозвал свою мать «Аннабус». Это звучало очень красиво. Взрослые долго смеялись над любимым дитятей. Но это «С» не имело отношения к Сусанне. Отец выразил им свою

внутреннюю незавершенность, свою роковую расплывчатость. Теперь Вилфред знал своего отца.

И оттого, что он его знал, он уступил матери. Она была непрактична, но умела поставить на своем. И уступил ее брату Мартину. Вот тот был практичен. Теперь они вместе поедут в Вену, небольшая вылазка под видом деловой поездки, потому что если их постигнет неудача... Хотя дядя Мартин не задумывается над этим, он действует от чистого сердца. Заменяет отца.

Вилфред снова скорчил гримасу. На сей раз портрет не ответил. К отцу снова вернулось суровое выражение – короткая борода, крахмальный воротничок. Как видно, отец не одобряет подобных мыслей.

Дядя Мартин заменяет отца? Ну и черт с ним, как частенько приговаривает дядя Мартин. Подумать только, он, Вилфред, потешается и над этим.

Нет, он не потешается. По-своему он даже их любит. Они желают ему добра. Будь по ихнему. У Вилфреда остается свой мир, куда им нет доступа. Выбора у него нет – ведь они вторгаются в его душу со всех сторон, жаждут поделить то, чем не делятся. Вилфреда тянет к запретному, к

тем, кто под запретом, Вилфред хочет остаться немым.

19

В Вене была зима. Когда они вышли из гостиницы на Рингштрассе, на улицах лежал тонкий снеговой покров. Дядя Мартин был разочарован и втайне уязвлен. Он всегда утверждал, что в Средней Европе весна наступает очень рано. В спальном вагоне он расписывал племяннику жизнь в Вене, как это способен делать человек, начисто лишенный фантазии, но по мере того как Мартин осознал, сколь необычна миссия, с какой он едет в Вену на сей раз, его охватывала все большая растерянность. Слава богу, ради собственных детей Мартину еще ни разу не пришлось вникать в дела столь щекотливого свойства, что, кстати, вполне устраивало и самих близнецов, и тетю Валборг.

Никогда прежде понятие «опекун» не ложилось на плечи Мартина таким тяжелым бременем, как в это утро, когда он шел по городу, который так хорошо знал, со своим подопечным, о котором имел меньше представления, чем о чистильщике сапог на углу. И то про чистильщика хотя бы было известно, что тот чистит ботинки и докуривает окурки чужих сигар.

Когда они переходили улицу возле отеля, Мартин по рассеянности чуть было не взял племянника за руку. В последнюю минуту он спохватился и удержался, но его не покидало такое чувство, словно на него возложили обязанности пастуха и доверенная ему овечка может в любую минуту исчезнуть между звенящими трамваями или свалиться в какой-нибудь водоем.

В маленьком угловом кафе возле собора святого Стефана, где дядя Мартин любил завтракать, на небольшом возвышении стояли пюпитры; по одну сторону возвышения была стойка, по другую – обитые плюшем стулья с чем-то вроде императорской короны на спинках: в вязаных чехлах, которыми были обтянуты стулья, была предусмотрена специальная прорезь – корона и орел изумленно таращились из нее на золотистый утренний свет.

Увидев пюпитры, Вилфред вздрогнул и невольно стиснул локоть дяди, чтобы остановить его, но Мартин, вообразивший, что это попытка к бегству, крепко схватил племянника за руку и беспощадно поволок в глубину кафе, где, уткнувшись в газеты, укрепленные на подставках, перед крошечными чашечками, к которым они не прикасались, сидели молчаливые мужчины с усиками.

– Дядя, неужели будут играть? – одними губами спросил Вилфред.

По лицу Мартина скользнула улыбка.

– Не раньше двенадцати, мой мальчик, – успокоил он племянника. И успокоился сам. Но все-таки он никак не мог понять эту странную неприязнь к музыке у того, кто сам обладает выдающимся музыкальным дарованием. Мартин был не слишком музыкален, но ему не мешало, когда играют в кафе. По правде говоря, он просто не обращал внимания на музыку.

В десятый раз он втолковывал Вилфреду, что тот не должен бояться врача, к которому они идут. Конечно, в своем кругу он знаменитость, но Мартин лично написал ему и получил благоприятный ответ. Мартин понемногу начал чувствовать и себя чудотворцем, потому что выучился читать по губам племянника, когда тот хотел сообщить ему что-нибудь особенно важное. Мартин начал думать, что вообще в этом искусстве нет ничего мудреного, стоит лишь поупражняться. Впрочем, так ведь в любом деле. Наблюдательный человек чему хочешь научится. Надо только уметь смотреть.

В первые же минуты их совместного путешествия Вилфред понял, что привязан к дяде. Они уговорились, что мать не будет провожать их на вокзал. Оставшись наедине, дядя и племянник сразу почувствовали какую-то взаимную спаянность – чувство, новое для них обоих. Воспитание собственных сыновей в светском духе, пригодном для их будущей карьеры, дядя Мартин принципиально возлагал на посторонних. Поэтому водить за собой своего подопечного было для Мартина все равно что пуститься в путешествие по неизведанным странам.

Дядя Мартин то и дело поглядывал на часы. Консультация была назначена на десять, а до дома, где принимал врач, идти было не больше четверти часа. Но казалось, ни карманные часы дяди, ни стенные часы в кафе упорно не хотят добраться до половины десятого.

Когда они наконец не спеша побрели по улице, снег уже начал таять и город стал приобретать те очертания, какие были знакомы Мартину по его прежним деловым поездкам, связанным с приятными воспоминаниями. Дядя Мартин так усердно успокаивал племянника, что сам начал волноваться. Поэтому он продолжал свои успокоительные наставления, пока не довел Вилфреда до того, что тот старался не слушать дядю, просто чтобы не впасть в истерику. Вилфред вовсе не собирался в присутствии незнакомого врача кивать или мотать головой. Он вообще был готов приложить все усилия, чтобы извлечь максимальную пользу из этой поездки, хотя бы для того, чтобы дядя Мартин мог гордиться, что затея была не напрасной. За неприкосновенность своего внутреннего мира Вилфред в обществе дяди не опасался – для этого дядя был слишком простодушен.

Дом, в котором жил врач, был обыкновенный дом девяностых годов, с довольно узкой лестницей. Лестничная клетка была обшита деревянной панелью с золотой полоской, которая тянулась вдоль лестницы вверх, но местами стерлась от частого мытья и времени. Вилфреду понравилась эта лестница, лишенная всякой парадности, да и в облике дома было что-то безличное, и это с первой минуты внушило ему доверие. У Вилфреда не было обычного для пациентов из простонародья чувства, что к нему устремлено внимание окружающих. Зато он не испытывал ни смущения, ни страха. Он был совершенно равнодушен ко всей этой затее, она интересовала его только ради дяди Мартина.

Приветливая без угодливости женщина впустила их в маленькую прихожую. К двери была

прибита скромная табличка. Никаких признаков чудес. Но на женщине не было белого медицинского халата. И у нее не было профессионального выражения лица, на котором написано, что она готова защищать своего хозяина от назойливых посетителей. Она внимательно прочитала визитную карточку дяди Мартина, опустила ее в карман передника и предложила господам присесть. На стене не было видно портрета императора Франца-Иосифа. Со времени приезда в Вену Вилфред впервые оказался в помещении, где не было такого портрета. Зато висели две репродукции Франса Хальса, Вилфред указал на них дяде Мартину. Дядя Мартин энергично закивал в ответ и, хотя в комнате было прохладно, несколько раз подряд вытер носовым платком вспотевший лоб. Визит к доктору вызвал в его глубоко здоровой натуре мучительное смятение.

Они оба не сразу заметили, что дверь открылась и доктор вошел в комнату. Первое, что бросилось в глаза Вилфреду, – это что доктор очень худой. Потом – его рукопожатие. Оно было коротким и энергичным, и в нем не было и намек на то безмолвное покровительственное заверение: «Спокойно, спокойно, дружок, уж мы вдвоем как-нибудь справимся», к какому Вилфред привык при встречах с другими врачами.

Потом они сидели в просторном кабинете, где ни на виду, ни за стеклянными дверцами не было никаких блестящих предметов, которые как бы призваны внушать пациентам, что, если, мол, доктор захочет, он все может. Комната тоже была обшита темными панелями, мебель обита кожей, а на двух узких окнах висели накрахмаленные занавески, такие свежие, будто их только сегодня повесили. Доктор отодвинул свой стул от стола и переставил его чуть ближе к посетителям – его не отделяла от пациентов крепостная стена. Потом сел и стал внимательно слушать дядю Мартина, который, спотыкаясь на каждом слове, рассказывал о внешнем течении болезни. А Вилфред сидел, впившись глазами в круглую бородку доктора. Бородка была темная, хотя в ней пробивалась седина – доктору было, вероятно, за пятьдесят. И еще он смотрел на руки доктора. Вилфред думал, что у такого чудодея должны быть руки, как у дяди Рене, – прозрачные, мягкие, беспокойные руки, в которых предметы появляются и исчезают как по волшебству. А у доктора были маленькие, сильные, спокойные руки и даже пальцы не очень длинные. И в глазах не было гипнотического блеска, призванного производить впечатление на пациентов. Вилфред был немного разочарован: его тяга к сенсациям не получила пищи. На мгновение ему захотелось совершить какую-нибудь немислимую выходку. Уж очень разочаровал его этот худощавый человек, который вежливо выслушивал нелепые рассуждения дяди.

Когда дядя Мартин умолк, доктор встал и попросил его удалиться. В его тоне не было невежливости, и, однако, он звучал повелительно. Дядя Мартин стал ловить ртом воздух, потом начал возражать. Ведь он проделал такой путь...

Разве Вилфред один не найдет дорогу обратно в гостиницу? Впрочем, если даже не найдет, ему вызовут машину. Доктор уже протягивал дяде руку. Мартин растерянно поглядел на Вилфреда, тот кивнул – сценка его забавляла. Уходя, дядя Мартин бросил на Вилфреда взгляд, в котором явственно сквозило опасение, что они с племянником, может, и не свидятся в этой жизни.

Верно ли, что по лицу доктора пробежала улыбка? В таком случае это была лишь тень улыбки, но все-таки улыбка, как бы говорившая: «Да-да, именно это и подумал ваш дядя, а теперь поговорим как взрослые люди». Вилфред хотел поблагодарить доктора, попытался шевельнуть губами, но доктор остановил его движением руки и отошел к окну. А потом обернулся и спросил:

– Вы поете?

Вилфред энергично помотал головой и сделал движение, показывая, что он играет. Доктор тотчас подхватил:

– Я знаю. Знаю, что вы увлекаетесь и живописью...

Он решительно подошел к полке, тесно уставленной книгами разной величины, потрепанными и совсем еще новыми, и вынул громадный фолиант, лежавший поверх других. Вилфред сразу понял, что это альбом с репродукциями. Наугад раскрыв книгу, доктор протянул ее юноше.

– В Австрии тоже есть великие живописцы, – сказал он.

На картине была изображена лежащая у ручья под деревьями женщина – романтическая школа. Доктор пододвинул свой стул к стулу Вилфреда. Они стали вместе перелистывать альбом. Это был как бы пробег по истории искусства всех времен: тут была пещерная живопись Испании, и египетские фараоны с их замкнутыми и какими-то отрешенными лицами, и высеченные на камне олени с огромными животами, застывшие на бегу. Доктор листал книгу наугад. В его движениях не было ни нарочитой небрежности, ни желания успокоить. Видно было, что книгу эту часто рассматривают, в тексте во многих местах были карандашные пометки. У Вилфреда мелькнула мысль, что доктор начинает входить в роль дяди.

И в то же мгновение доктор встал и захлопнул альбом. Он отложил его, снова подошел к окну и постоял так несколько минут, глядя на улицу.

В комнату смутно доносился приглушенный шорох шин. Доктор повернулся, сделал несколько шагов к Вилфреду и спросил:

– Sie sprechen ja deutsch?

– Aber natürlich, Herr professor [[7]], – без запинки ответил Вилфред.

Верно ли, что по лицу доктора пробежала улыбка? Нет, на сей раз нет. Это была не улыбка. Нечто иное. Тень понимания. Вилфред сидел, шевеля губами. Это были его первые слова за три месяца. Он был не столько удивлен, сколько растерян.

Броня равнодушия вдруг слетела с него или, во всяком случае, дала трещину. И он начал взахлеб говорить, он должен был сам объяснить этому чужому австрийскому врачу, что он не симулировал все эти месяцы, что в каком-то смысле он мог говорить, но стоило ему... и... Он смешивал изысканные немецкие обороты, которые одобрила бы сама тетя Клара, с разговорными выражениями, он снова и снова горячо убеждал врача, что вообще-то он охотно лгал и обманывал, но как раз в этом...

И тут врач улыбнулся открытой улыбкой, но не широкой, веселой улыбкой, а той, которая больше в глазах, чем на губах, и в которой нет ничего общего со всезнающей врачебной улыбкой – не утруждайтесь, мол, молодой человек, мы, ученые мужи, знаем все... Это была улыбка – ну да, в ней было не столько ободрение, сколько дружелюбие, не ученость, а мудрость...

Вилфред рассказал доктору об очень многом, о вещах неожиданных для самого себя. Ведь этот человек был посторонним. К тому же Вилфред слишком долго подавлял все эти чувства.

Время шло, а они все сидели и разговаривали вдвоем. Вилфред видел, как за окном перемещалось солнце. Раза два звонил телефон, доктор снимал трубку и спокойно и решительно отвечал невидимому собеседнику, в то же время не спуская глаз с Вилфреда. И тогда Вилфреду казалось, что доктор похож на кого-то, может, даже на отца. Что-то в выражении глаз. Нет, он был похож на фру Фрисаксен... Никаких попыток строить из себя что-то;

за внешней видимостью,

под нею – честность, подлинная, а не та, которую выставляют напоказ и которая сама есть не что иное, как еще одна видимость под маркой честности! Пожалуй, те минуты, что доктор говорил по телефону, произвели на Вилфреда самое сильное впечатление, потому что тогда он сам мог вволю разглядывать доктора, ощущая полную внутреннюю свободу. В присутствии этого человека не чувствуешь себя скованным, как при докторе Даниелсене в больнице или при Мунсене дома; наоборот, этот доктор раскрепощает тебя, он не носит той маски навязчивого интереса, в котором есть что-то такое натужное, что ты начинаешь чувствовать неестественное напряжение.

– Господин профессор, почему вы спросили, не пою ли я? – обратился к нему Вилфред после паузы.

Дружелюбно взглянув на юношу, тот пожал плечами.

– Почему? Надо ведь было о чем-то спросить. Ну хотя бы о музыке...

– А бывает так, что немые вдруг начинают петь?

– Бывает... Вы читали «Соловья» Ганса Христиана Андерсена?

– «Соловья»... – И Вилфред тотчас понял. И по лицу врача прочел, что тот сразу почувствовал, когда Вилфред понял. – Это правда, – заметил он, опустив глаза. – Я чувствовал себя как искусственный соловей, который поет, когда его заводят. – К его глазам подступили слезы.

– Или наоборот, как настоящий соловей, – возразил доктор. – Настоящий соловей, изгнанный интриганами.

Вилфред выговорил с трудом:

– Я стал немым в кругу своих близких, стал немым из-за них. Это они лишили меня дара речи. Они вели себя так, что я онемел!

Последние фразы он выкрикнул в запальчивости. Он был готов на все, чтобы оправдаться в глазах этого человека, который помнил «Соловья».

Доктор кивнул. Кивнул один раз, а не многократно, когда каждый кивок назойливо твердит: «Да-да, я понимаю, все понимаю». Он кивнул один раз. Но этого было довольно.

– Не кажется ли вам, что продолжать эту игру с вашими близкими довольно жестоко? – спросил он. Голос его прозвучал неожиданно сурово. Вилфред хотел было возразить, но доктор перебил его. – Когда я говорю «игра», я не имею в виду какую-то нечестную игру, я говорю о том притворстве, к которому вы прибегаете из самозащиты. Вы меня понимаете?

Вилфред кивнул. Кивнул еще и еще. Он сидел и кивал без остановки.

– Довольно, не надо больше кивать! – с улыбкой сказал врач. – К таким вещам очень легко привыкаешь. Начинаешь подражать. Подражать самому себе.

Вилфреду никогда не приходило в голову, что это можно выразить такими точными словами. Он спросил:

– Вы гипнотизер?

Тот улыбнулся.

– Не вздумайте хулить гипноз, молодой человек. Просто к данному случаю он не имеет отношения. Не бойтесь.

– А я не боюсь, – твердо сказал Вилфред.

Доктор встал и опять отошел к окну. И опять в комнате воцарилась почти осязаемая тишина.

– Вы в этом уверены? – спросил доктор, снова повернувшись к Вилфреду.

– Простите, я не понял...

– Что вы не боитесь. Вы сказали: я не боюсь.

– Я имел в виду гипноз...

– Пожалуй, вы хотели сказать вообще?

Вилфред смущенно потупил глаза.

– Конечно, я боюсь, – тихо сказал он.

– Конечно, боитесь. Все боятся. – Врач помолчал, потом подошел к столу и сел на стул. – Вы очень развитой молодой человек, – сказал он. – Вы выросли в так называемой тепличной обстановке. Я хочу задать вам вопрос: вам самому хотелось бы пройти у меня курс лечения?

Вилфред сказал:

– Но ведь я могу говорить... – И тут же сам почувствовал, как наивно это звучит. Но врач встал и подошел к нему. И только тут Вилфред заметил, что они одного роста и, может, даже он, Вилфред, чуть выше доктора!

– Вы правы, – сказал врач. – Обещайте же мне... Впрочем, нет, вы не должны связывать себя обязательствами передо мной, посторонним человеком... Но не считаете ли вы сами, что самое разумное, если с этой минуты вы будете говорить?

Слезы, проклятые слезы. Они сейчас совершенно ни к чему. Прежде Вилфред прибегал к ним как к орудию. С помощью слез он напускал на себя растроганность, точно так же как с помощью улыбки напускал на себя веселое настроение. А теперь они лились у него из глаз, горячие и противные.

– Да-а! – вздохнул доктор. – Если бы только мы могли плакать. Плакать и смеяться!

Он сказал это как человек, который сам об этом мечтает, как человек, который сознает свою беспомощность, но ничего не может поделать. Вилфред подумал – пора откланяться. Он слышал, что этот врач-кудесник человек очень занятой. Он встал. Врач подошел к нему.

– Я бы очень хотел послушать, как вы играете! – попросил он.

Вилфред оглядел кабинет. Но врач подошел к портьерам, висевшим позади письменного стола, и открыл спрятанную за ними раздвижную дверь. Вилфред увидел маленькую комнату, тесно уставленную мебелью, обитой золотистым плюшем, – комнату с выходящим на улицу эркером и с темно-коричневым блестящим пианино в углу. Инструмент напомнил ему буфет в доме Андреаса.

– Что вы играете охотнее всего? – спросил доктор, подойдя к стопке нот на маленьком столике. Вилфред ответил, как автомат:

– Бетховена.

– Неужели?

– А почему бы нет? – Вилфред почувствовал, как в нем шевельнулся протест против неуживчивой проницательности этого человека. – Может, вы предпочитаете Дебюсси?

Врач улыбнулся.

– Я спросил, что предпочитаете вы!

– В настоящее время Баха, – признался Вилфред. И снова ему показалось, что на усталом, худом лице мелькнула улыбка; была в этом лице какая-то еле заметная грусть, какая-то опустошенность и в то же время что-то очень здоровое. Этим-то доктор, верно, и напоминал фру Фрисаксен.

Вилфред сыграл одну из маленьких прелюдий, потом фугу. Он сам не заметил, как это вышло, но вдруг сообразил, что в первый раз за много месяцев слышит собственную игру. Инструмент был хороший, с чистым звуком, может быть чуть слабоватым, но таким же чистым, как сам хозяин.

Потом мысль потекла вспять. Сейчас Вилфред чувствовал то же, что когда-то с оркестром у дяди Рене. Он никого не вел за собой, и его никто не вел, но он как бы обращался к силам, которые жили в нем, не принадлежа ему, и которые находили выход в игре.

Когда Вилфред снова вернулся к действительности, возбуждение его схлынуло. Он взял заключительные аккорды.

– Извините, – сказал он. – И спасибо.

– Спасибо вам, – сказал доктор, поднявшись со стула. – За что вы просите извинения?

Вилфред стоял, все такой же смущенный.

– Не знаю. Мне, наверное, пора.

Врач помедлил, потом провел Вилфреда обратно в кабинет и закрыл дверь. Как странно – Вилфреду показалось, будто он вернулся к себе домой... Он сделал шаг к двери.

– Минутку, – сказал доктор. – Поскольку мы с вами пришли к соглашению по поводу, как бы это сказать, ваших успехов в разговоре... – Он улыбнулся. – Что если вы позвоните вашему дяде и скажете, что вы скоро будете дома?

На какое-то мгновение Вилфред почувствовал, как что-то в нем напряглось и губы вот-вот омертвеют – рот стал подергиваться.

– Мы ведь не знаем, где он, – с трудом промямлил он.

– А мы попробуем позвонить в гостиницу, – тотчас возразил доктор. – Или вот что... – Он передумал. – Я подозреваю, что ваш дядя в настоящую минуту сидит в «Кафе Моцарта» и пьет пиво.

Вилфред замер:

– Моцарт... Почему Моцарт?

– Потому что это известный ресторан и туристы воображают, будто именно там они познают Вену. А впрочем, может, они и впрямь ее познают, не знаю.

– Извините, господин профессор, – сказал Вилфред. Он сам чувствовал, как комичен его

серьезный тон, но ничего не мог с собой поделать. – Вы условились с ним об этом?

Знаменитый врач рассмеялся, на этот раз откровенным, совершенно обезоруживающим смехом.

– А вас не проведешь! – весело сказал он. – Я был бы рад при случае скрестить с вами шпаги. Значит, договорились, мы звоним в «Кафе Моцарта».

И он снял трубку.

20

К тому времени, когда подали суп, существовали уже две версии рассказа о том, что пережил дядя Мартин в «Кафе Моцарта». Согласно первой, принадлежавшей тете Валборг, дядя Мартин едва не упал в обморок, услышав по телефону голос Вилфреда. Вторая, появившаяся на свет несколько позже, исходила от самого дяди Мартина: по сути дела, он вовсе не был так уж удивлен. Он с первой минуты твердо уверовал в чудо-доктора и, узнав об успешном результате, не растерялся, быстро уладил все свои дела в Вене и послал телеграмму сестре.

Дядя Мартин говорил чистую правду, насколько это возможно в подобном случае. Он и в самом деле сидел в «Кафе Моцарта» и в ту минуту, когда зазвонил телефон, потягивал пиво и был занят совершенно другими мыслями. Правда, вначале он очень беспокоился о Вилфреде и предпочел бы как можно скорее вырвать его из когтей этого несимпатичного субъекта – кто его знает, что он за птица. Но мало-помалу мысли Мартина приняли другое направление, разные разности то и дело отвлекали его внимание, поэтому, когда голос Вилфреда в телефонной трубке произнес: «Здравствуй, дядя!» – он ни капельки не удивился. На мгновение он просто забыл о племяннике. Зато немного погодя – да, немного погодя он вернулся к действительности и разыграл подобающую случаю готовность упасть в обморок. Так что, по сути дела, верны были обе версии.

Впрочем, об австрийском враче говорили очень мало. Семье пришлось пережить неприятности, теперь они позади. Правда, дядя Мартин упомянул о том, что венский врач предложил, чтобы мальчик прошел у него курс лечения. Врач употребил слово «травма», говорил что-то о неврозе. Но дядя Мартин решительно пресек все эти разговоры, объявив, что дар речи мальчик обрел, а розы цветут и у них в Норвегии. По лицу тети Валборг было видно, что ее огорчают рассуждения мужа.

Но теперь все позади. А разговаривать о том, что миновало, не принято. Принято говорить о том, что есть. Фру Сусанна оправилась на редкость быстро. Она больше не носила теплой шали, и в ее горделивой осанке и в мягкой улыбке, которой она приветствовала гостей, не осталось ничего бабьего.

К сожалению, Вилфреда нет дома. Он был бы очень рад видеть всю семью в сборе, но его нет дома. Он опять с головой окунулся в школьные занятия и в музыку. Сейчас он в консерватории и придет поздно.

Но Вилфред был не в консерватории. Сначала он ненадолго заглянул в ресторан на Стортингсгате. А теперь сидел на скамье в парке Фрогнер с Мириам и спорил с ней о музыке. Он говорил:

– Неужели ты не чувствуешь, как он ломается, этот ваш Моцарт, как он ломается и

кривляется, чтобы угодить публике? Я прямо так и вижу, как он пресмыкается перед своим хвастливым папашей, – и так всю жизнь. К тому же у Моцарта была несчастная любовь. И он сам этого хотел. У него все было

по плану.

Мириам улыбалась.

Ее удивляла его злость, откровенная несправедливость почти всех его утверждений. Казалось, Вилфред умышленно старается быть несправедливым. Когда Мириам улыбалась, это означало, что она не согласна с ним, и он это знал, он все знал наперед, этот юноша, так непохожий на людей, среди которых она жила.

– И вся эта болтовня об изяществе, гармонии... – Вилфред закурил сигарету, десятую за то время, что они сидели на скамье, и устремил враждебный взгляд вдаль, в вечерний весенний сумрак, окутавший пруды легкой дымкой. – Погляди на этих лебедей. Люди стараются развести их повсюду, где только есть вода. Но чего мы, собственно, от них ждем? Гармонии, красоты движений... Мы разводим их для своего удовольствия, больше того: пытаемся с их помощью вообразить, что мы счастливы и даже что сами лебеди счастливы. Но ты погляди только, как они себя ведут. Ну да, они скользят в величавом спокойствии, в них есть что-то возвышенное, по это потому, что так уж они плавают, и шея у них такая длинная, что им приходится ее выгибать. Но ты погляди, как они преследуют, как мучат друг друга. И смотри, какие у них безобразные глаза, какие-то узкие щелки, наверно для того, чтобы они поменьше видели и вечно подозревали друг друга.

Мириам не могла удержаться от смеха. Но смех ее был невеселым. Она чувствовала нежность к этому юноше, хотя ей трудно было соглашаться с ним...

– Не понимаю, – сказала она. – Можно подумать, что вам доставляет удовольствие всех разоблачать, всюду находить недостатки.

– Вам?

– Ну да, вам. Не забудь, что я росла в окружении своих единоверцев, евреев. А у нас никто не любит выискивать недостатки у своих родных, во всяком случае не это для нас главное. Конечно, мы тоже иногда ссоримся, но мы не радуемся тому, что где-то что-то неладно.

Он сразу стал серьезным.

– Да, я знаю, твоему отцу пришлось трудно...

– Отцу? Ну да, и отцу, конечно, тоже. Почему ты вечно спрашиваешь об отце? Ведь и другим, хотя бы, например, моим дядям... И мамин брат хлебнул горя. В Галиции всем евреям было несладко, всем, кто беден.

– А кто не беден?

– Им тоже по-своему было нелегко. Но они хоть могли откупиться. А некоторые помогали бедным. Нам, например, помогли. И теперь мы живем хорошо.

Он мысленно оценивал ее слова. Она употребляла такие слова, как «хорошо», как «люди добры». Стало быть, люди обладают способностью забывать и скрывать, и еще одной способностью, которая знакома Вилфреду лучше, чем кому бы то ни было, – выставлять напоказ нечто противоположное тому, что испытываешь.

– Что значит «хорошо живете»? Она с удивлением взглянула на него.

– Как это – что значит? Ну, хотя бы то, что теперь у нас есть деньги. И вообще нам хорошо жить своей семьей. Ты ведь знаешь, брат у меня известный юрист.

– А у меня приятель учится на вечерних курсах, – заметил Вилфред.

Они посидели молча, глядя на лебедей. Он прав, в них есть что-то злобное. В их движениях не только величавый покой. А прежде они всегда казались ей царственными.

– Я понимаю, что ты хочешь сказать, – заговорила она. – Тебе непонятно, что люди к чему-то стремятся. Вечерние курсы, консерватория... Но люди от этого становятся счастливее, – заключила она, довольная тем, что сумела найти объяснение.

– И вы рады этому – тому, что становитесь счастливее?

Он сказал это совсем тихо. Как будто даже не ожидая ответа. Она спросила:

– Зачем ты сам портишь себе настроение?

– А я и не знаю, к чему это – стараться быть счастливее, – угрюмо буркнул он.

– Твой Моцарт, например, вовсе не был счастливым!

– Ты думаешь? А я подозреваю, что он нарочно придумывал себе несчастья.

– Вроде как ты, – сердито сказала она. – В точности как ты. Ты нарочно растравляешь свои раны.

Он упрямо возразил:

– Знаю. Но от этого я не становлюсь счастливее.

– Да ты и не хочешь быть счастливым. Людям, которые слишком себя жалеют, никогда не бывает хорошо. Они растрачивают себя по пустякам. В этом все дело.

– Мириам, – сказал он. – А знаешь, мне кажется, я тебя люблю.

Она сидела на скамье не шевелясь. У нее была такая манера сидеть не шевелясь, когда неподвижность – не просто пауза между двумя движениями, а нечто гораздо большее. На пыльной, усыпанной гравием площадке еще лежал тонкий слой снега. Казалось, он гипнотизировал Мириам.

– Я выйду замуж только за еврея, – сказала она. – И я никогда не позволю себе полюбить другого – не того, за кого я выйду замуж.

Сжигаемый каким-то холодным огнем, Вилфред думал: «Она добра. Таким и надо быть». И от этой мысли в нем вспыхнула злость.

– Ну что ж, Менкович, который ведет у тебя класс скрипки, – еврей.

– Да, – ответила она и немного погодя добавила: – И он хороший педагог.

«Ну и что из того? – раздраженно думал он. – Что тут такого? Мы дружили, я провожал ее домой, может, я даже ее люблю. Северное сияние».

– Ты мне нравишься, когда бывает северное сияние, – сказала она вдруг, коротко засмеявшись. – Когда мы смотрим на него с ограды Ураниенбургской церкви. Тогда я тебя люблю.

Черт бы побрал этот инстинкт! Неужели он произнес слова «северное сияние» вслух? Да нет, она просто догадалась. Как мать, как Эрна, как Кристина. А может, вообще его мысли всегда так легко угадать?

– А знаешь, когда ты не хотел меня видеть, когда ты... болел... – начала она.

Он не пришел ей на помощь. Он смотрел на лебедей. Они плавали по определенной системе, описывая друг возле друга круги. Когда хотел он, не хотела она. А когда она готова была захотеть, появлялся третий. Тогда первый кидался на третьего, а она спокойно уплывала прочь. Величаво уплывала прочь.

– Я сорок пять минут стояла у двери, прежде чем решилась позвонить.

Вот как... а потом, потом... Он тоже когда-то позвонил к Андреасу в дверь, а потом убежал и спрятался на лестнице, чтобы подшутить над старой служанкой. Вот так было с ним, с тем, кто не добр.

– Ты думаешь, приятно быть немым? Сидеть и раздувать зоб, когда кто-нибудь на тебя смотрит.

– Может, я сумела бы тебе помочь, – сказала она. – Я надеялась, что смогу.

Вон что она вообразила! Вообразила, что заставила бы его заговорить. Вообразила себя смиренной жрицей храма.

– А почему именно ты?

Она чуть заметно безнадежно отмахнулась.

– Урок кончился, – сказала она. – Мне пора.

Урок кончился. Ее урок музыки. Значит, чтобы побыть с ним, она тоже прогуляла урок – она тоже солгала, она, которая не лжет. Упустила случай увидеть своего Менковича...

– Мне бы следовало растрогаться, – сказал он. – Но вообще, в самом деле пошли. Меня ждут родные. Они заклали тельца.

– Ты этого не заслужил, – сказала она, вставая.

Он тоже встал, раздраженно покосившись на лебедей.

– Библейский бездельник тоже этого не заслужил. Тем не менее ради него заклали тельца. Они всегда рады заклать тельца.

У деревянной ограды, выходящей на Киркевей, они простились. Он провожал взглядом ее фигуру, быстро удалявшуюся в сторону улицы Мунте. Глубокие дорожные колеи были полны воды, золотистой в отблеске заката.

– А твоя скрипка! – вдруг закричал он. У него в руке остался футляр с ее скрипкой. В ту же минуту перед ним выросли две могучие лошади, впряженные в большой фургон развозчика пива. Вилфред отпрянул в сторону, чтобы не угодить под копыта, вода из колеи окатила его с ног до головы.

– Ты заметила, что она золотистая? – смеясь, спросил он Мириам. Она стояла насмерть перепуганная. Она видела, как пронесся фургон. Развозчик, повернувшись на козлах, в ярости крикнул:

– Ты что, слепой?

– Немой, – ответил Вилфред, показав на свои губы, а потом покрутил указательным пальцем у виска.

– Сумасшедший, – засмеялась она. – А почему ты сказал, что вода золотистая?

– Вот эта самая вода, – ответил он, показав на свои брюки, – эта грязь, которую нашей служанке Лилли придется счищать с моих брюк, была золотистой в свете заката, ты не заметила?

Они вместе побрели вдоль Киркевей, туда, где от Майорстюе начиналась березовая аллея. Розовый, как семга, закат золотил уходящие вверх длинные колеи.

– Это как с лебедями, – тихонько засмеялась она. – Но пусть колеи останутся золотыми. А лебеди пусть себе чванятся. Постарайся видеть их такими, какими они тебе запомнились вначале. Почисти свои брюки сам, и тогда тебе вспомнится, что вода была золотистой.

Глаза ее тоже были золотистыми. Два солнца, не то восходящих, не то клонящихся к закату. Вилфред сам не знал.

– Для меня они заходят, – сказал он, протянув ей скрипку.

– Кто заходит? – переспросила она, не поняв. Он быстро подошел к ней и поцеловал ее глаза.

Он стоял, махая ей рукой. Она повернулась и тоже помахала ему. Он перестал махать и только смотрел ей вслед. В конце улицы она снова обернулась и помахала ему. Он помахал в ответ. Потом пробежал несколько шагов. Потом вернулся в парк. Бросил камень в лебедей. Не попал. Откуда ни возьмись появился сторож и строго спросил:

– Кто бросил камень в лебедей?

– Я, – заявил Вилфред. – Хотите записать фамилию?

Сторож растерянно шарахнулся в сторону. Он остановился у дерева, наблюдая за Вилфредом, и покинул свой наблюдательный пост только тогда, когда молодой человек двинулся к выходу.

– Ну и взгляд! – пробормотал сторож.

У своего дома на Драмменсвей Вилфред вдруг остановился, не решаясь войти. Он сразу представил себе своих родственников, сидящих в гостиной, как представлял их всегда, угадывая все, что они скажут, до того, как они открывали рот. Вот сейчас они сидят и ждут его возвращения. О! Они и глазом не моргнут при его появлении, каждый будет заниматься своим делом, даже разговора они не прервут, а тетя Валборг и тетя Клара будут продолжать играть в лото, потом вдруг кто-нибудь заметит его: «Глядите – Вилфред! Ну, как прошел урок музыки?»

И все потому, что они желают ему добра, чересчур усердно желают ему добра. А он должен платить им за эту любовь. Только не своей любовью. Не любовью Вилфреда. А любовью вообще. Так и с матерью. Он должен питать к ней сыновнюю любовь, не свою, а сыновнюю любовь вообще.

А может, ему следует попросить у тети Клары разрешения взглянуть на ее медальон? Нет, это неуместно, не могут же они требовать, чтобы он снова впал в детство. Но вообще-то он на это способен. Ему вполне может прийти такая фантазия. Попросить посмотреть на медальон, на то, что внутри, и на то, что внутри второго медальона. Если Вилфред будет в ударе, он разыграет это как по нотам.

А дяде Мартину он должен выказать свою благодарность. Не прямо. Не упоминая о Вене. Это дело прошлое, это позади. А то, что позади, того больше нет.

Ну а что, если это не позади, если это не кануло в вечность? Что, если каждое пережитое мгновение представляет собой отдельный замкнутый мир, существующий сам по себе и не имеющий ни причин, ни следствий? Что, если каждое мгновение – это самостоятельный организм, само себе начало и конец, как же можно тогда его убить? Ведь это насилие. А что же делают они? Может, просто стирают пережитое ластиком? Волшебным ластиком, который не оставляет никаких следов. Фокус-покус...

Вот так же стояла у этих дверей Мириам, не решаясь позвонить. Очевидно, ему следует растрогаться? Впрочем, он и в самом деле растроган. Если она этого не поняла, тем лучше. У нее есть ее скрипач, а брат у нее юрист.

К тому же Вилфред ей не говорил, что собирается жениться. Жениться надо не раньше двадцати пяти лет. А такая, как Мириам, к тому времени уже десять лет будет матерью. Ей бы уже следовало стать матерью. Вот о чем он должен был подумать.

Нет, он не смеет войти. То есть, конечно, смеет... Можно пройти через террасу. Тогда он избавит их от необходимости разыгрывать удивление. Если он пройдет этим путем, они его не заметят. Зато он услышит, что они на самом деле говорят друг другу. Но это может оказаться неприятным.

Вилфред обогнул дом со стороны залива. Белый, без единой тени, точно кусок мела, замок Оскарсхалл маячил на фоне низкого неба. Мимо с грохотом промчался поезд. Под этот грохот Вилфред взбежал по ступенькам и остановился.

Здесь, на нижней ступеньке, сидела тогда Кристина. Она плакала – наверное, над тем, что ее жизнь уходит. А может, над чем-то, связанным с ее лавчонкой. А сейчас она сидит в гостиной. Он не видел ее с тех самых пор, когда она заглянула к ним на минутку и ушла, не простившись. Та, прежняя история забылась. Истории сменяют друг друга. Миновало – значит, дело прошлое. Фокус-покус.

Он постоял, прислушиваясь. Говорит дядя Рене. Тогда не стоит подслушивать. Лучше просто послушать. Вилфред быстро вошел через маленькую боковую дверь и сказал громко, еще не сойдя с низенького возвышения:

– Добрый вечер, здравствуйте!

И он по очереди стал обходить всех, приветливый, веселый, довольный... такой, каким они хотели его видеть. У тети Кристины в волосах появилась седина. Это было первое, что он заметил. Но он не подал виду, что заметил, зачем ее огорчать. «Стало быть, ей больше не для кого краситься», – подумал он.

Они очень обрадовались, увидев его. Почему бы ему не пойти им навстречу и не порадоваться в свою очередь? Он не стал просить тетю Клару показать медальон, но дал ей понять, что все помнит. Он легко коснулся медальона пальцами и сказал:

– Медальон... А знаешь, ты была бы мной довольна, я здорово справлялся с грамматикой в Вене...

Вот и об этом он сказал. Иначе никто не упомянул бы о Вене. А теперь он избавил их от необходимости избегать этой темы. И вышло так, будто они уже поговорили о поездке. А когда о чем-то умалчивают, получается так, точно об этом все время говорят. Вот почему так важно уметь сказать вовремя и мимоходом. Важно уметь делать так, чтобы все радовались, чтобы всем было хорошо. Дома у Мириам хорошо. Ее родные хорошие люди. Она играет на

скрипке для бедных.

Вилфред обошел всех. А теперь он пойдет в столовую, чтобы перекусить. Оставшись один, он стал корчить страшные гримасы. Но мать вышла за ним следом, и он прикрыл лицо рукой, чтобы она ничего не заметила. Теперь, когда он может говорить, ему необходимы эти гримасы. Родные не имеют права отбирать у него все разом. Когда-нибудь он сам отстанет от привычки гримасничать. Но изобретет что-нибудь другое. А под конец, может, и ничего не станет изобретать. Как отец.

Лишь бы только мать не вздумала остаться в столовой с ним наедине. Из желания порадовать ее на него может найтись приступ откровенности: «Я не был в консерватории, а сидел в парке с девушкой». И она будет радоваться его легкомыслию и тому, что у них появилась общая тайна. Потому-то он и не хочет, чтобы она оставалась с ним. Надо поскорее покончить с едой. Он охотно порадуется чем-нибудь. Но не тем малым, что принадлежит ему одному. Это такая малость, самая крошка. Вилфред выпил рюмку красного вина, потом еще одну. Он подумал: а ведь то, что принадлежит мне одному, можно раздуть, можно сделать из мухи слона.

Глухаря он запил еще несколькими рюмками вина. К сыру выпил хереса и еще стаканчик портвейна. Уже собираясь встать из-за стола, он быстро оглянулся и налил себе еще вина из бутылки, стоявшей на столе. За последнее время он приохотился к вину. Когда выпьешь, становится легче на душе. Да, из мухи можно сделать слона. Вилфред еще не знал толком как, но раздуть можно все что угодно. Когда-то он забавлялся тем, что крал, водил дружбу с уличными мальчишками. А такие вещи тоже можно раздуть. Он сложил салфетку, залпом выпил стакан портвейна и вернулся в гостиную.

Но в дверях он остановился. Кто-то назвал фамилию – фамилию пастора. Может, это была случайность, но Вилфред вспомнил о конфирмации. Он стоял в дверях – делать вид, будто не слышал, было поздно. Фамилия пастора была Стуб или как-то в этом роде. От пастора все в восторге, детей специально конфирмуют в церкви Гарнисонкирке, чтобы только попасть к пастору Стубу. Удивительный пастор, такой снисходительный, не похож на священника. А это для священника высшая похвала. И вот родные называли имя Стуба. И Вилфред сказал:

– А ведь он мог бы заодно и крестить меня.

Воцарилась мертвая тишина. Потом тихонько хихикнула Кристина, беззвучно засмеялся дядя Рене. За ними рассмеялись мать и тетя Валборг. Тетя Клара прочистила нос.

– Ну да, я подумал о конфирмации, – сказал Вилфред шаловливо, подходя к ним поближе. – Мама у меня не очень-то пылкая христианка, стало быть, дядя Мартин, дорогой мой дядя, которому я так обязан...

Он попал в точку. Они действительно толковали о конфирмации. Собственно говоря, все они были глубоко равнодушны к обряду. Но дядя Мартин сказал, что из практических соображений, раз уж надо получать паспорт, не помешает и свидетельство о крещении, да и вообще...

Он попал в точку. Неужели это так просто – брякнул что-нибудь и сразу все уладил, и не надо ничего переживать, скользи себе по поверхности и забывай...

Он попал в точку. Надо только иметь наглость. И вовремя пропустить стаканчик. Но это им невдомек.

Он попал в точку. Мысли теснились в его мозгу, но как-то бестолково, в беспорядке. Может, дома у Мириам тоже так поступают? Сболтнут первое, что придет в голову, и дело с концом... Нет, не может быть. Не каждому везет, как ему сегодня.

Дядя Мартин сказал:

– Я думаю, мальчик прав, Сусси... Если тебе не очень трудно заняться этим... свидетельством...

Мать засмеялась. Ей ничуть не трудно. Она на все готова, лишь бы все были довольны. Мир, в котором она жила, на какое-то время вдруг неузнаваемо изменился. А теперь он снова начал входить в обычную колею. Ей совсем не трудно. Все улажено. Можно считать, что Вилфред уже окрещен.

Он играл для них. Играл то, что они просили. Когда дядя Рене попросил сыграть Моцарта, он сыграл и Моцарта. Получилось неважно, но раз дядя хотел... Вилфред еще раз поблагодарил дядю за репродукции. Хорошо, что они на отдельных листах – их можно повесить на стену.

Дядя Рене бросил на него испуганный взгляд.

Нет, Вилфред не собирается их вешать. Нельзя все время смотреть на одни и те же картины.

Дядя Рене облегченно вздохнул.

Дядя Мартин сидел с неизменным стаканом виски. Вилфред потянулся к нему через стол, чтобы чокнуться воображаемым стаканом, сказал «спасибо за все» и подмигнул. Стало быть, он упомянул об этом еще раз, уже сверх программы. Вилфред начинал переигрывать. Он чувствовал, что ему доставляет удовольствие переигрывать. Когда тетя Клара спросила его о школе, он сказал, что все идет хорошо, даже слишком хорошо – как видно, тут что-то неладно. Все засмеялись. Им нравилось, что он в хорошем настроении. Они внесли в это свою лепту. Это была их заслуга. В благодарность он должен переигрывать.

– А все дело в том, что я очень способный, – сказал Вилфред. – У нас в семье все очень способные. Посмотрите на близнецов дяди Мартина, да они же просто вылитые англичане.

Пожалуй, он хватил через край. Кажется, он поселил в них тревогу. Во всяком случае, две тетки переглянулись. Вилфред вернулся в столовую и налил себе еще вина из бутылок, стоявших на столе. Хорошо, что бутылки здесь стоят. Он вернулся, тихо сел на свое место и решил стать сдержанно-обаятельным. Ведь они в семейном кругу, их долг по отношению друг к другу быть веселыми, веселыми и обаятельными. Не боясь переиграть.

Он сделает так, что все снова будет хорошо. И будет становиться все лучше. Когда хочешь, чтобы все было хорошо, переиграть нельзя. Его предупредительность приняла такие размеры, что перед ней трудно было устоять, его молчаливая сдержанность пропитала все вокруг ожиданием. Разве он не в семейном кругу, в кругу тех, кто воссоединился после всего пережитого! Каждому из них пришлось что-то пережить. У каждого что-нибудь да было. Он по очереди подсаживался к дядям и теткам и глядел на них в упор. Он мешал теткам играть в лото, предугадывал каждый ход, продумывал за них ходы, им в смятении начало казаться, что, передвигая круглые картонные фишки, они повинуются чужой воле. Поглядев на стакан виски, который держал в руке дядя Мартин, Вилфред с быстротою молнии подал дяде сифон с содовой водой. Дядя Мартин стал нервничать и по рассеянности осушил еще один стакан. Дяде Рене Вилфред показал фокус с двумя кольцами и шелковым носовым платком. Он повторил фокус трижды, он выучил его еще в школе. Мать болтала с Кристиной, они болтали, интимно понизив голос, болтали о том о сем, как люди, которые ищут разрядки. Вилфред сделал вид, что прислушивается, – они замолчали. Он в упор взглянул на Кристину, на мгновение раздев ее взглядом. Потом принес дамам фруктовую воду – не стоит беспокоить Лилли из-за такого пустяка. Два раза он возвращался за бутылками в столовую и каждый раз на ходу выпивал рюмку вина. Потом вернулся за стаканами для дам – про стаканы он забыл. И снова хлопнул рюмку, и еще одну. Оказалось, что он забыл про тетю Клару, пришлось

вернуться еще раз.

– Да посиди ты на месте, – сказала мать. – Ты мне действуешь на нервы.

Он сел. Он сидел так нарочито неподвижно, уставившись на маленькие пасьянсные карты тети Шарлотты, что от тишины вокруг него стало больно ушам. Да, здесь все должно быть хорошо. Так хорошо, что от этой благодати должна настать мертвая тишина. Разве Вилфред не был самым юным отпрыском их рода, разве он не мог послужить примером даже для своих преуспевших двоюродных братьев – вылитых англичан? Разве он не достиг совершенства в искусстве очаровывать – сейчас он очарует их насмерть! Он неторопливо вышел в столовую, снова выпил вина – никто не скажет, что он суетится и действует людям на нервы. Наоборот, во всех его движениях была какая-то завораживающая размеренность. Он перехватил взгляд матери: исподтишка, не прерывая бесконечной беседы о том о сем, она неотступно наблюдала за ним, словно загипнотизированная медлительностью, вызванной ее же замечанием. А он опять сидел как изваяние, смакуя выпитое вино, и ему казалось, что оно разливается по всему его телу, точно маленькие рюмки поднимаются все выше и выше по малюсеньким ступенькам.

В холле зазвонил телефон, он не вскочил, а медленно поднялся, сделав знак рукой – пусть, мол, никто не беспокоится, – и закрыл за собой дверь. В гостиной воцарилась мертвая тишина. Он слышал ее за собой, идя к телефону и сняв трубку.

– Мальчик пьян, – сказал дядя Мартин.

Фру Саген встала и подала мужчинам сигары.

– Чепуха! – сказала она. – А что, если нам пойти в сад, поиграть в крокет?

– Если только мы разглядим шары, – с готовностью отозвалась тетя Шарлотта.

Вилфред долго не возвращался. Они стали прислушиваться.

– Придется что-нибудь накинуть на себя, – заметила Кристина.

Она подошла к двери, но остановилась. Ей не хотелось встречаться с Вилфредом в холле один на один, к тому же он говорит по телефону. Их просто гипнотизировал его телефонный разговор и то, что Вилфреда так долго нет. Когда он вернулся, все почувствовали какое-то облегчение. Услышав, что они собираются выйти, он тут же принес дамам пальто. Они будут играть в крокет, в миролюбивейшую игру, залог гармонического, безмятежного настроения. Вилфред притащил из гардероба все, что мог, целый ворох пальто и накидок, и стал помогать дамам одеться.

– Помилуй бог, мы же не на Северный полюс собрались, – сказала тетя Шарлотта.

Мать спросила:

– Кто звонил?

– Андреас, – ответил он. – Он опять забыл, что ему задано.

– Андреас? – переспросил дядя Мартин. – Это твой приятель, тот, который в очках? У него такой глуповатый вид.

Дамы уже покончили с одеванием и одна за другой, точно вереница отпущенных на свободу пленниц, потянулись на веранду, а оттуда вниз, на крокетную площадку. Галантно раздав им молотки, Вилфред вернулся в дом. Все его хорошее настроение как рукой сняло.

– Андреас вовсе не глуп, – холодно сказал он.

– Но я думал... – смешался дядя Мартин. – Ведь ты сам...

Вилфред почувствовал, как в нем закипает раздражение.

– Андреас очень хороший парень, – объявил он.

– Конечно, конечно, – подтвердил дядя Мартин.

– Очень хороший, – повторил Вилфред. – Он учится на вечерних курсах. Хочет выйти в люди.

Дядя Мартин сосредоточенно обрезал кончик сигары.

– Отец его человек небогатый.

Дядя Мартин затянулся сигарой и выпустил дым.

– А мать больна!

Дядя Мартин сказал, желая положить конец разговору:

– Очень жаль. Весьма прискорбно.

– Безнадёжно больна, – упрямо повторил Вилфред. – И у него два брата. Один набивает чучела. Он пользуется мышьяком.

Дядя Мартин огорченно повертел в руках стакан. Он вдруг вспомнил о письме из школы, которое его сестра когда-то показала ему. Что-то в тех чернилах...

– Может быть, ты подашь мне пепельницу, – сказал он.

– Он продает чучела в музей. И вообще, по-моему, его отец пьет.

Вилфреду никогда прежде не приходило в голову, что отец Андреаса пьет. Все его хорошее настроение как рукой сняло. Он уже не был больше счастливым Маленьким Лордом. По телефону звонил директор школы. Он хотел поговорить с матерью. Вилфред ответил, что ее нет дома. В последнее время в школе возникли кое-какие недоразумения. Вилфред ждал звонка или письма. Как видно, ему никогда не избавиться от этих мелочей...

– Небогатый человек, – упрямо повторил Вилфред. – Даже просто бедный.

– Вот что, мой мальчик! – тихо сказал дядя Мартин. – Помни: никогда не следует напиваться за семейным обедом.

Вилфред уставился на него, разинув рот.

– При случае можно немного выпить, при случае можно пригласить родных на семейный обед, но соединять то и другое...

Дядя Рене, который расхаживал по комнате, разглядывая окружающие безделушки, подошел к ним ближе.

– Как нелепо выбрано место, – сказал он об иконе, висевшей над входом в эркер.

Мелочи. Они мельтешат вокруг тебя, берут тебя в кольцо. Об этом Вилфред и хотел рассказать венскому врачу – о мелочах, которые возвращаются снова и снова, цепляются друг за друга и опутывают тебя, словно сетью.

– Спасибо за совет, – сказал он дяде Мартину, когда дядя Рене снова отошел в сторону.

– Не за что, – беззлобно ответил дядя Мартин. – Вообще, насколько я понимаю, ты у нас из молодых да ранний...

Вилфред вяло взглянул на него. Дядя Мартин человек светский, он знает человеческие слабости, на свой лад он даже либерален. У него двое сыновей, с которыми ему не приходится говорить на неприятные темы. Вот человек, который не боится мелочей – он умеет с ними справляться.

– А хотя бы и так, что из того? – упрямо возразил Вилфред. Дядя Мартин пожал плечами. Подошел дядя Рене и предложил прогуляться, пока не совсем стемнело. Прогуляться втроем, в мужской компании. Дядя Мартин согласился: он был не из тех, кто любит длить неприятные минуты. «Мамин брат», – подумал Вилфред. Он сказал:

– А я, пожалуй, поднимусь наверх.

Наверху он заложил палец в рот, потом принял две таблетки аспирина. Дядя Мартин прав. Нельзя напиваться за семейным обедом. Напиваться вообще нельзя. И эта история в школе... Они втроем зашли на перемене в школьную мастерскую и устроили там выпивку. Вино принес Вилфред. Дело было довольно невинное, но один из участников попойки на уроке священной истории развоевался и заявил, что Христос был социалистом.

А уж эти директора... не могут сами навести порядок в школе. Обязательно им надо жаловаться родителям. Вилфред уже вышел из этого возраста. Он взрослый. Завтра он пойдет к директору, скажет ему наедине пару теплых слов и покончит с этой историей.

Вилфред лег на кровать. Да, пора покончить со всеми этими мелочами. Покончить – точное слово. Или покончить с мелочами, или с самим собой. С собой тоже можно покончить, если другого выхода нет. Если мелочи не поддаются. Или если их становится все больше и они растут и не хотят, чтобы с ними покончили.

Уже засыпая, он бросил быстрый взгляд на портрет отца... так тоже можно покончить с мелочами.

21

Он лежал голый, по нему ползали муравьи. В раны забились хвойные иглы.

Он медленно перевернулся, упираясь коленями в землю, и попытался уползти глубже под деревья. Но голова была такая, точно ее набили осколками стекла. Он снова упал, сдаваясь неизбежному. Причудливые тени, точно грузные всадники, проносились в мозгу, оставляя за собой сверкающие провалы.

Ссадины... Он осторожно ощупал кончиками пальцев другую руку от локтя до кисти. Пальцы в ужасе отдернулись. Потом он провел рукой под глазами. И рука, и глаза были чужими. Мелькнули короткие темно-синие вспышки воспоминаний, оставив за собой островки полыхающего пламени... Он застонал. Не может быть... Только не это... Память клубилась яростными волнами, точно расвирепешшее море. Потом все снова куда-то сгнуло... потом опять всплыли какие-то обрывки, и он цеплялся за те из них, которые были менее мучительны...

«Кураре!» [[8]] В каком-то кафе ему вздумалось разыграть из себя шведа. Он подозревал

официанта: «Кураге!» Подбежали какие-то люди, одетые в черное. Это было... было... где же это было?

Он рассказывал о своем отце. Точно! Подробности о своем отце: «Знали бы вы, какой он был строгий! Бывало, отстегнет манжеты, положит их на стол, а сам идет к зеркалу, за которым висят розги...» Его выкинули вон... нет, погодите, ничего подобного, его вежливо попросили уйти. Инспектор с рыжеватыми волосами, расчесанными на пробор... Нет, это было в другом месте...

Он молил бога ниспослать ему сон, безмятежный и бесконечный, и сон пришел, но не безмятежный, а пронизанный вспышками багровых молний, наполненный беззвучными видениями и не бесконечный, потому что то и дело прерывался, и в эти секунды проясняющееся сознание ослепляло нестерпимой болью.

На какое-то мгновение Вилфред даже сел, изумленно оглядывая стоящие вокруг ели, но потом на него снова обрушилось беспмятство, прерываемое приступами мучительной дрожи.

Забегаловки с грязными скатертями и официантами, прыщеватыми и белесыми, как проросшие картофелины, – в одном из таких мест он и стал говорить по-шведски. А этих мест было много: какие-то кафе, молчаливые мужчины, перед ними маленькие бутылочки, и краснолицые, до смерти усталые мужчины за большими стаканами. Их было много, этих кафе, похожих на узкие пещеры, и все населены отцами. Вилфред с жадным любопытством разглядывал их, надеясь что-то узнать. Держался он совершенно прилично, пил маленькими стаканчиками и помалкивал. Но потом ему захотелось что-нибудь крикнуть. Где это было? Когда? Да, да, мать жила на даче, он был в городе один, приехал на пароходе, с тем чтобы вскоре вернуться на дачу, это было... да, да, возможно, что и вчера, вполне вероятно.

Ресторан «Масонская ложа». Точно. В маленьких трактирчиках, потягивая вино, он пытался выведать тайну отцов, но вел себя вполне прилично. А потом очутился в ресторане «Масонская ложа». В тот момент он все еще был хорошо одетым молодым человеком. Он ел одно за другим изысканные блюда и пил дорогое белое бордо. Он говорил с французским акцентом, советовался с метрдотелем и смаковал еду и напитки.

Но с этого ресторана и начались неприятности. Ресторан заполнялся; за столиками сидели хорошо одетые люди, Вилфред сам был хорошо одет, все шло отлично, он заказал коньяк.

Явился инспектор. Он наклонился над столиком, так что Вилфред увидел прямой пробор в его рыжеватых волосах, деликатно наклонился над столиком и осведомился, сколько лет молодому человеку.

Сколько лет? Двадцать один. Вилфреда часто принимали за девятнадцатилетнего, можно было спокойно прибавить года два. «Не можете ли вы чем-нибудь подтвердить это?.. Весьма сожалею, но мои обязанности... Каким-нибудь документом... – Каким еще документом? – Ну, какой-нибудь справкой. – Разве люди носят с собой справки? – Гм, в таком случае... – Какая же вам нужна справка? Может, свидетельство о крещении? Извините, но я магометанин... Впрочем, может, тут не обслуживают магометан? Я соблюдаю магометанскую субботу – слышали о ней, инспектор? В субботу я поворачиваюсь лицом к Мекке и пью коньяк...» И все-таки его не выгнали. Мужчина с прямым проборм терпеливо выслушал его болтовню и попросил расплатиться по счету. А потом решительно встал у двери и сделал ему знак глазами. И Вилфред ушел из ресторана «Масонская ложа», чинно шагая между столиками, а посетители посмеивались и, кажется, оборачивались ему вслед. А потом... Потом провал. Кажется, какой-то погребок в Ватерланне? Погребок, забитый пьяными, пивной погребок. Прогулка вдоль пристаней. Точно: он угадывал названия кораблей. Он шел, всхлипывая, вдоль таможи, увидел «Короля Ринга». Потом ему в глаза бросилась лебединая белизна

«Конгсхавна» с его благородно изогнутым форштевнем. Он поднялся на палубу. Да, да, он пришвартовался именно там. Ресторан-варьете «Конгсхавн-Бад»... Там все и началось.

Он смутно помнил два круглых столика под лиственными кронами и сцену, где бойко выступали артисты, которые прекращали танцы и пение, когда мимо проносился поезд, – еще бы, он проносился прямо через парк между залом, располагавшимся под деревьями, и сценой; под громохание поезда певцы стояли с разинутым ртом, а острые смычки двух скрипачей застывали, как занесенные для удара копья, пока последний вагон не исчезал вдаль, и тогда каждый вновь принимался за прерванное занятие. Да, вот как было дело... Цепи электрических лампочек между деревьями становились все ярче, по мере того как сгущались сумерки, а над ними расстилался темный бархат вечернего августовского неба, усеянный звездами среди листьев. О, какое унижение! Теперь Вилфред вспомнил все, но цеплялся за это воспоминание, потому что оно было ему приятно.

А вот дальше пошли неприятности. Появились двое...

Появились двое. Вилфред заметил их сразу. Они сидели врозь, каждый за своим столиком, за которыми сидели еще какие-то другие люди. Но все-таки они были вместе. Вилфред понял это с первой минуты. Сам он все еще сидел один. Но, по мере того как темнело, за столиками рассаживались посетители. Эти двое... Сначала подошел первый – парень в возрасте Вилфреда, вернее, в том возрасте, на какой Вилфред выглядел, – лет восемнадцати-девятнадцати. Парень в кепке; он приподнял ее, подсел к столику, выпил пива. Немного погодя подошел второй, он был чуть постарше, чернявый, в соломенной шляпе с синей лентой.

Они спросили: «Сообразим?» Он не сразу понял, чего они хотят. Чернявый ткнул пальцем в свой стакан, он пил вино. Вилфред тоже выпил вина. И тут до него дошло – они хотят знать, согласен ли он раскошелиться. При этом слове парни хмыкнули, переглянувшись; тот, который был в кепке, поднял большой палец и заказал бутылку. Напиток был невкусный, парни почти все распили сами, но они держались дружелюбно, приняли Вилфреда в свою компанию.

На сцене Иса Даль пела песню о кустах сирени, ее прервал грохот поезда, идущего из Беккелага, и все было очень славно.

Выло очень славно, и ребята были славные, поначалу в них было что-то не совсем привычное, но мало-помалу они пришлись Вилфреду по нраву. Он охотно заказал еще бутылку. Они пили, и всем было очень хорошо. Они опять распили вдвоем почти всю бутылку, Вилфреду больше пить не хотелось.

Но парни были славные. Приняли его в свою компанию. На сцене выступали акробаты из Малайи, они делали пирамиду. Прошел поезд. Кажется, Вилфред заказал еще бутылку, парни что-то рассказывали, особенно тот, в кепке, Вилфред точно не помнит, потом они подбили его на разговор, и он рассказал о своем суровом отце, который отстегивал манжеты перед тем, как высечь сына... Они подались вперед через столик.

– А больно он дрался?

– Еще бы! – Вилфред продемонстрировал один из отцовских ударов, бутылка упала на поднос, столик покачнулся, парни его подхватили. Все это было очень здорово.

– Вы слыхали про моего отца?

– Ну да, ты же сам рассказывал. Он тебя бил.

– А про его револьвер я рассказывал? И он всегда носил с собой хлыст.

– Хлыст?

– Ну да, он много путешествовал. Верхов. У него было шестнадцать лошадей.

– Да ну! – Парни переглянулись с сомнением. – А на что ему было столько?

– Шестнадцать лошадей и десять жен.

– Десять жен? – Парни заморгали.

– Десять. Он вообще-то был магометанин.

Парни кивнули.

– Турок, стало быть?

– Нет, магометанин. Турок – это другое. У него был дворец в Бенгалии, и он командовал целой армией.

– Дворец? У него был дворец?

– В Бенгалии. И дом в Хюрумланне. И его любимую жену звали Аннасус.

– Аннасус. Аннасус. – Парни повторяли красивое имя. А чернявый сказал, что знает девчонку, которую зовут Лиспет. Если хотят, он ее позовет. Парень в кепке хотел. Вилфред тоже. Как видно, Лиспет находилась где-то поблизости. У нее была ранка в углу рта и длинные ногти. Она попросила чернявого угостить ее вином. Тот бросил повелительный взгляд на Вилфреда. Вилфред взглянул на парня в кепке. Тот ответил Вилфреду взглядом, в котором содержалось приказание и даже нечто большее. Лиспет получила вино.

О, теперь Вилфред многое вспомнил. Он вел себя прилично. Пил немного и вел себя благопристойно. Потом вдруг стал пить уже побольше. И повел себя менее благопристойно. Листва на бархатном фоне, над нею звезды, на сцене пожиратель огня, мчащийся через парк поезд, который давал гудок у Беккелага и с грохотом проносился мимо. Лиспет тоже хотела послушать об отце Вилфреда. Один из ее передних зубов был очень красивый, а второй не такой красивый. Она взяла руку Вилфреда под столом и положила себе на бедро. У него задрожал низ живота. Он сидел и угощал их бутербродами с селедочным паштетом и луком. С дерева на бутерброд упала гусеница – Лиспет стряхнула ее на землю с грацией светской дамы... А потом? Что было потом?

Дальше больше. Вилфред стал называть ее своей Йомфру Люсьелиль, декламировал в ее честь народные песни.

– Срамота какая, – фыркнула она.

Дальше больше. Вилфреду захотелось уйти.

Но выложенный гравием сад вдруг превратился в капкан. На сцене погас свет, как видно, все разошлись. Была девушка Лизбет, или Лиспет, она куда-то исчезла, и Вилфреду захотелось уйти.

Но те двое были здесь. Парень в кепке и чернявый с синей лентой на шляпе. Они и еще другие – те тоже были здесь, подстерегали у входа. Вилфред хотел уйти. Но при каждом движении натыкался на что-нибудь.

Да, вот как обстояли дела. Кепка, парень в кепке. Он сказал Вилфреду: «Сиди на месте». Так и сказал: «Сиди на месте». Они ведь только что болтали, рассказывали друг другу всякие

истории.

Приятные воспоминания вдруг рассеялись, уступив место другим, – Вилфред застонал. Кто-то из парней упомянул о каком-то подлеце и проныре. И рассказал историю, которая произошла в Грюнерлокке. Он знал когда-то одного такого проныру, такого предателя – тот тайком пробирался в Грюнерлокке и подбивал местных мальчишек на всякие мерзости. Он был как две капли воды похож на Вилфреда, только поменьше, этакая фитюлька из богатых кварталов. Однажды он убил старика еврея...

– Убил?

– Убил. Антисемит, барчук... попадись он мне теперь! Может, он еще немецкий шпион. Даром что молокосос. Ты что, не знаешь, что немцы замышляют войну? Кайзер Вильгельм замышляет войну. А капиталисты поддерживают немцев, не знаешь, что ли? А я социалист. – Это говорил парень в кепке. Лиспет при этом не было. Чернявый слушал с угрожающим видом.

– Убил? Насмерть?

– Насмерть. Бедного старика, хозяина табачной лавчонки. Он умер. Не сразу, но немного погодя.

– Убил? Убил насмерть?

– У старика был шок или как это там называется. Бедный старый еврей не то из Галиции, не то еще откуда-то. Его турки выгнали из родных мест, а может, и русские, кто их разберет. Его хоронила целая толпа. А его двоюродная сестра – впрочем, нет, это была его племянница, дочь брата... Брат тоже еврей, он, бедняга, такие похороны устроил покойнику, а племянница до сих пор еще приходит в Делененг, играет беднякам на скрипке. Чистый ангел. Мириам ее зовут... Вот какие дела творятся в Грюнерлокке...

Но в ту пору все еще шло хорошо. Парень в кепке рассказывал, он тоже здорово надрался. Рассказывал, словно намекал на что-то. А чернявый слушал.

– Лиспет! – сказал он, обращаясь к деревьям. Лиспет появилась снова, в уголке ее рта была ранка. От Лиспет пахло луком; Вилфред смотрел на ее рот – не выползет ли оттуда гусеница.

Нет, нет, нет, нет!

– Лиспет, – сказал чернявый. Он говорил, не шевеля губами. Лиспет вышла из-за деревьев. Вилфред хотел уйти. Он встал. На сцене было темно. Пусто. Он истратил кучу денег.

Вилфред хотел уйти, но они были здесь. Зал под листвой опустел, но эти были здесь, у входа. Электрические лампочки в листве погасли. Но они были здесь. Сначала у одного выхода, потом у другого. Чернявый. А парень в кепке все говорил, говорил:

– В точности такой же тип, как ты, только поменьше. Убил бедного старика...

Чернявый был здесь, у обоих выходов сразу.

– Лиспет, – произнес он уголком губ, точно сплюнул.

И Лиспет оказалась тут как тут, точно вынырнула из листвы.

Но Лиспет и Вилфред друзья, правда ведь? И Лиспет была не прочь.

Отчего бы им с Лиспет не пройти в Экебергский лесок...

Лиспет и он... Они взбирались по крутой пыльной дороге, потом шли какими-то тропинками. Теперь они были вдвоем. А может, нет? Лиспет повисла на его руке. Отяжелевшая, подвыпившая, она то и дело оступалась. Да, да, теперь он все вспомнил: ему хотелось провалиться на дно глубокой-глубокой ямы. За деревьями что-то шуршало. «А где остальные? – Наверно, разошлись по домам. – А парень в кепке? – Убрался восвояси. – А тот, чернявый? – Ну, он...»

Лиспет была не прочь. От нее пахло луком. Она знала в лесу одно местечко. Чуть повыше. И все щекотала Вилфреда. Все щекотала.

Насмерть? Насмерть... Что за околесицу он нес, этот парень в кепке?

А, ерунда. Он сумасшедший. Социалист или что-то в этом роде. А Лиспет знает в лесу одно местечко.

Да, он сумасшедший. Не стоит обращать внимания. Тем более Вилфреду. Вилфред барчук. А Лиспет любит только господ, она терпеть не может это мужичье. Они поднимались в темноте все выше. Тропинка была скользкой от росы.

Что это он говорил о похоронах и будто кто-то играет на скрипке?

Да просто они устроили из похорон демонстрацию – так они это называют. А на скрипке играет молоденькая евреечка, она приходит и играет для бедных. А Лиспет знает в лесу одно местечко. И опять щекочет Вилфреда.

Но из-за деревьев следили чьи-то глаза, в кустах прятались злые духи.

Вилфред хотел удрать, но она оказалась сильнее. Он хотел вырваться, но она оказалась сильной, как мужчина. В деревьях раздался шорох. И вдруг появились они. Парень в соломенной шляпе. Они появились со всех сторон. Лица – как светлые овалы в ночи. А наверху звезды, громкий шелест. И дождь искр в темноте...

По нему ползали муравьи. От этого он и очнулся. Рана под ухом сильно саднила, в нее забились хвойные иглы. Он услышал звон колоколов.

Воскресенье. А это случилось в субботу. Он должен был вернуться с пароходом, который отходит в половине седьмого. Но начал слоняться по маленьким кафе. Он попытался приподняться, опираясь на руку, но рука подогнулась под ним. Он повернулся на спину и поднял руку другой рукой. На небе сверкало солнце. Как видно, рука была сломана. От запястья и выше она вся почернела от кровоподтеков.

Часы, привезенные из Берлина, часы-новинка: швейцарские часы, которые носят на руке. Вилфред поддерживал больную руку другой рукой. Часов не было. Все тело болело. Он был голый. Лежал на корнях какого-то дерева.

...И непрерывный звон колоколов... Наверное, уже не меньше половины десятого. А он лежит голый в Экебергском лесу в половине десятого утра в воскресенье. Осколки мозаики мучительно складывались вместе. Лиспет...

Ранка в углу рта. Доктор Стренен на Йоунгсгате, ребята в школе рассказывали о нем. Объявления о враче, специалисте по кожным и венерическим болезням, они читали как порнографическую литературу. Гоготали. Доктор Стренен на Йоунгсгате. Прием по воскресным дням. Делает впрыскивания. Коновал Стренен – прозвали его ребята.

Он повернулся на бок, встал. Кусты ожили, смех за деревьями, приглушенное хихиканье

детей, мужской голос. Полиция. Крики девчонки. Полиция! Полиция...

Он бросился в глубь леса по другую сторону дороги. По дороге прогуливались люди. Впереди тянулся фьорд, по-воскресному синий, и по синей глубине скользили маленькие лодки. Он ринулся в другую сторону, шелестя кустами. Мчался стрелой.

Он мчался в глубь леса и стонал, одной рукой придерживая сломанную руку. Под глазом стучали и стучали молоточки. Он мчался из последних сил и наконец очутился на какой-то поляне. Тут стояли палатки, рядом – тир... Вилфред влетел в первую же палатку – раздался вопль. В палатке мылась смуглая женщина. Он бросился прочь, назад на поляну, и спрятался под навесом. Но позади него, за деревьями, были люди. Из леса быстрыми шагами вышел сторож – на фуражке околыш, в руке палка.

– Полиция! – кричали со всех сторон. Внизу кричала девчонка. Повсюду деревья, кустарники. Сторож двинулся к нему.

Вилфред помчался через поляну к карусели, нырнул под выкрашенную зеленой краской лошадь с седлом для катанья и спрятался за ней. Сторож подошел совсем близко.

– Полиция! – вопил кто-то. – Полиция! Полиция! – За кустами со всех сторон смех и крики. Вилфред снова бросился бежать.

Он бежал с ярмарочной площади вниз по склону через лес, через кусты барбариса на какую-то тропинку. Она была безлюдна. Он побежал по ней вверх – впереди среди сосен заблестела синева фьорда. Под глазами и во всем теле непрерывно стучали молоточки. Сломанная рука висела как плеть, но боли он теперь уже не чувствовал.

– Полиция! – услышал он крик где-то далеко позади и в стороне. Споткнувшись о корень, он упал, подмяв под себя сломанную руку. Боль вихрем пронеслась по телу. За ним гонятся, он в замкнутом мире, где он больше ни над чем не властен...

Неужели это и есть его мир?..

Он снова мчался вперед, мысли бурлили в его мозгу. За ним гонятся со всех сторон, ему некуда уйти. Перед ним были скалы, обрывающиеся в сторону фьорда. Он спрыгнул с обрыва вниз. Но внизу были люди, одни прогуливались, другие сидели на скамейках. Какая-то дама обернулась и вскрикнула, все стали оборачиваться. Крики сзади и сбоку приближались. Он в ужасе остановился. Потом опять бросился бежать, но уже в другую сторону, к лодочной пристани в Гренли. Он видел красные буи в бухте Бьервик. Однажды он видел их сверху, когда-то видел их сверху. Он бежал, то и дело оступаясь, падая, сползая вниз...

Вилфред лежал на холме, поросшем реденькой травой. Внизу расстилалось море, позади высилась какая-то стена, в ней зияла глубокая ниша. Он вполз в эту нишу – там были разложены какие-то газеты, кто-то провел в нише ночь. Пустая бутылка из-под пунша, заткнутая бумажной пробкой. Он вполз поглубже, опираясь на колени и на здоровую руку. После падения у него ныла спина. Но криков сзади он больше не слышал.

Он вытянулся на животе и застонал, впившись зубами в каменную стену. И вдруг ощутил прилив какой-то странной мощи. Боль вытеснила его собственное тело, и оно взмыло к облакам, а боль осталась, боль – это и был он сам. Зеленоватые видения сменялись перед его глазами. Он уже лежал когда-то в такой вот впадине, он помнит это. Он был в стеклянном яйце. Яйцо разбилось! Снег в нем больше не шел. Падали не снежинки, а солнечный свет, он сочился отовсюду, и Вилфред чувствовал себя звучащей звездой в безграничном пространстве: поющей, звучащей звездой. Все голоса вокруг умолкли, слышно было только пение безвоздушного пространства, ласкающего его кожу, которая окрашивала кровью окружающую синеву.

Фру Фрисаксен! Он встретил ее в этом полете. Он приближался к ней бестелесным шелестом, а она плыла в своей лодке, в золоте солнца, невыразимо прекрасная, а от лодки ее исходили лучи, лучезарный нимб святости. Солнце померкло вокруг морщинистого лица, обращенного в сторону какой-то земли. Землю Вилфред не видел, но он видел ее отсвет на лице женщины, которое вдруг посвежело и разгладилось в отблеске цепочки островов с капелью солнца в синеве моря. Теперь она тянула из воды мерлана. Он отливал серебром. В руке, которая держала рыбу, было какое-то неземное очарование.

Икона – как нелепо выбрано место.

Нельзя напиваться за семейным обедом...

Очарование, которое озаряло все вокруг, вдруг исчезло.

– Фру Фрисаксен! – простонал Вилфред онемевшими губами. Губы вспухли после падения, рот был полон крови. Он из мог говорить. Он был нем.

Все, все сделал для них маленький Моцарт, гордость и любимец своего отца. Детские пальцы, точно испуганные зверьки, метались по клавиатуре. Одобрение придворных серебром разливалось по залу.

Нелепо, нелепо выбрано место...

Маленькая девочка просунула голову в нишу. В углублении стало темно. Только вдоль ее щеки скользил луч света. Она напоминала маленькую Эрну. Эрну с шелковым шнурком, Эрну с ее неуместной преданностью, Эрну над тарелкой с геркулесом.

Вопль. Крик. Полиция! Полиция!

Рассудительные голоса мужчин.

– К морю, его надо искать у моря...

Яйцо разбилось. На него падали не снежинки, а лучи темного солнца. Мириам – она играла для бедных, она добрая. Владелец табачной лавки умер от шока. «Я социалист, имей в виду». «Новые времена, все меняется», – говорила мать. Дядя Мартин: «Война...»

Они были где-то рядом, но не могли найти нишу, они ходили и искали ее. Потом рука. Просунули длинную палку. Шлюпочный багор, чтобы поймать дикого зверя. Багор шарил в темноте, уткнулся в стену. «Никого». Багор убрали. С потолка бесшумно спускался паук, он ткал паутину, потом еще одну, с быстротой молнии взлетал вверх, потом спускался вниз, нитка за ниткой, паутина. Сеть – еще немного, и будет поздно. Пока еще Вилфред может вырваться. Паук взбирался вверх, сползал вниз. На глазах Вилфреда рождалась сеть, закрывающая отверстие. Он пополз на коленях к выходу, опираясь на здоровую руку. Снаружи раздавались голоса, голоса ползали вверх и вниз. Паук работал усердно. У него был крест на спине и злые глаза. Он остановился и поглядел на Вилфреда. Так они и смотрели друг на друга – тот, кто ткал сеть, и тот, кто хотел из нее вырваться.

Надо было торопиться. Он приподнялся, согнувшись, и поплелся вперед, сквозь паутину, которая натянулась и порвалась, приликая к щекам. Внизу лежало море. Свет ослепил Вилфреда. Голоса слились в общий крик. Его увидели – вот он, у стены.

– Он в крови!

Кровь текла из царапины под глазом, из руки, из многих новых ран. Он пустился бежать. Собралась толпа, масса людей, ставшая одним человеком.

Он перемахнул через ограду у железной дороги и упал на холодные рельсы. Если сейчас пройдет поезд, он не двинется с места. В первую секунду тяжесть колес, наверное, принесет ему облегчение.

Но поезда не было. Бесконечная усталость овладела им – усталость, которая должна положить конец жизни. Поезда не было. Но преследователи остановились у ограды. Пути... в жизни так много путей, распутье, разнообразные возможности. Но что из того? Пути не выбираешь, прежде он думал, что он выбрал путь в царство богатых возможностей. Но пути не выбираешь. Перед тобой путь, и вдруг ты на нем. Вилфред лежал весь в крови на этой своем пути, откуда не было выхода. Он ошибся в выборе пути.

– Быстро! Лодку!

Они были сзади и со всех сторон. Он вскочил, побежал вдоль полотна, повернул направо, потом стал взбираться на пыльный откос, поросший кустарником. Внизу, у самого берега, стояли одетые по-воскресному люди, готовые его схватить.

Он снова повернул направо, к лодочной пристани, где среди синей глади пролежала мутно-зеленая полоса канализационного стока. Тут никого не было. Вилфред прокладывал себе путь сквозь голоса. Во рту была кровь, захлебываясь, он бежал наискосок по склону над лодочной пристанью, потом вниз. И тут он прыгнул.

На берегу воцарилась мертвая тишина. Люди, изготовившиеся к прыжку, остановились. Юркий человечек с вывернутой ступней отвязал лодку. В тяжелом воздухе, пронизанном колокольным звоном, парили чайки.

На поверхности появилась голова, покрытая грязью. Вилфред поплыл. Одна его рука безжизненно висела. Крики на берегу слились в один общий крик. Целый лес рук указывал на него. Появились еще две лодки, образовавшие преграду на его пути.

– Вот он! – кричала толпа, запрудившая склон. Мужчины в лодках действовали по обдуманному плану. Один из них был усатый человек в рабочей блузе. Маленькие глазки настороженно следили за головой, поблескивающей в клоаке.

– Вот он! – вопили с берега.

Человек в рабочей блузе успокоительно поднял руку. Потом перегнулся через борт лодки так, что она накренилась.

– Теперь ему не уйти, – сказал он.

Примечания

1

Мой мальчик

(франц.).

2

Хотеть, долженствовать, мочь

(нем.).

3

Я есмь, ты еси...

(нем.).

4

Перевод Е. Суриц.

5

Да, сударь

(франц.).

6

Спасибо, большое спасибо

(франц.).

7

– Вы ведь говорите по-немецки?

– Конечно, господин профессор

(нем.).

Официант
(шведск.).